

КОРНЕЙ
ЧУКОВСКИЙ



ЧУДО-
ДЕРЕВО



СЕРЕБРЯНЫЙ
ГЕРБ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“



КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

ЧУДО-ДЕРЕВО

Сказки, стихи, песенки, загадки

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ

Повесть

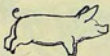
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА • 1967

Рисунки

*В. Конашевича, Ф. Лемкуля,
Н. Цейтлина и Е. Чарушина*

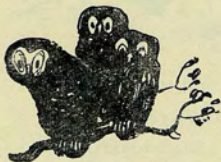
Оформление

Н. Муңц



„ЧУДО-ДЕРЕВО“

И ДРУГИЕ
СКАЗКИ





ТАРАКАНИЩЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле...

Едут и смеются,
Пряники жуют.

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!

Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:

«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».

Звери задрожали,
В обморок упали.

Волки от испуга
Скушали друг друга.



Бедный крокодил
Жабу проглотил.

А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.

Только раки-забияки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пьются назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:

«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше попятились.

И сказал Гиппопотам
Крокодилам и китам:

«Кто злодея не боится
И с чудовищем сразится,
Я тому богатырю
Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!»

«Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!»



И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой.

Но, увидев усача
 (Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекача
 (Ай-ай-ай!).

По лесам, по полям разбежались:
Тараканьих усов испугались.

И вскричал Гиппопотам:
«Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги
 И врага
 На рога
Поднимите-ка!»

Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
 «Мы врага бы
 На рога бы,
 Только шкура дорога,
И рога нынче тоже не дешёвы».

И сидят и дрожат под кусточками,
За болотными прячутся кочками.

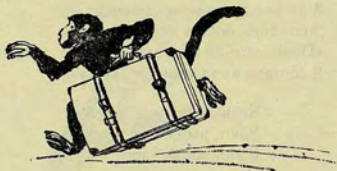
Крокодилы в крапиву забилися,
И в канаве слоны схоронилися.

Только и слышно, как зубы стучат,
Только и видно, как уши дрожат.

А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутёк.

И акула
Увильнула,
Только хвостиком махнула.

А за нею каракатица —
Так и пятится,
Так и катится.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золочёное брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»

Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, режут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать

Своего дорогого ребѣнка —
Медвежонка, волчонка, слонѣнка, —
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку замучило!

Плачут они, убиваются,
С малышами навеки прощаются.

Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?»
(Ха-ха-ха!)

Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)

Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.

И не стыдно вам?
Не обидно вам?





Вы — зубастые,
Вы — клыкастые,
А малявочке
Поклонились,
А козявочке
Покорились!»

Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что́ ты, что́ ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких из полей
Прилетает Воробей.

Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана —
Вот и нету великана.
Поделом великану досталось,
И усов от него не осталось.

То-то рада, то-то рада вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бороною дорогу метут,

Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят!
Грачи с каланчи
Кричат!
Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.

А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала.

Вот была потом забота —
За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!



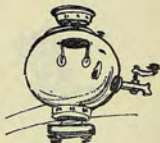


МОЙДОДЫР

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Я за свечку,
Свечка — в печку!
Я за книжку,
Та — бежать
И вприпрыжку
Под кровати!

Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю.
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.



Что такое?
Что случилось?
Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?

Утюги
 за
 сапогами,
Сапоги
 за
 пирогами,
Пирог
 за
 утюгами,





Кочерга
за
кушаком —

Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком.



Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
Неумытый поросёнок!

Ты чернее трубочиста,
Полюбуйся на себя:

У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,

У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,

Даже брюки, даже брюки
Убежали от тебя.



Рано утром на рассвете
Умываются мышата,

И котята, и утята,
И жучки, и паучки.



Ты один не умывался
И грязнулею остался,

И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.



Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!

Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоют,
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут —
Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!



Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара-барас!»

И сейчас же щётки, щётки
Затрещали, как трещотки,
И давай меня тереть,
Приговаривать:

«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!»

Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волосы,



696321

Российская государственная
детская библиотека

И юлило, и мылило,
И кусало, как оса.

А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.



Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица.

Вдруг навстречу мой хороший,
Мой любимый Крокодил.
Он с Тотошей и Кокошей
По аллее проходил
И мочалку, словно галку,
Словно галку, проглотил.

А потом как зарычит
На меня,
Как ногами застучит
На меня:
«Уходи-ка ты домой,
Говорит,
Да лицо своё умой,
Говорит,
А не то как налечу,
Говорит,
Растопчу и проглочу!» —
Говорит.

Как пустился я по улице бежать,
Прибежал я к умывальнику опять,
Мылом, мылом,
Мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу.
И чернила
С неумытого лица.

И сейчас же брюки, брюки
Так и прыгнули мне в руки.

А за ними пирожок:
«Ну-ка, съешь меня, дружок!»

А за ним и бутерброд:
Подскочил — и прямо в рот!



Вот и книжка воротилась,
Воротилась тетрадь,
И грамматика пустилась
С арифметикой плясать.

Тут великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир,
Подбежал ко мне, танцуя,
И, целуя, говорил:



«Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля,
Мойдодыру угодил!»

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,

А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!

Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться,
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,—



И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!





«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»

Тараканы прибежали,
Все стаканы выпивали,

А букашки —
По три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!

Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые —
В них застёжки золотые.

Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Мухе-Цокотухе
Мёду принесла...

«Бабочка-красавица,
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощение?»

Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок,—

Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!

«Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!



И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!»

Но жуки-червяки
Испугались,
По углам, по щелям

Разбежались:

Тараканы

Под диваны,

А козявочки

Под лавочки,

А букашки под кровать —

Не желают воевать!

И никто даже с места

Не сдвинется:

Пропадай-погибай,

Именинница!



А кузнечик, а кузнечик,
Ну, совсем как человечек,

Скок, скок, скок, скок

За кусток,

Под мосток

И молчок!

А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.

Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.



Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.

«Где убийца? Где злодей?
Не боюсь его когтей!»

Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!

Муху за руку берёт
И к окошечку ведёт:
«Я злодея зарубил,
Я тебя освободил,
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!»



Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару —
Победителю!»

Прибегали светляки,
Зажигали огоньки —
То-то стало весело,
То-то хорошо!

Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!

Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.
Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с Комаром.

А за нею Клоп, Клоп
Сапогами топ, топ!

Козявочки с червяками,
Букашечки с мотыльками.



'А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.

Тара-ра́, тара-ра,
Заплясала мошкара.

Веселится народ —
Муха замуж идёт
За лихого, удалого,
Молодого Комара!

Муравей, Муравей
Не жалеет лаптей,—
С Муравьиhoю попрыгивает
И букашечкам подмигивает:

«Вы букашечки,
Вы милашечки,
Тара-тара-тара-тара-таракашечки!»

Сапоги скрипят,
Каблуки стучат,—
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!





ЧУДО-ДЕРЕВО

Как у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.

Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!

Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!



Мама по саду пойдёт,
Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки,
Новые калошки.

Папа по саду пойдёт,
Папа с дерева сорвёт
Маше — гамаши,
Зинке — ботинки,
Нинке — чулки,



А для Мурочки такие
Крохотные голубые
Вязаные башмачки
И с помпончиками!

Вот какое дерево,
Чудесное дерево!

Эй вы, ребята,
Голые пятки,
Рванные сапожки,
Дранные калошки,
Кому нужны сапоги,
К чудо-дереву беги!



Лапти созрели,
Валенки спели.
Что же вы зевааете,
Их не обрываете?



Рвите их, убогие!
Рвите, босоногие!
Не придётся вам опять
По морозу щеголять
Дырками-заплатами,
Голенькими пятками!

ЧТО СДЕЛАЛА МУРА,
КОГДА ЕЯ ПРОЧЛИ
СКАЗКУ «ЧУДО-ДЕРЕВО»

Мура туфельку снимала,
В огороде закопала:
— Расти, туфелька моя,
Расти, маленькая!
Уж как туфельку мою
Я водичкою полью,
И вырастет дерево,
Чудесное дерево!

Будут, будут босоножки
К чудо-дереву скакать
И румяные сапожки
С чудо-дерева срывать,
Приговаривать:
«Ай да Мурочка,
Ай да умница!»





ТЕЛЕФОН

I

У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Слон.

— Откуда?

— От верблюда.

— Что вам надо?

— Шоколада.

— Для кого?

— Для сына моего.

— А много ли прислать?
— Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня ещё маленький!

2

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлѐшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!



А потом позвонили зайчатки:
— Нельзя ли прислать перчатки?

А потом позвонили мартышки:
— Пришлите, пожалуйста, книжки!



А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.

— Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?

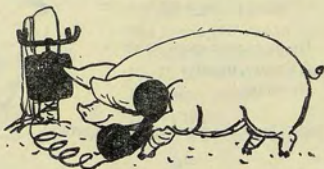
Но он только «му» да «му»,
А к чему, почему —
Не пойму!

— Повесьте, пожалуйста, трубку!

А потом позвонили цапли:
 — Пришлите, пожалуйста, капли:
 Мы лягушками нынче объелись,
 И у нас животы разболелись!

А потом позвонила свинья:
 — Нельзя ли прислать соловья?
 Мы сегодня вдвоём
 С соловьём
 Чудесную песню
 Споём.
 — Нет, нет! Соловей
 Не поёт для свиней!
 Позови-ка ты лучше ворону!

И снова медведь:
 — О, спасите моржа!
 Вчера проглотил он морского ежа!



И такая дребедень
 Целый день:
 Динь-ди-лень,
 Динь-ди-лень,
 Динь-ди-лень!
 То тюлень позвонит, то олень,



А недавно две газели
 Позвонили и запели:
 — Неужели
 В самом деле
 Все сгорели
 Карусели?

— Ах, в уме ли вы, газели?
 Не сгорели карусели,
 И качели уцелели!
 Вы б, газели, не галдели,
 А на будущей неделе
 Прискакали бы и сели
 На качели-карусели!

Но не слушали газели
 И по-прежнему галдели:

— Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?

Что за глупые газели!

9

А вчера поутру
Кенгуру:
— Не это ли квартира
Мойдодыра? —
Я рассердился да как заору:
— Нет! Это чужая квартира!!!
— А где Мойдодыр?
— Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.

10

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лёг —
Звонок!
— Кто говорит?
— Носорог.

— Что такое?
— Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
— В чём дело?
— Спасите!
— Кого?
— Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
— Провалился в болото?!
— Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придёте,—
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт
Бегемот!!!

— Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!

11

Ох, нелёгкая это работа —
Из болота тащить бегемота!





ТОПТЫГИН И ЛИСА

«Отчего ты плачешь,
Глупый ты Медведь?» —
«Как же мне, Медведю,
Не плакать, не реветь?»

Бедный я, несчастный
Сирота,
Я на свет родился
Без хвоста.

Даже у кудлатых,
У глупых собачат
За спиной мохнатые
Хвостики торчат.

Даже озорные
Дранные коты
Кверху задирают
Рванные хвосты.

Только я, несчастный
Сирота,
По лесу гуляю
Без хвоста,

Доктор, добрый доктор,
Меня ты пожалей,
Хвостик поскорее
Бедному пришей!»

Засмеялся добрый
Доктор Айболит.
Глупому Медведю
Доктор говорит:



«Ладно, родной, я готов.
У меня сколько хочешь хвостов.
Есть козлиные, есть лошадиные,
Есть ослиные, длинные-длинные,

Я тебе, сирота,
Услужу:
Хоть четыре хвоста
Привяжу...»

А Лисица смеется: «Уж очень ты прост!
Не такой тебе, Мишенька, надобен хвост!..
Ты возьми себе лучше павлиний:
Золотой он, зелёный и синий.
То-то, Миша, ты будешь хорош,
Если хвост у павлина возьмёшь!»

А косолапый и рад:
«Вот это наряд так наряд!
Как пойду я павлином
По горам и долинам,
Так и ахнет звериный народ:
«Ну что за красавец идёт!»
А медведи, медведи в лесу,
Как увидят мою красу,
Заболеют, бедняги, от зависти!»

Но с улыбкою глядит
На Медведя Айболит:
«И куда тебе в павлины!
Ты возьми себе козлиный!»

«Не желаю я хвостов
От баранов и козлов!

Подавай-ка мне павлиний,
Золотой, зелёный, синий,
Чтоб я по лесу гулял,
Красотою щеголял!»

И вот по горам, по долинам
Мишка шагает павлином,
И блестит у него за спиной
Золотой-золотой,
Расписной,
Синий-синий
Павлиний
Хвост.





А лукавая Лисица
И юлит и суетится:
«До чего же ты хорош,
Так павлином и плывёшь!
Я тебя и не признала,
За павлина принимала.
Ах, какая красота
У павлиньего хвоста!»



Но тут по болоту охотники шли
И Мишенькин хвост увидали вдали.
«Глядите: откуда такое
В болоте блестит золотое?»

Поскакали по кочкам вприпрыжку
И увидели глупого Мишку.
Перед лужею Мишка сидит,
Словно в зеркало, в лужу глядит,
Всё хвостом своим, глупый, любит,ся,
Перед Лисанькой, глупый, красуется
И не видит, не слышит охотников,
Что бегут по болоту с собаками.



Вот и взяли бедного
Голыми руками,
Взяли и связали
Кушаками.



А лукавая Лисица
Радуетя, веселится:
«Ох, не долго ты гулял,
Красотою щеголял!
Вот уж тебе, павлину,
Мужики нагреют спину,
Чтоб не хвастался,
Чтоб не важничал!»

Подбежала — хватъ да хватъ, —
Стала перья вырывать
И весь хвост у бедняги повыдергала.



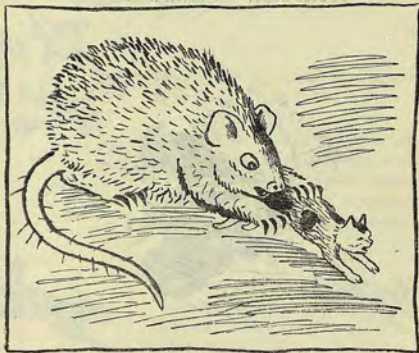
ТАК И НЕ ТАК

1

— Митя,— сказала Мура.— Нарисуй мне, пожалуйста, кошку и мышку.

— Кошку и мышку? — сказал Митя.— Отлично! Нарисую тебе кошку и мышку.

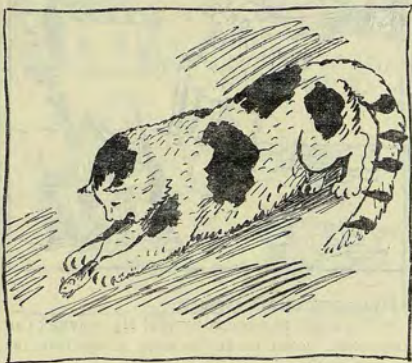
И он нарисовал вот такую картинку:



— Ах, какой ты, Митя, смешной,— сказала Мура.— Разве может мышка кошку сцапать! Ведь мышка маленькая, а кошка большая. Пожалуйста, нарисуй мне другую картинку, получше.

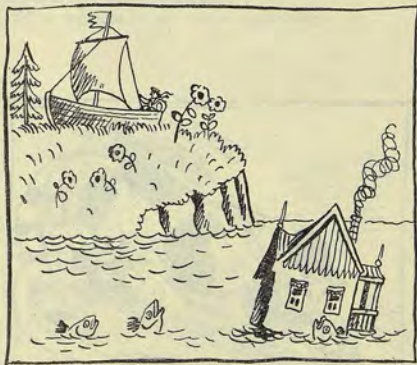
— Неужели я ошибся? — сказал Митя.

И нарисовал вот такую картинку:



— Теперь хорошо,— сказала Мура.— Всё на своём месте, где надо. А сейчас нарисуй мне, пожалуйста, лодочку и маленький домик.

— Ладно,— сказал Митя и нарисовал вот такую картинку:

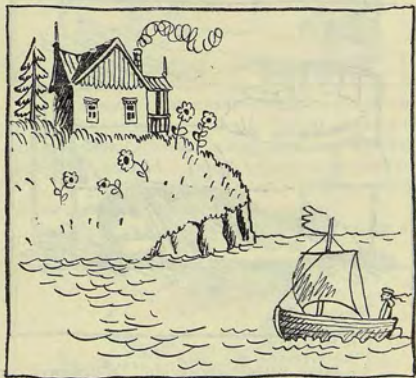


Мура засмеялась и сказала:

— Ты опять нарисовал чепуху! Ну подумай сам: разве может домик стоять на воде, а кораблик плавать по земле?

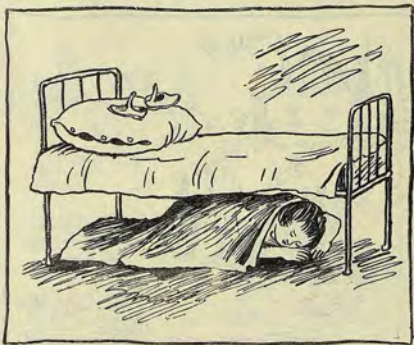
— Верно, верно,—сказал Митя.—Как это я раньше не подумал! Кораблик надо в речку, а домик на горку!

И он нарисовал вот такую картинку:



— Видишь,— сказала Мура,— какая отличная вышла картинка! Всё на своём месте, как надо. А теперь нарисуй мне, пожалуйста, кроватку и девочку Люшеньку.

— Ладно,— сказал Митя.— Вот тебе кроватка и вот тебе Люшенька!



— Ах, Митя, какой ты ужасный! Ты испортил, ты испортил всю картинку! Где это ты видел, чтобы дети клали башмаки на подушку, а сами ложились бы спать под кровать?

— Ай-ай-ай! — вскричал Митя. — Какой я рассеянный! Рассеянный с Бассейной!

И он нарисовал вот такую картинку:



— Прекрасная картинка! — воскликнула Мура. — Люше так хорошо на кровати, а башмакам и под кроватью неплохо! Теперь, пожалуйста, нарисуй самолёт, высоко-высоко, а внизу, на земле, мотоцикл.

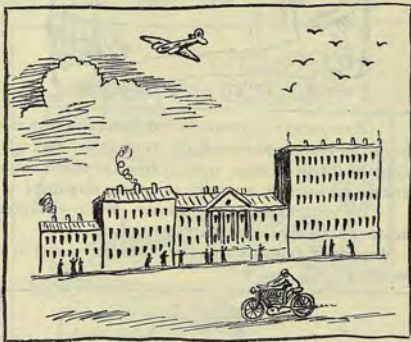
— С удовольствием! — сказал Митя. — Люблю рисовать самолёты. И мотоциклы люблю!

Митя взял карандаш и нарисовал вот такую картинку:



Мура взглянула на неё и даже руками всплеснула:
— Нет, ты сегодня совсем невозможный! Где же ты видел, чтобы мотоциклы летали по воздуху, а самолёты катились по улицам!

Митя засмеялся и нарисовал вот такую картинку:



Мура очень похвалила её, потом достала чистый листочек бумаги и положила на столе перед Митей.

— Теперь напоследок, — сказала она, — нарисуй мне, пожалуйста, лошадку и нашего Бобу.

— Это я могу! — сказал Митя. — Нарисую тебе и лошадку и Бобу.

Он взял карандаш и нарисовал вот такую картинку:



— Фу, Митя! — закричала Мура. — Ты опять нарисовал чепуху! Разве лошадь может кататься на Бобе?

— В самом деле! — сказал Митя и хотел нарисовать всё как следует, но его позвали к телефону.

Остался чистый листок бумаги. Мура взяла карандаш и сама нарисовала и лошадку и Бобу. Нарисовала как следует, правильно. И ей очень хотелось бы, чтобы те мальчики и девочки, которые будут читать эту книжку, тоже нарисовали и лошадку и Бобу, чтобы Митя видел, как нужно рисовать.





БАРМАЛЕИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы

Будут вас кусать,
Бить и обижать,—
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!

Он бегают по Африке
И кушает детей —

Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!

И папочка и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка и мамочка
Детям говорят:

«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!

Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»

Но папочка и мамочка уснули вечером,
А Танечка и Ванечка — в Африку бегом,—

В Африку!
В Африку!

Вдоль по Африке гуляют,
Фиги-финики срывают,—
Ну и Африка!
Вот так Африка!

Оседлали носорога,
Покаталися немного,—
Ну и Африка!
Вот так Африка!

Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду,—
Ну и Африка!
Вот так Африка!

Выходила к ним горилла,
Им горилла говорила,
Говорила им горилла,
Приговаривала:

«Вон акула Каракула
Распахнула злую пасть.
Вы к акуле Каракуле
Не хотите ли попасть
Прямо в па-асть?»

«Нам акула Каракула
Нипочём, нипочём,
Мы акулу Каракулу
Кирпичом, кирпичом,
Мы акулу Каракулу
Каблуком, каблуком!»

Испугалася акула
И со страху утонула,—
Поделом тебе, акула, поделом!

Но вот по болотам огромный
Идёт и ревёт бегемот,
Он идёт, он идёт по болотам
И громко и грозно ревёт.

А Таня и Ваня хохочут,
Бегемотово брюхо щекочут:
«Ну и брюхо,
Что за брюхо —
Замечательное!»

Не стерпел такой обиды
Бегемот,
Убежал за пирамиды
И ревёт,
Бармалея, Бармалея
Громким голосом
Зовёт:

«Бармалей, Бармалей, Бармалей!
Выходи, Бармалей, поскорей!
Этих гадких детей, Бармалей,
Не жалея, Бармалей, не жалея!»





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Таня-Ваня задрожали —
Бармалея увидали.
Он по Африке идёт,
На всю Африку поёт:

«Я кровожадный,
Я беспощадный,
Я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,
А только маленьких
(Да, очень маленьких!)
Детей!»

Он страшными глазами сверкает,
Он страшными зубами стучит,
Он страшный костёр зажигает,
Он страшное слово кричит:

«Карабас! Карабас!

Пообедаю сейчас!»

Дети плачут и рыдают,
Бармалея умоляют:

«Милый, милый Бармалей,
Смилуйся над нами,
Отпусти нас поскорей
К нашей милой маме!

Мы от мамы убежать
Никогда не будем
И по Африке гулять
Навсегда забудем!

Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами,
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями!»

Но ответил людоед:
«Не-е-ет!!!»

И сказала Таня Ване:
«Посмотри, в аэроплане
Кто-то по небу летит.
Это доктор, это доктор,
Добрый доктор Айболит!»



Добрый доктор Айболит
К Тане-Ване подбегает,
Таню-Ваню обнимает
И злодею Бармалею,
Улыбаясь, говорит:

«Ну, пожалуйста, мой милый,
Мой любезный Бармалей,
Развяжите, отпустите
Этих маленьких детей!»

Но злодей Айболита хватает
И в костёр Айболита бросает.
И горит и кричит Айболит:
«Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!»

А бедные дети под пальмой лежат,
На Бармалея глядят
И плачут, и плачут, и плачут!





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Но вот из-за Нила
Горилла идёт,
Горилла идёт,
Крокодила ведёт!

Добрый доктор Айболит
Крокодилу говорит:
«Ну, пожалуйста, скорее
Проглотите Бармалея,
Чтобы жадный Бармалей
Не хватал бы,
Не глотал бы
Этих маленьких детей!»

Повернулся,
Улыбнулся,
Засмеялся
Крокодил

И злодея
Бармалея,
Словно муху,
Проглотил!

Рада, рада, рада, рада детвора,
Заплясала, заиграла у костра:

«Ты нас,
Ты нас
От смерти спас,
Ты нас освободил.
Ты в добрый час
Увидел нас,
О добрый
Крокодил!»

Но в животе у Крокодила
Темно, и тесно, и уныло,
И в животе у Крокодила
Рыдает, плачет Бармалей:

«О, я буду добрей,
Полюблю я детей!
Не губите меня!
Пощадите меня!

О, я буду, я буду, я буду добрей!»

Пожалели дети Бармалея,
Крокодилу дети говорят:
«Если он и вправду сделался добрее,
Отпусти его, пожалуйста, назад!
Мы возьмём с собою Бармалея,
Увезём в далёкий Ленинград!»

Крокодил головою кивает,
Широкую пасть разевает,—
И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей,
А лицо у Бармалея и добрее и милей:
«Как я рад, как я рад,
Что поеду в Ленинград!»

Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей!
«Буду, буду я добрей, да, добрей!
Напеку я для детей, для детей
Пирогов и кренделей, кренделей!

По базарам, по базарам буду, буду я гулять!
Буду даром, буду даром пироги я раздавать,
Кренделями, калачами ребятишек угощать.

А для Ванечки
И для Танечки
Будут, будут у меня
Мятны прянички!
Пряник мятный,
Ароматный,
Удивительно приятный,
Приходите, получите,
Ни копейки не платите,
Потому что Бармалей
Любит маленьких детей,
Любит, любит, любит, любит
Любит маленьких детей!»





ПУТАНИЦА

Замяукали котята:
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!»

А за ними и утята:
«Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!»

Свинки замаяукали:
Мяу, мяу!



Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!



Уточки заквакали:
Ква, ква, ква!



Курочки закрикали:
Кря, кря, кря!



Воробышек прискакал
И коровой замычал:
Му-у-у!



Прибежал медведь
И давай реветь:
Ку-ка-ре-ку!



И кукушка на суку:
«Не хочу кричать куку,
Я собакою залаю:
Гав, гав, гав!»

Только зайника
Был пайника:
Не мяукал
И не хрюкал —



Под капустою лежал,
По-заячьи лопотал
И зверюшек неразумных
Уговаривал:

«Кому велено чирикать —
Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать —
Не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам
Под облаком!»

Но весёлые зверята —
Поросята, медвежата —
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.

Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,

Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.



А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:

«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогам и блинами,
И сушёными грибами.

Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.

Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.

Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.



Тушат, тушат — не потушат,
Заливают — не залиют.

Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать —
И потухло.

Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,

Ушками захлопали,
Ножками затопали.

Гуси начали опять
По-гусиному кричать:
Га-га-га!

Кошки замурлыкали:
Мур-мур-мур!

Птицы зачирикали:
Чик-чирик!

Лошади заржали:
И-и-и!

Мухи зажужжали:
Ж-ж-ж!

Лягушата квакают:
Ква-ква-ква!

А утята крикают:
Кря-кря-кря!

Поросята хрюкают:
Хрю-хрю-хрю!

Мурочку баюкают
Милую мою:
Баюшки-баю!
Баюшки-баю!



ФЕДОРИНО ГОРЕ

1

Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.
Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.



Испугалась коза,
Растопырила глаза:

«Что такое? Почему?
Ничего я не пойму».

2

Но, как чёрная железная нога,
Побежала, поскакала кочерга.

И помчались по улице ножи:
«Эй, держи, держи, держи, держи,
держи!»



И кастрюля на бегу
Закричала утюгу:
«Я бегу, бегу, бегу,
Удержаться не могу!»

Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит...

Утюги бегут побрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.



А за ними блюда, блюда —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Вдоль по улице несутся —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

На стаканы — дзынь! — натыкаются,
И стаканы — дзынь! — разбиваются.

И бежит, бренчит, стучит сковорода:
«Вы куда? куда? куда? куда? куда?»

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.

Из окошка вывалился стол
И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл...



А на нём, а на нём,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:

«Уходите, бегите, спасайтесь!»

И в железную трубу:
«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!»

А за ними вдоль забора
Скачет бабушка Федора:
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Воротитесь домой!»

Но ответило корыто:
«На Федору я сердито!»
И сказала кочерга:
«Я Федоре не слуга!»



А фарфоровые блюдца
Над Федорою смеются:
«Никогда мы, никогда
Не воротимся сюда!»

Тут Федорины коты
Расфуфырили хвосты,
Побежали во всю прыть,
Чтоб посуду воротить:

«Эй вы, глупые тарелки,
Что вы скачете, как белки?
Вам ли бегать за воротами
С воробьями желторотыми?»



Вы в канаву упадёте,
Вы утонете в болоте.
Не ходите, погодите,
Воротитесь домой!»

Но тарелки вьются-вьются,
А Федоре не даются:
«Лучше в поле пропадём,
А к Федоре не пойдём!»



4

Мимо курица бежала
И посуду увидала:
«Куд-куда! Куд-куда!
Вы откуда и куда?»

И ответила посуда:
«Было нам у бабы худо,
Не любила нас она,
Била, била нас она,



Запылила, закоптила,
Загубила нас она!»

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Жить вам было нелегко!»

«Да,— промолвил медный таз,—
Погляди-ка ты на нас:
Мы поломаны, побиты,
Мы помоями облиты.
Загляни-ка ты в кадушку —
И увидишь там лягушку.
Загляни-ка ты в ушат —
Тараканы там кишат.
Оттого-то мы от бабы
Убежали, как от жабы,
И гуляем по полям,
По болотам, по лугам,
А к неряхе-замарахе
Не воротимся!»

5



И они побежали лесочком,
Поскакали по пням и по кочкам.
А бедная баба одна,
И плачет, и плачет она.
Села бы баба за стол,
Да стол за ворота ушёл.
Сварила бы баба щи,
Да кастрюлю поди поищи!

И чашки ушли, и стаканы,
Остались одни тараканы.
Ой, горе Федоре,
Горе!

6

А посуда вперед и вперед
По полям, по болотам идёт.

И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».

И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»

И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»

Но блюдо сказала: «Гляди,
Кто это там позади?»

И видят: за ними из тёмного бора
Идёт-ковыляет Федора.

Но чудо случилось с ней:
Стала Федора добрей.
Тихо за ними идёт
И тихую песню поёт:





«Ой вы, бедные сиротки мои,
Утюги и сковородки мои!
Вы подите-ка, немытые, домой,
Я водою вас умою ключевой.
Я почищу вас песочком,
Окачу вас кипяточком,
И вы будете опять,
Словно солнышко, сиять.
А поганных тараканов я повыведу,
Прусаков и пауков я повымету!»

И сказала скалка:
«Мне Федору жалко».

И сказала чашка:
«Ах, она бедняжка!»

И сказали блюдца:
«Надо бы вернуться!»

И сказали утюги:
«Мы Федоре не враги!»

7

Долго, долго целовала
И ласкала их она,
Поливала, умывала,
Полоскала их она.



«Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать,

Буду, буду я посуду
И любить и уважать!»

Засмеялися кастрюли,
Самовару подмигнули:
«Ну, Федора, так и быть,
Рады мы тебя простить!»

Полетели,
Зазвенели
Да к Федоре прямо в печь!
Стали жарить, стали печь,—
Будут, будут у Федоры и блины и пироги!

А метла-то, а метла — весела —
Заплясала, заиграла, замела,
Ни пылинки у Федоры не оставила.

И обрадовались блюда:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
И танцуют и смеются:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

А на белой табуреточке
Да на вышитой салфеточке
Самовар стоит,
Словно жар горит,
И пыхтит, и на бабу поглядывает:
«Я Федорушку прощаю,
Сладким чаем угощаю.
Кушай, кушай, Федора Егоровна!»





КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ

Солнце по́ небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул зайнька в окно,
Стало зайньке темно.

А сороки-
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»

Наступила темнота,
Не ходи за воротá:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал,



Плачет серый воробей:
«Выйди, солнышко, скорей!
Нам без солнышка обидно —
В поле зёрнышка не видно!»

Плачут зайки
На лужайке:
Сбились, бедные, с пути,
Им до дому не дойти.

Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.



Рано-рано
Два барана
Застучали в воротá:
Тра-та-тá и тра-та-тá!

«Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный Крокодил
Солнце в небо воротил!»

Но мохнатые боятся:
«Где нам с таким сражаться!
Он и грозен и зубаст,
Он нам солнца не отдаст!»

И бегут они к Медведю в берлогу:
«Выходи-ка, ты, Медведь,
на подмогу.
Полно лапу тебе, лодырю, сосать,
Надо солнышко идти выручать!»

Но Медведю воевать неохота:
Ходит-ходит он, Медведь,
круг болота,
Он и плачет, Медведь, и ревёт,
Медвежат он из болота зовёт:

«Ой, куда вы, толстопятые, сгинули?
На кого вы меня, старого, кинули?»



А в болоте Медведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
«Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали?
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?»


И весь день она по лесу бродит,
Но нигде медвежат не находит.
Только чёрные совы из чащи
На неё свои очи таращат.



Тут зайчиха выходила
И Медведю говорила:
«Стыдно старому реветь —
Ты не заяц, а Медведь.
Ты поди-ка, косолапый,
Крокодила исцарапай,
Разорви его на части,
Выври солнышко из пасти.
И когда оно опять
Будет на небе сиять,
Малыши твои мохнатые,
Медвежата толстопятые,
Сами к дому прибегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

И встал
Медведь,
Зарычал
Медведь,
И к Большой Реке
Побежал,
Медведь.





А в Большой Реке
Крокодил
Лежит,
И в зубах его
Не огонь горит,—
Солнце красное,
Солнце краденое.

Подошёл Медведь тихонько,
Толкнул его легонько:
«Говорю тебе, злодей,
Выплюнь солнышко скорей!
А не то, гляди, поймаю,
Пополам переломаю,—
Будешь ты, невежа, знать
Наше солнце воровать!
Ишь разбойничья порода:
Цапнул солнце с небосвода
И с набитым животом
Завалился под кустом
Да и хрюкает спросонья,
Словно сытая хавронья.
Пропадает целый свет,
А ему и горя нет!»

Но бессовестный смеётся
Так, что дерево трясётся:
«Если только захочу,
И луну я проглочу!»

Не стерпел
Медведь,
Заревел
Медведь,
И на злого врага
Налетел
Медведь.

Уж он мял его
И ломал его:
«Подавай сюда
Наше солнышко!»

Испугался Крокодил,
Завопил, заголосил.
А из пасти
Из зубастой
Солнце вывалилось,
В небо выкатилось!



Побежало по кустам,
По берёзовым листьям.

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!

Стали пташки щебетать,
За букашками летать.

Стали зайки
На лужайке
Кувыркаться и скакать.

И глядите: медвежата,
Как весёлые котята,
Прямо к дедушке мохнатому,
Толстопятые, бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют косолапого:
«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»





АЙБОЛИТ

I

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!

Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»



И пришёл к Айболиту барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»

И прибежала зайчиха
И закричала: «Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький зайнька мой!»

И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».

И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого,
И доктор пришил ему ножки,
И зайнька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать.
И смеётся она и кричит:
«Ну, спасибо тебе, Айболит!»

3

Вдруг откуда-то шакал
На кобыле прискакал:
«Вот вам телеграмма
От Гиппопотама!»



«Приезжайте, доктор,
В Африку скорей
И спасите, доктор,
Наших малышей!»

«Что такое? Неужели
Ваши дети заболели?»

«Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!

Приходите же скорее,
Добрый доктор Айболит!»

«Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?»

«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-Пó,
Где гуляет Гиппо-пóпо
По широкой Лимпопó».

4

И встал Айболит, побежал Айболит.
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Айболит, воротися назад!»
И упал Айболит и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».

И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают весёлые волки:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!»

И вперёд поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»



5

Но вот перед ними море —
Бушует, шумит на просторе.
А в море высокая ходит волна,
Сейчас Айболита проглотит она.

«О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными?»



Но тут выплывает кит:
«Садись на меня, Айболит,
И, как большой пароход,
Тебя повезу я вперёд!»

И сел на кита Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

6

И горы встают перед ним на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи!

«О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,
Что станет с ними, с больными,
С моими зверями лесными?»



И сейчас же с высокой скалы
К Айболиту слетели орлы:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!»



И сел на орла Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

7

А в Африке,
А в Африке,
На чёрной
Лимпопо,
Сидит и плачет
В Африке
Печальный Гиппопо.

Он в Африке, он в Африке
Под пальмою сидит
И на море из Африки
Без отдыха глядит:
Не едет ли в кораблике
Доктор Айболит?

И рыщут по дороге
Слоны и носороги
И говорят сердито:
«Что ж нету Айболита?»



А рядом бегемотики
Схватились за животики:
У них, у бегемотиков,
Животики болят.

И тут же страусята
Визжат, как поросята.
Ах, жалко, жалко, жалко
Бедных страусят!

И корь, и дифтерит у них,
И оспа, и бронхит у них,
И голова болит у них,
И горлышко болит.

Они лежат и бредят:
«Ну что же он не едет,
Ну что же он не едет,
Доктор Айболит?»

А рядом прикорнула
Зубастая акула,

Зубастая акула
На солнышке лежит.

Ах, у её малюток,
У бедных акулят,
Уже двенадцать суток
Зубки болят!

И вывихнуто плечико
У бедного кузнечика;
Не прыгает, не скачет он,
А горько-горько плачет он
И доктора зовёт:
«О, где же добрый доктор?
Когда же он придёт?»



Но вот, поглядите, какая-то птица
Всё ближе и ближе по воздуху мчится.
На птице, глядите, сидит Айболит
И шляпою машет и громко кричит:
«Да здравствует милая Африка!»

И рада и счастлива вся детвора:
«Приехал, приехал! Ура! Ура!»

А птица над ними кружится,
А птица на землю садится.
И бежит Айболит к бегемотикам,
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Даёт шоколадку,
И ставит и ставит им градусники!

И к полосатым
Бежит он тигрятам,
И к бедным горбатым
Больным верблюджатам,
И каждого гоголем,
Каждого моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем потчует.

Десять ночей Айболит
Не ест, не пьёт и не спит,
Десять ночей подряд
Он лечит несчастных зверят
И ставит и ставит им градусники.



Вот и вылечил он их,
Лимпопо!
Вот и вылечил больных,
Лимпопо!
И пошли они смеяться,
Лимпопо!
И плясать и баловаться,
Лимпопо!

И акула Каракула
Правым глазом подмигнула
И хохочет, и хохочет,
Будто кто её щекочет.

А малютки бегемотики
Ухватились за животики
И смеются, заливаются —
Так, что дубы сотрясаются.

Вот и Гиппо, вот и Попо,
Гиппо-попо, Гиппо-попо!
Вот идёт Гиппопотам.
Он идёт от Занзибара,
Он идёт к Килиманджаро —
И кричит он, и поёт он:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!»



ЦЫПЛЕНОК

Жил на свете цыплёнок. Он был маленький. Вот такой:



Но он думал, что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так:



И была у него мама. Мама его очень любила.
Мама была вот такая:



Мама кормила его червяками. И были эти червяки
вот такие:



Как-то раз налетел на маму Чёрный Кот и погнал её прочь со двора. И был Чёрный Кот вот такой:



Цыплёнок остался у забора один. Вдруг он видит: взлетел на забор красивый большой петух, вытянул шею вот так:



И во всё горло закричал: «Кукареку!» И важно посмотрел по сторонам: «Я ли не удалец? Я ли не молодец?»

Цыплёнку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею. Вот так:



И что было силы запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлёпнулся в лужу. Вот так:

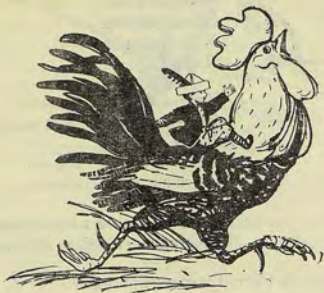


В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Далеко тебе до петуха!» А была лягушка вот такая:



Тут к цыплёнку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так:





ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИБИГОНА

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЕ

БИБИГОН И БРУНДУЛЯК

Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со мною живёт крохотный лилипут, мальчик с пальчик, которого зовут Бибигон. Откуда он пришёл, я не знаю. Он говорит, что свалился с луны. И я, и мои дети, и внуки — мы все очень любим его. Да и как же, скажите, его не любить!



Тоненький он,
Словно прутик,
Маленький он
Лилипутик.

Ростом, бедняга, не выше
Вот такой маленькой мыши.

И каждая может ворона
Шутя погубить Бибигона.

А он, поглядите, какой боевой:
Бесстрашно и дерзко бросается в бой.

Со всеми врагами
Готов он сразиться
И никогда
Никого
Не боится.

Он весел и ловок,
Он мал, да удал,
Другого
Такого
Я век не видал!

Глядите: он скачет верхом на утёнке
С моим молодым петухом вперегонки.

И вдруг перед ним — его бешеный враг,
Огромный и грозный индюк Брундуляк.



Зафыркал индюк, запыхтел он ужасно,
И нос у него стал от ярости — красный.

И крикнул индюк: — Брундулю! Брундулю!
Сейчас я тебя загублю, задавлю!

И всем показалось,
Что в эту минуту
Смертельная гибель
Грозит лилипуту.

Но он закричал индюку
На скаку:

— Сейчас отсеку
Твою злую башку!

И, шпагой взмахнувши своей боевою,
На индюка он помчался стрелою.

И чудо свершилось: огромный индюк,
Как мокрая курица, съёжился вдруг.

Попятился к лесу,
За пень зацепился
И вниз головою
В канаву свалился.

И все закричали:
— Да здравствует он,
Могучий и храбрый
Боец Бибигон!

Но прошло всего несколько дней, и Брундуляк снова появился у нас во дворе — надутый, сердитый и злой. Страшно было глядеть на него. Он такой огромный и сильный. Неужели он убьёт Бибигона?

Увидев его, Бибигон быстро вскарабкался ко мне на плечо и сказал:

— Вот погляди: стоит индюк
И смотрит яростно вокруг.
Но ты не верь своим глазам,—
Он не индюк. На землю к нам
Сюда спустился он тайком
И притворился индюком.
Он злой колдун, он чародей!
Он может превращать людей
В мышей, в лягушек, в пауков
И в ящериц, и в червяков!

— Нет,— сказал я.— Он совсем не колдун. Он самый обыкновенный индюк!

Бибигон покачал головой:

— Нет, он колдун! Подобно мне,
И он родился на луне.
Да, на луне, и много лет
За мною рыщет он вослед.
И хочет превратить меня
В букашку или в муравья.
Но нет, коварный Брундуляк!
Со мной не справишься никак!
Я шпагой доблестной моей
Всех заколдованных людей
От злой гибели спасу
И голову тебе снесу!

Вот какой он добрый и бесстрашный — маленький
мой Бибигон!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ

БИБИГОН И КАЛОША

Но если б вы знали, какой он сорванец и про-
казник!

Увидел сегодня калошу мою
И потащил её прямо к ручью.
И прыгнул в неё, и поёт:
«Вперёд, моя лодка, вперёд!»

А того не заметил, герой,
Что калоша была с дырой:
Только пустился он в путь,
Как уже начал тонуть.



Кричит он, и плачет, и стонет.
А калоша всё тонет и тонет.

Холодный и бледный
Лежит он на дне,
Его треуголка
Плывёт по волне.

Но кто это хрюкает там у ручья?
Это любимая наша свинья!
Схватила она человечка
И к нам принесла на крылечко.

И внучки мои чуть с ума не сошли,
Когда беглеца увидали вдали:

— Это он, это он,
Бибигон!

Целуют его и ласкают его,
Как будто родного сына своего,

И, уложив на кровать,
Начинают ему напевать:

«Баюшки-бай,
Бибигон!
Спи-засыпай,
Бибигон!»

А он, как ни в чём не бывало,
Вдруг сбросил с себя одеяло
И, лихо вскочив на комод,
Хвастливую песню поёт:

«Я знаменитый капитан,
И мне не страшен ураган!»



А через минуту убегает во двор — к новым приключениям, забавам и шалостям.

БИБИГОН И ПАУК

Ни минуты не посидит он на месте —

То побежит за петухом
И сядет на него верхом.

То с лягушатами в саду
Весь день играет в чехарду.

То сбегает на огород,
Гороху мелкого нарвёт.

И ну стрелять исподтишка
В громаднейшего паука.

Паук молчал, паук терпел,
Но наконец рассвирепел,

И вот под самый потолок
Он Бибигона уволок

И паутиною своей
Так обмотал его, злодей,

Что тот на ниточке повис,
Как муха, головою вниз.

Кричит
И рвётся
Бибигон,
И в паутине
Бьётся он



И прямо в миску с молоком
Летит оттуда кувырком.

Беда! Беда! Спасенья нет!
Погибнет он во цвете лет!



Но тут из чёрного угла
Большая жаба подползла
И лапу
Подавала ему,
Как будто
Брату своему.

И засмеялся
Бибигон,
И в тот же миг
Умчался он

В соседний двор на сеновал
И там весь вечер танцевал

С какой-то крысою седой
И воробьиной молодой.



А после ужина ушёл
Играть с мышатами в футбол

И, воротившись на заре,
Заснул в собачьей конуре.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
БИБИГОН И ВОРОНА

Однажды Бибигон увидел, что злая ворона поймала молодого гусёнка и хочет унести к себе в гнездо. Он схватил камень и кинул в ворону. Ворона испугалась, бросила гусёнка и улетела. Гусёнок остался жив.

Но прошло три дня —

И спустилася ворона
С вышины
И схватила Бибигона
За штаны.

Он без бою не сдаётся,
Бибигон!
И брыкается, и рвётся
Бибигон!

Но из чёрного
Вороньего
Гнезда
Не уйдёт он,
Не спасётся
Никогда.



А в гнезде —
Гляди, какие
Безобразные и злые
Восемнадцать воронят,
Как разбойники лихие,
Погубить его хотят.



Восемнадцать воронят
На несчастного глядят,
Ухмыляются, а сами
Знай долбят его носами!

И вдруг раздался
Громкий крик:
— Ага, попался,
Озорник!

То злобный голос Брундуляка.
И рад и счастлив Брундуляк:
— Теперь-то, глупый забияка,
Уж не спасёшься ты никак!

Но в эту самую минуту
Взбежала Лена на порог
И прямо в руки лилипуту
Какой-то бросила цветок.

То — лилия!
— Спасибо Лене
За этот дивный парашют! —
И прямо к Лене на колени
Отважно прыгнул лилипут.

Но сейчас же соскочил с её колен и как ни в чём не бывало умчался со двора к своим друзьям. А друзей у него много везде — и в поле, и на болоте, и в лесу, и в саду. Все любят смельчака Бибигона: ёжики, кролики, синицы, лягушки.

Вчера две маленькие белки
Весь день играли с ним в горелки
И танцевали без конца
На именинах у скворца.

А нынче он, как будто в танке,
Промчался по двору в жестянке
И бросился в неравный бой
С моею курицей рябой.

А что же Брундуляк? Брундуляк затевает недоброе. Он стоит тут же, неподалёку, под деревом и думает, как бы погубить Бибигона. Должно быть, он и в самом деле злой колдун.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЯТОЕ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА БИБИГОНА

На следующий день Бибигон наточил свою саблю, зарядил пистолеты, вскочил на утёнка,—

И вот уж он летит в атаку
Навстречу злому Брундуляку:
«Умри, проклятый чародей,
От шпаги доблестной моей!»



Но засмеялся Брундуляк
И говорит герою так:
— Ох, берегитесь,
Милый витязь,
Не то сейчас же превратитесь
В букашку, или в червяка,
Или в навозного жука!
Ведь никому несдобровать,
Когда начну я колдовать! —

И он надулся,
Словно шар,
И запыхтел,
Как самовар.
И десять раз,
И двадцать раз
Он повторял:
— Карá-барáз!





Но в червяка не превращён,
Стоит, как прежде, Бибигон.

И разъярился Брундуляк:
— Так погоди же ты, смельчак! —
И вновь, и сызнава, и снова
Волшебное твердит он слово, —
И пятьдесят, и шестьдесят,
И восемьдесят раз подряд.
И двести раз,
И триста раз
Он говорит:
— Карá-барáз!

Но Бибигон стоит пред ним,
Как прежде, — цел и невредим.

Увидел Брундуляк, что ему не заколдовать смельчака, заморгал трусливыми глазёнками, задрожал, залопотал и захныкал:

— Не губи ты меня!
Не руби ты меня!

Отпусти ты меня
И прости ты меня!

Но Бибигон засмеялся
В ответ:

— Пощады тебе,
Ненавистному, нет!

Сейчас предо мной
И скулишь, и юлишь ты,
А завтра меня
В червяка
Превратишь ты!

И острую шпагу в него он вонзил,
И в самое сердце его поразил.

И рухнул индюк. И от жирного тела
В далёкий бурьян голова отлетела.

А тело скатилось в тёмный овраг,
И сгинул навеки злодей Брундуляк.

И все засмеялись, запели, обрадовались:
— Да здравствует бесстрашный герой Бибигон!





ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШЕСТОЕ

БИБИГОН И ПЧЕЛА

Одолев индюка, Бибигон почему-то ужасно заважничал. Целый день катается верхом на утёнке и громко распевает свою хвастливую песню:

— Я знаменитый капитан,
И мне не страшен ураган!

И требует, чтобы лягушки в болоте хором прославляли его.

Всё это очень огорчило меня. Ведь хвастаться стыдно. Я терпеть не могу хвастунов и даже радуюсь, когда они попадают впросак. Так и случилось с моим Бибигоном.

Сидел у меня на столе Бибигон,
И силой и храбростью хвастался он:

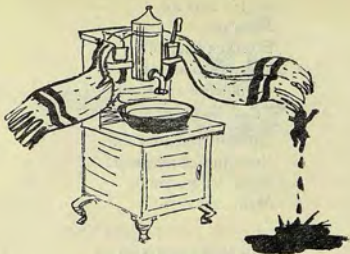
— Ну мне ли
Могучих
Бояться зверей!
Я всякого зверя
Сильней и храбрей!

Дрожит предо мной
Косолапый медведь.
Куда же медведю
Меня одолеть!

Ещё не родился
Такой крокодил,
Который бы в битве
Меня победил!

Вот этой рукою
Свирепому льву
Косматую голову
Я оторву!

Но тут прилетела
Мохнатая пчёлка...
— Спасите! — вскричал он. —
Беда! Караул! —
И от неё,
Как от лютого волка,
В чернильницу
Весь с головою нырнул.



Спасибо, старуха Федосья
Схватила его за волосья.
Был бы бедняге капут —
Прощай навсегда лилипут!

Но если б вы знали,
Какой безобразный,
Дрожащий, и мокрый,
И жалкий, и грязный,
Всклокоченный, еле живой
Предстал он тогда предо мной!

Мы схватили его
И бегом на квартиру
К самому старику Мойдодыру.
Целый день Мойдодыр его чистил и мыл,
Но не смыл он, не смыл этих чёрных чернил!

Впрочем, внушки мои не горюют,
Бибигона, как прежде, целуют.
— Ну что ж,— говорят,— ничего!
Мы и чёрного любим его!
И нам он, пожалуй, дороже
Теперь, когда он чернокожий,
На милого негра похожий.

Да и он не унывает,
На крылечко выбегает
И толкует детворе,
Что гуляет во дворе:

— По Кавказу я скитался,
В Чёрном море искупался,
Море Чёрное — черно.
Всё чернилами полно!
Искупался я — и разом
Стал, как уголь, черномазым,
Так что даже на луне
Позавидовали мне.





ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЕДЬМОЕ

ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ

Прошло ещё несколько дней, и с Бибигоном случилось новое событие.

I

Сидел Бибигон
Под большим лопухом
И спорил о чём-то
С моим петухом.

Как вдруг
Залетела
В наш сад стрекоза
И мигом попалась
Ему на глаза.

И он закричал: — Это мой самолёт!
Сейчас я отправлюсь в большой перелёт.

Из Африки
Я полечу к Парагваю,
Потом на любимой луне побываю.

Три чуда
Оттуда
Я вам привезу! —
И он на лету оседлал стрекозу.

Глядите! Глядите!
Летит он над ёлкой
И весело машет своей треуголкой!

— Прощайте! — кричит он, —
В открытом бою
Я злого дракона,
Как муху, убью!

И мы закричали:
— Куда ты? Постой! —
Но нам только эхо
Ответило «ой!»

И нет Бибигона!
Пропал он, исчез!
Как будто растаял
Средь синих небес!



И домик его остаётся пустой —
Игрушечный домик, уютный такой, —
Который своими руками
Ему смастерили мы сами, —
С игрушечной ванной, с картонной плитой...
Неужто навеки он будет пустой?

Теперь в этом домике кукла Аглая,
Но кукла Аглая — она не живая!
Она не живая, в ней сердце не бьётся,
Она не поёт, не шалит, не смеётся!
А наш Бибигуля, хоть он озорной,
Но он — человечек, живой он, живой!

2

И в небо глядят безутешные внуки
И, за слезою роняя слезу,
Всё ждут, не увидят ли там, возле тучки,
Летающую к ним стрекозу.

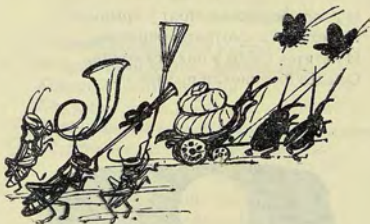
И встала луна над кустами сирени,
И Тата печально шепнула Елене:
— Взгляни-ка, иль это мерещится мне?
Как будто он там, на луне!

— Он там, на луне! Он туда воротился
И с нашей землёю навеки простился!

И долго бедняжки стоят у крыльца
И смотрят, и смотрят в бинокли,
И катятся слёзы у них без конца,
От слёз их бинокли промокли.



Вдруг видят —
 Полосатая
 Кибиточка
 Катит,
 В кибиточке рогатая
 Улиточка сидит.



Везут её проворные
 Усатые жуки
 И чёрные-пречёрные
 Ночные мотыльки.
 Кузнечики зелёные
 Идут за нею в ряд
 И в трубы золочёные
 Без умолку трубят.
 Катит-катит кибиточка,
 И прямо на крыльцо

Весёлая улиточка
Бросает письмецо.

В тревоге и печали
К письму мы подбежали
И начали читать.
Когда же прочитали,
Забыли все печали
И стали хохотать.



Всего четыре строчки
На липовом листочке
Нам пишет Бибигон:
«Вчера за чёрной тучею
Моей рукой могучею
Сражён и побеждён
Дракон Караккакон!
Отпраздновать победу
Я к вам приеду в среду.
Примите мой поклон!
Ваш верный
БИБИГОН».

И счастливы внучки:
— Мы будем опять
Его умыть, одевать, баловать!
Он жив и здоров,
Он вернётся сюда,
И мы не расстанемся с ним никогда!

Желанного гостя мы радостно ждём!
И моем, и чистим игрушечный дом.

В игрушечном доме — покой и уют.
Как весело тут заживёт лилипут.

Старуха Федосья из белой муки
Ему, Бибигону, печёт пирожки.

А Тата и Лена взялись за иголку
И новую сшили ему треуголку.

-- Скорее, скорее вернулся бы он,
Маленький наш Бибигон!

Из разноцветных своих лоскутков,
Оранжевых, синих и красных,
Немало они ему сшили обнов —
Нарядных жилетов, красивых штанов,
Плащей и камзолов атласных!

О, только б вернулся сюда Бибигон!
Каким разоденется щёголем он!

Но он не вернулся,
И нет Бибигона!
Быть может,
Его проглотила ворона?

А может быть, он
Захлебнулся в воде,
В каком-нибудь озере
Или пруде?

Быть может, за дерево
Он зацепился,
Упал с самолёта
И насмерть разбился?

5

Но вот как-то раз
Мы стоим под дождём
И ждём Бибигона,
И ждём его, ждём...

Глядь, а он на одуванчике,
Как на маленьком диванчике,
Развалился и сидит
И с каким-то незнакомым
Длинноногим насекомым
Разговаривает.



От радости внучки мои завизжали
И вперегонки к нему побежали:
— Где же ты был-пропадал?
С кем ты в пути воевал?
Скажи, отчего ты такой
Бледный, усталый, худой?
Может быть, ты нездоров?
Не позвать ли к тебе докторов?



И долго мы все целовали его,
Ласкали его, согревали его.

Скорее домой!
Мы бежим под дождём
И Бибигона
С собою несём!

Ну вот мы и дома!
И мёдом, и чаем
Усталого путника
Мы угощаем!

И он засмеялся:
— Я рад,
Что к вам воротился назад;
Милую вашу семью
Я как родную люблю.
Но сейчас я смертельно устал,
С лютым недругом я воевал,
И мне бы хотелось чуть-чуть
Тут у окна отдохнуть.
Уж очень он зол и силён,
Этот проклятый дракон!

И, повалившись на стул,
Он сладко зевнул
И заснул.

Тише! Пускай отоспится!
Будить его нам не годится!
Про все свои подвиги нам
Завтра расскажет он сам.

К О Н Е Ц

На следующий день, когда мы сидели за столом и пили чай — Лена, Тата, старуха Федосья и я, — Бибигон вскарабкался на стол, уселся на банку с вареньем и стал рассказывать о своей битве с драконом. Дракон был ужасно сильный, у дракона было двенадцать голов, но Бибигон отрубил их одну за другой, и лунные люди были очень благодарны ему за то, что он спас их от злого чудовища.

— Останься у нас, — сказали ему лунные люди. — Здесь тебя никто не обидит и тебе будет так хорошо!

Но Бибигон только головой покачал:

— Не могу. Меня ждут на земле. Я очень люблю луну, но там, в Переделкине, у меня столько друзей — и дети, и зайцы, и белки, и котята, и ёжики, и синицы, и голуби. Они ждут не дождутся меня. Впрочем, я скоро вернусь... До свиданья!

И вот он опять поселился у нас, в своём игрушечном домике, и, конечно, мы все постараемся, чтобы ему жилось хорошо и привольно. Я купил ему чудесные книжки с картинками, и когда идёт дождь или снег, он читает их целые дни, быстро бегая по каждой странице — от буквы к букве, от строки к строке.

А когда наступит Новый год, я хорошенько упрячу его в карман моей тёплой шубы, и мы пойдём в Кремль на ёлку. И воображаю, как будут рады и счастливы дети, когда увидят своими глазами живого Бибигона, его шпагу, его треугольную шляпу и услышат его задорную речь.

Но я заранее прошу всех московских детей: когда в Колонном зале, или в цирке, или в кукольном театре Образцова, или в Доме пионеров, или в метро, или в Гуме, или в детском театре вы увидите моего Бибигона, не хватайте его руками, не тискайте его, не ласкайте, потому что вы можете нечаянно сделать ему больно.

Ведь он лилипут, мальчик с пальчик, и, стоит вам как-нибудь неосторожно сдавить его пальцами, он останется на всю жизнь калекой.

И, пожалуйста, не дразните его, не смейтесь над ним, потому что он очень обидчивый. Если вы скажете ему грубое слово, он рассердится, обнажит свою шпагу и набросится на вас, как на врагов.

Но если он почувствует, что его окружают друзья, он будет рад поиграть и подурачиться с вами, а потом вскарабкается на спинку высокого кресла и до позднего вечера будет рассказывать вам о своих чудесных приключениях и подвигах: о полёте на родную луну, о боях с акулой Каракулой, о путешествии в Страну Говорящих Цветов, о единоборстве с морским великаном Курындой и о многих других приключениях, о которых ещё

НИКТО

НИКОГДА

НИЧЕГО

НЕ СЛЫХАЛ...



КРОКОДИЛ

(Старая-престарая сказка)

часть первая

1

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил,—
Крокодил, Крокодил Крокодилович!

2

А за ним-то народ
 И поёт и орёт:
 «Вот урод так урод!
 Что за нос, что за рот!
 И откуда такое чудовище?»

3

Гимназисты за ним,
 Трубочисты за ним,
 И толкают его,
 Обижают его;
 И какой-то малыш
 Показал ему шиш,
 И какой-то барбос
 Укусил его в нос,—
 Нехороший барбос, невоспитанный.



4

Оглянулся Крокодил
И барбоса проглотил,
Проглотил его вместе с ошейником.

5

Рассердился народ,
И зовёт и орёт:
«Эй, держите его,
Да вяжите его,
Да ведите скорее в полицию!»

6

Он вбегает в трамвай,
Все кричат: «Ай-ай-ай!»
И бегом,
Кувырком,
По домам,
По углам:
«Помогите! Спасите! Помилуйте!»

7

Подбежал городской:
«Что за шум? Что за вой?
Как ты смеешь тут ходить,
По-турецки говорить?
Крокодилам тут гулять воспрещается».

Усмехнулся Крокодил
И беднягу проглотил,
Проглотил с сапогами и шашкою.

Все от страха дрожат,
Все от страха визжат.
Лишь один
Гражданин
Не визжал,
Не дрожал —
Это доблестный Ваня Васильчиков.



Он боец,
Молодец,
Он герой
Удалой:
Он без няни гуляет по улицам.

Он сказал: «Ты злодей,
 Пожираешь людей,
 Так за это мой меч —
 Твою голову с плеч!» —
 И взмахнул своей саблей игрушечной.

И сказал Крокодил:
 «Ты меня победил!
 Не губи меня, Ваня Васильчиков!
 Пожалей ты моих крокодильчиков!
 Крокодильчики в Ниле плескаются,
 Со слезами меня дожидаются.
 Отпусти меня к деточкам, Ванечка,
 Я за то подарю тебе пряничка».



Отвечал ему Ваня Васильчиков:
 «Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков,
 Но тебя, кровожадную гадину,
 Я сейчас изрублю, как говядину.
 Мне, обжора, жалеть тебя нечего:
 Много мяса ты съел человеческого».

И сказал Крокодил:
 «Всё, что я проглотил,
 Я обратно отдам тебе с радостью!»

И вот живой
 Городовой
 Явился вмиг перед толпой:
 Утроба Крокодила
 Ему не повредила.

И Дружок
 В один прыжок
 Из пасти Крокодила
 Скок!
 Ну от радости плясать,
 Щёки Ванины лизать.



Трубы затрубили!
 Пушки запалили!
 Очень рад Петроград.

Все ликуют и танцуют,
Ваню милого целуют.
И из каждого двора
Слышно громкое «ура».
Вся столица украсилась флагами.

18

Спаситель Петрограда
От яростного гада,
Да здравствует Ваня Васильчиков!

19

И дать ему в награду
Сто фунтов винограду,
Сто фунтов мармеладу,
Сто фунтов шоколаду
И тысячу порций мороженого!

20

А яростного гада
Долой из Петрограда!
Пусть едет к своим крокодилчикам!

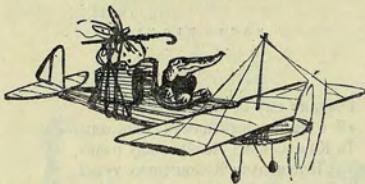
21

Он вскочил в аэроплан,
Полетел, как ураган,
И ни разу назад не оглядывался,

И домчался стрелой
До сторонки родной,
На которой написано: «Африка».

22

Прыгнул в Нил
Крокодил,
Прямо в ил
Угодил,
Где жила его жена Крокодилица,
Его детушек кормилица-поилица.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Говорит ему печальная жена:
«Я с детишками намучилась одна:
То Кокошенька Лёлёшеньку разит,
То Лёлёшенька Кокошеньку тузит.
А Тотошенька сегодня нашалил:
Выпил целую бутылочку чернил.
На колени я поставила его
И без сладкого оставила его.
У Кокошеньки всю ночь был сильный жар:
Проглотил он по ошибке самовар,—
Да, спасибо, наш аптекарь Бегемот
Положил ему лягушку на живот».

Опечалился несчастный Крокодил
И слезу себе на брюхо уронил:
«Как же мы без самовара будем жить?
Как же чай без самовара будем пить?»

2

Но тут распахнулись двери,
В дверях показались звери:
Гиены, удавы, слоны,
И страусы, и кабаны,
И Слониха,
Щеголиха,
Стопудовая купчиха,
И Жираф,
Важный граф,
Вышиною с телеграф,—
Всё приятели-друзья,
Всё родня и кумовья.



Ну соседа обнимать,
Ну соседа целовать:
«Подавай-ка нам подарочки заморские!»

3

Отвечает Крокодил:
«Никого я не забыл,
И для каждого из вас
Я подарочки припас!
Льву —
Халву,
Мартышке —
Коврижки,
Орлу —
Пастилу,
Бегемотику —
Книжки,
Буйволу — удочку,
Страусу — дудочку,
Слонихе — конфет,
А слону — пистолет...»

4

Только Тотошеньке,
Только Кокошеньке
Не подарил
Крокодил
Ничегошеньки.

Плачут Тотоша с Кокошей:
«Папочка, ты нехороший!
Даже для глупой Овцы
Есть у тебя леденцы.
Мы же тебе не чужие,
Мы твои дети родные,
Так отчего, отчего
Ты нам не привёз ничего?»

5

Улыбнулся, засмеялся Крокодил:
«Нет, детёныши, я вас не позабыл:
Вот вам ёлочка душистая, зелёная,
Из далёкой из России привезённая,
Вся чудесными увешана игрушками,
Золочёными орешками, хлопушками.
То-то свечки мы на ёлочке зажжём,
То-то песенки мы ёлочке споём:
«Человечьим ты служила малышам,
Послужи теперь и нам, и нам, и нам!»



Как услышали про ёлочку слоны,
 Ягуары, павианы, кабаны,
 Тотчас за руки
 На радостях взялись
 И вокруг ёлочки
 Вприсядку понеслись.

Не беда, что, расплясавшись, Бегемот
 Повалил на Крокодилицу комод,
 И с разбегу круторогий Носорог
 Рогом, рогом зацепился за порог.
 Ах, как весело, как весело Шакал
 На гитаре плясовую заиграл!
 Даже бабочки упёрлись в бока,
 С комарами заплясали трепака.
 Пляшут чижики и зайчики в лесах,
 Пляшут раки, пляшут окуни в морях,
 Пляшут в поле червячки и паучки,
 Пляшут божии коровки и жучки.



Вдруг забили барабаны,
 Прибежали обезьяны:
 «Трам-там-там! трам-там-там!
 Едет к нам Гиппопотам».
 «К нам —
 Гиппопотам?!»



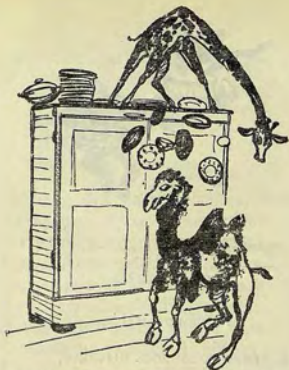
«Сам —
Гиппопотам?!»
«Там —
Гиппопотам?!¹»

Ах, какое поднялось рычанье,
Верещанье, и блеянье, и мычанье!
«Шутка ли, ведь сам Гиппопотам
Жаловать сюда изволит к нам!»

Крокодилица скорее убежала
И Кокошу и Тотошу причесала.
А взволнованный, дрожащий Крокодил
От волнения салфетку проглотил.

А Жираф,
Хоть и граф,
Взгромоздился на шкаф,

¹ Некоторые думают, будто Гиппопотам и Бегемот — одно и то же. Это неверно. Бегемот — аптекарь, а Гиппопотам — царь.



И оттуда
На верблюда
Вся посыпалась посуда!

А змеи
Лакеи
Надели ливреи,
Шуршат по аллее,
Спешат поскорее
Встречать молодого царя!



И Крокодил на пороге
Целует у гостя ноги:
«Скажи, повелитель, какая звезда
Тебе указала дорогу сюда?»

И говорит ему царь: «Мне вчера донесли обезьяны,
Что ты ездил в далёкие страны,
Где растут на деревьях игрушки
И сыплются с неба ватрушки,
Вот и пришёл я сюда о чудесных игрушках послушать
И небесных ватрушек покушать».

И говорит Крокодил:
«Пожалуйте, ваше величество!
Кокоша, поставь самовар!
Тотоша, зажги электричество!»

И говорит Гиппопотам:
«О Крокодил, поведай нам,
Что видел ты в чужом краю,
А я покуда подремлю».

И встал печальный Крокодил
И медленно заговорил:
«Узнайте, милые друзья,
Потрясена душа моя.

Я столько горя видел там,
Что даже ты, Гиппопотам,
И то завыл бы, как щенок,
Когда б его увидеть мог.
Там наши братья, как в аду —
В Зоологическом саду.
О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами сторожей
Немало мучится зверей,



Они стенают, и ревут,
И цепи тяжкие грызут,
Но им не вырваться сюда
Из тесных клеток никогда.
Там слон — забава для детей,
Игрушка глупых малышей.
Там человечья мелюзга
Оленю тербит рога
И буйволу щекочет нос,
Как будто буйвол — это пёс.

Вы помните, меж нами жил
Один весёлый крокодил...
Он мой племянник. Я его
Любил, как сына своего.
Он был проказник, и плясун,
И озорник, и хохотун,
А ныне там передо мной,
Измученный, полуживой,
В лохани грязной он лежал
И, умирая, мне сказал:
«Не проклиная палачей,
Ни их цепей, ни их бичей,
Но вам, предатели друзья,
Проклятье посылаю я.
Вы так могучи, так сильны,
Удавы, буйволы, слоны,
Мы каждый день и каждый час
Из наших тюрем звали вас
И ждали, верили, что вот
Освобождение придёт,
Что вы нахлынете сюда,
Чтобы разрушить навсегда
Людские, злые города,
Где ваши братья и сыны
В неволе жить обречены!» —
Сказал и умер.

Я стоял

И клятвы страшные давал
Злодеям-людям отомстить
И всех зверей освободить.

Вставай же, сонное зверьё!
Покинь же логово своё!
Вонзи в жестокого врага
Клыки, и когти, и рога!
Там есть один среди людей —
Сильнее всех богатырей!
Он страшно грозен, страшно лют,
Его Васильчиков зовут,
И я за голову его
Не пожалел бы ничего!»

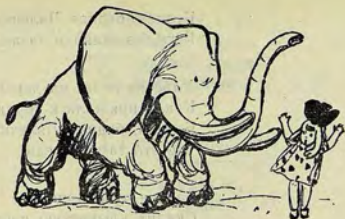
10

Ощетинились зверюги и, оскалившись, кричат:
«Так веди нас за собою на проклятый Зоосад,
Где в неволе наши братья за решётками сидят!

Мы решётки поломаем, мы оковы разобьём,
И несчастных наших братьев из неволи мы спасём.
А злодеев забодаем, искусаем, загрызём!»



Через болота и пески
Идут звериные полки,
Их воевода впереди,
Скрестивши руки на груди.
Они идут на Петроград,
Они сожрать его хотят,
И всех людей,
И всех детей
Они без жалости съедят.
О бедный, бедный Петроград!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Милая девочка Лялечка!
С куклой гуляла она
И на Таврической улице
Вдруг увидала Слона.

Боже, какое страшилище!
Ляля бежит и кричит.
Глядь, перед ней из-под мостика
Высунул голову Кит.

Лялечка плачет и пьитися,
Лялечка маму зовёт...
А в подворотне на лавочке
Страшный сидит Бегемот.

Змеи, шакалы и буйволы
Всюду шипят и рычат.

Бедная, бедная Лялечка!
Беги без оглядки назад!

Лялечка лезет на дерево,
Куклу прижала к груди.
Бедная, бедная Лялечка!
Что это там впереди?

Гадкое чучело-чудище
Скалит клыкастую пасть,
Тянется, тянется к Лялечке,
Лялечку хочет украсть.

Лялечка прыгнула с дерева,
Чудище прыгнуло к ней,
Сцапало бедную Лялечку
И убежало скорей.

А на Таврической улице
Мамочка Лялечку ждёт:
«Где моя милая Лялечка?
Что же она не идёт?»

2

Дикая Горилла
Лялю утащила
И по тротуару
Побежала вскачь.



Выше, выше, выше,
Вот она на крыше,
На седьмом этаже
Прыгает, как мяч.

На трубу вспорхнула,
Сажу зачерпнула,
Вымазала Лялю,
Села на карниз.

Села, задремала,
Лялю покачала
И с ужасным криком
Кинулася вниз.

3

Закрывайте окна, закрывайте двери,
Полезайте поскорее под кровать,
Потому что злые, яростные звери
Вас хотят на части, на части разорвать!

Кто, дрожа от страха, спрятался в чулане,
Кто в собачьей будке, кто на чердаке...
Папа схоронился в старом чемодане,
Дядя под диваном, тётя в сундуке.

Где найдётся такой
 Богатырь удалой,
 Что побьёт крокодилово полчище?

Кто из лютых когтей
 Разъярённых зверей
 Нашу бедную Лялечку вызволит?

Где же вы, удалыцы,
 Молодцы-храбрецы?
 Что же вы, словно трúсы, попрятались?

Выходите скорей,
 Прогоните зверей,
 Защитите несчастную Лялечку!

Все сидят, и молчат,
 И, как зайцы, дрожат,
 И на улицу носа не высунут!

Лишь один гражданин
 Не бежит, не дрожит —
 Это доблестный Ваня Васильчиков.

Он ни львов, ни слонов,
 Ни лихих кабанов
 Не боится, конечно, ни капельки!

Они рычат, они визжат,
Они сгубить его хотят,
Но Ваня смело к ним идёт
И пистолетик достаёт.

Пиф-паф! — и яростный Шакал
Быстрее лани ускакал.

Пиф-паф! — и Буйвол наутёк,
За ним в испуге Носорог.

Пиф-паф! — и сам Гиппопотам
Бежит за ними по пятам.



И скоро дикая орда
Вдали исчезла без следа.

И счастлив Ваня, что пред ним
Враги рассеялись, как дым.

Он победитель! Он герой!
Он снова спас свой край родной.

И вновь из каждого двора
К нему доносится «ура».

И вновь весёлый Петроград
Ему подносит шоколад.

Но где же Ляля? Ляли нет!
От девочки пропал и след!

Что, если жадный Крокодил
Её схватил и проглотил?

6

Кинулся Ваня за злыми зверями:
«Звери, отдайте мне Лялю назад!»
Бешено звери сверкают глазами,
Лялю отдать не хотят.

«Как же ты смеешь,— вскричала Тигрица,—
К нам приходить за сестрою твоей,
Если моя дорогая сестрица
В клетке томится у вас, у людей!



Нет, ты разбей эти гадкие клетки,
Где на потеху двуногих ребят
Наши родные мохнатые детки,
Словно в тюрьме, за решёткой сидят!

В каждом зверинце железные двери
Ты распахни для пленённых зверей,
Чтобы оттуда несчастные звери
Выйти на волю могли поскорей!

Если любимые наши ребята
К нам возвратятся в родную семью,
Если из плена вернутся тигрята,
Львята с лисятами и медвежата —
Мы отдадим тебе Лялю твою».

7

Но тут из каждого двора
Сбежалась к Ване детвора:

«Веди нас, Ваня, на врага,
Нам не страшны его рога!»

И грянул бой! Война! Война!
И вот уж Ляля спасена.

8

И вскричал Ванюша:
«Радуйтесь, звери!
Вашему народу
Я даю свободу,
Свободу я даю!



Я клетки поломаю,
Я цепи разбросаю,
Железные решётки
Навеки разобью!

Живите в Петрограде,
В уюте и прохладе,
Но только, бога ради,
Не ешьте никого:

Ни птички, ни котёнка,
Ни малого ребёнка,
Ни Лялечкиной мамы,
Ни папы моего!

Да будет пища ваша —
Лишь чай да простокваша
Да гречневая каша
И больше ничего».

(Тут голос раздался Кокоши:
«А можно мне кушать калоши?»
Но Ваня ответил: «Ни-ни,
Боже тебя сохрани»).

«Ходите по бульварам,
По лавкам и базарам,
Гуляйте, где хотите,
Никто вам не мешай!

Живите вместе с нами,
И будемте друзьями:

Довольно мы сражались
И крови пролили!

Мы ружья поломаем,
Мы пули закопаем,
А вы себе спилите
Копыта и рога!

Быки и носороги,
Слоны и осьминоги,
Обнимемте друг друга,
Пойдёмте танцевать!»



9

И наступила тогда благодать:
Некого больше лягать и бодать.

Смело навстречу иди Носорогу —
Он и букашке уступит дорогу.

Вежлив и кроток теперь Носорог:
Где его прежний пугающий рог!

Вон по бульвару гуляет Тигрица —
Ляля ни капли её не боится:

Что же бояться, когда у зверей
Нету теперь ни рогов, ни когтей!

Ваня верхом на Пантеру садится
И, торжествуя, по улице мчится.



Или возьмёт оседлает Орла
И в поднебесье летит как стрела.

Звери Ванюшу так ласково любят,
Звери балуют его и голубят.

Волки Ванюше пекут пироги,
Кролики чистят ему сапоги.

По вечерам быстроглазая Серна
Ване и Ляле читает Жюль Верна.

А по ночам молодой Бегемот
Им колыбельные песни поёт.

Вон вокруг Медведя столпились детки —
Каждому Мишка даёт по конфетке.

Вон, погляди, по Неве по реке
Волк и Ягнёнок плывут в челноке.

Счастливы люди, и звери, и гады,
Рады верблюды, и буйволы рады.

Нынче с визитом ко мне приходил —
Кто бы вы думали? — сам Крокодил.

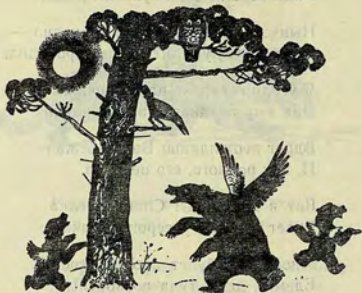
Я усадил старика на диванчик,
Дал ему сладкого чаю стаканчик

Вдруг неожиданно Ваня вбежал
И, как родного, его целовал.

Вот и каникулы! Славная ёлка
Будет сегодня у серого Волка.

Много там будет весёлых гостей.
Едемте, дети, туда поскорей!





ТОПТЫГИН И ЛУНА

Как задумал Медведь
На луну полететь:
«На луну! На луну! На луну!»

Медвежата за ним:
«Полетим! Улетим!
На луну, на луну, на луну!»

Два крыла, два крыла
Им ворона дала,—
Два крыла от большого орла,

А четыре крыла
Им сова принесла,—
Воробьиных четыре крыла.

Но не может взлететь
Косолапый Медведь,
Он не может, не может взлететь.

Он стоит под сосной
На поляне лесной,
Косолапый и глупый Медведь.

И взбирается он
На большую сосну
И глядит в вышину на луну.

А с луны, словно мёд,
На поляну течёт,
Золотой разливается мёд.

«Ах, на милой луне
Будет весело мне
И плясать, и резвиться, и петь».

И, махая крылом,
Полетел кувырком
И свалился в болото Медведь.

И смеётся, смеётся
Над ним Бегемот,
И смеётся звериный народ.

А луна высока,
А луна далека,
А луна уплыла в облака.





„ЗАКАЛЯКА“
И ДРУГИЕ СТИХИ





"BAKALIK"

N. D. V. E. C. T. N. X. N.





ЗАКАЛЯКА

Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
«Это — ёлочка мохнатая.
Это — козочка рогатая.
Это — дядя с бородой.
Это — дом с трубой».

«Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью ногами,
С десятью рогами?»

«Это Бяка-Закаляка
Кусачая,

Я сама из головы её выдумала».

«Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»

«Я её боюсь!»



БУТЕРБРОД

Как у наших ворот
За горою
Жил да был бутерброд
С колбасою.

Захотелось ему
Прогуляться,
На траве-мураве
Повалиться.

И сманил он с собой
На прогулку
Краснощёкую сдобную
Булку.

Но чайные чашки в печали,
Стуча и бренча, закричали:

«Бутерброд,
Сумасброд,
Не ходи из ворот,
А пойдёшь —
Пропадёшь,
Муре в рот попадёшь!

Муре в рот,
Муре в рот,
Муре в рот
Попадёшь!»





РАДОСТЬ

Рады, рады, рады
Светлые берёзы,
И на них от радости
Вырастают розы.

Рады, рады, рады
Тёмные осины,
И на них от радости
Растут апельсины.

То не дождь пошёл из облака
И не град,
То посыпался из облака
Виноград.

И вороны над полями
Вдруг запели соловьями.



И ручьи из-под земли
Сладким мёдом потекли.

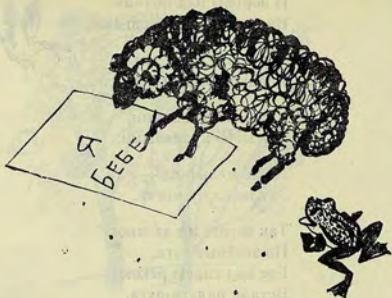
Куры стали павами,
Лысые — кудрявыми.

Даже мельница — и та
Заплясала у моста.

Так бегите же за мною
На зелёные луга,
Где над синею рекою
Встала радуга-дуга.

Мы на радугу вска-раб-каемся,
Поиграем в облаках
И оттуда вниз по радуге
На салазках, на коньках!





БЕБЕКА

Взял барашек
Карандашик,
Взял и написал:
«Я — Бебека,
Я — Мемека,
Я медведя
Забодал!»

А лягушка у болотца
Заливается, смеётся:
«Вот так молодец!»



ЧЕРЕПАХА

До болота идти далеко,
До болота идти нелегко.

«Вот камень лежит у дороги,
Присядем и вытянем ноги».

И на камень лягушки кладут узелок.
«Хорошо бы на камне прилечь на часок!»

Вдруг на ноги камень вскочил
И за ноги их ухватил.

И они закричали от страха:

«Это — ЧЕ!

Это — РЕ!

Это — ПАХА!

Это — ЧЕЧЕРЕ!

ПАПА!

ПАПАХА!»





ФЕДОТКА

Бедный Федотка — сиротка.
Плачет несчастный Федотка:
Нет у него никого,
Кто пожалел бы его.
Только мама, да дядя, да тётка,
Только папа да дедушка с бабушкой.



СВИНКИ

Как на пишущей машинке
Две хорошенькие свинки:
Туки-туки-туки-тук!
Туки-туки-туки-тук!

И постукивают,
И похрюкивают:

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!





ПОРОСЕНОК

Полосатые котята
Ползают, пищат.
Любит, любит наша Тата
Маленьких котят.

Но всего милее Татеньке
Не котёнок полосатенький,
Не утёнок,
Не цыплёнок,
А курносый поросёнок.



СЛОНИХА ЧИТАЕТ

У слона была жена
Матрёна Ивановна.
И задумала она
Книжку почитать.

Но читала, бормотала,
Лопотала, лопотала:
«Таталáта, маталáта»,—
Ничего не разобрать!



ЕЖИКИ СМЕЮТСЯ

У канавки
Две козявки
Продают ежам булавки.
А ежи-то хохотать!
Всё не могут перестать:
«Эх вы, глупые козявки!
Нам не надобны булавки:
Мы булавками сами утыканы».



ОБЖОРА

Была у меня сестра,
Сидела она у костра
И большого поймала в костре осетра.

Но был осетёр
Хитёр
И снова нырнул в костёр.

И осталась она голодна,
Без обеда осталась она.
Три дня ничего не ела,
Ни крошки во рту не имела.

Только и съела, бедняга,
Что пятьдесят поросят,
Да полсотни гусят,
Да десяток цыпляток,
Да утят десятком,
Да кусок пирога
Чуть побольше того стога,
Да двадцать бочонков
Солёных опёнков,
Да четыре горшка
Молока,
Да тридцать вязанок
Баранок,
Да сорок четыре блина.
И с голоду так исхудала она,
Что не войти ей теперь
В эту дверь.
А если в какую войдёт,
Так уж ни взад, ни вперёд.





АНГЛИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ





ХРАБРЕЦЫ

Наши-то портные
Храбрые какие:
«Не боимся мы зверей,
Ни волков, ни медведей!»
А как вышли за калитку
Да увидели улитку —
Испугались,
Разбежались!

Вот они какие,
Храбрые портные!



СКРЮЧЕННАЯ ПЕСНЯ

Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.

А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.

И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки.

И была у них одна
Скрюченная кошка,
И мяукала она,
Сидя у окошка.

А за скрюченным мостом
Скрюченная баба
По болоту босиком
Прыгала, как жаба.

И была в руке у ней
Скрюченная палка,
И летела вслед за ней
Скрюченная галка.





БАРАБЕК

(Как нужно дразнить обжору)

Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом,
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
«У меня живот болит!»



КУРИЦА

Курица-красавица у меня жила.
Ах, какая умная курица была!

Шила мне кафтаны, шила сапоги,
Сладкие, румяные пекла мне пироги.

А когда управится, сядет у ворот —
Сказочку расскажет, песенку споёт.



ДЖЕННИ

Дженни туфлю потеряла,
Долго плакала, искала.
Мельник туфельку нашёл
И на мельнице смолол.



КОТАУСИ И МАУСИ

Жила-была мышка Ма́уси
И вдруг увидала Кота́уси.
У Котауси злые глаза́уси
И злые-презлые зуба́уси.

Подбежала Котауси к Мауси
И замахала хвоста́уси:
«Ах, Мауси, Мауси, Мауси,
Подойди ко мне, милая Мауси!
Я спою тебе песенку, Мауси,
Чудесную песенку, Мауси!»

Но ответила умная Мауси:
«Ты меня не обманешь, Котауси!
Вижу злые твои глазауси
И злые-презлые зубауси!»

Так ответила умная Мауси —
И скорее бегом от Котауси.



КОТАУСИ И МАУСИ

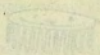
Жила-была мышка Мауси.
Почему? Потому что
Котауси злого глазауси
И злого-презлого зубауси.
Почему? Потому что
Мауси умная была.
А Котауси злая была.
Почему? Потому что
Мауси злого не любила.
И злого-презлого не любила.



ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ



Намъ въспитаніе дитяти
— въ нѣмъ не забывайся, родители!
Вамъ занадѣть не должно
И дѣла дѣлать.



Ты, о дитятко, не бойся —
И скоро будешь Княземъ.

НАСТАВЛЕНІЯ

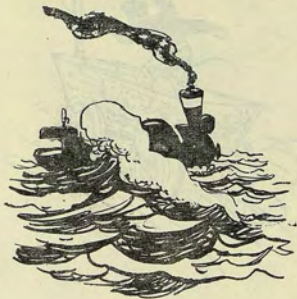
НОВАГО





I

Была телега у меня,
Да только не было коня,
И вдруг она заржала,
Заржала — побежала.
Глядите, побежала телега без коня!



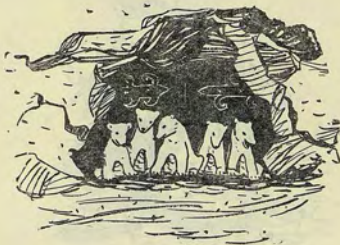
2

Паровоз
Без колёс!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошёл —
Прямо по морю пошёл!



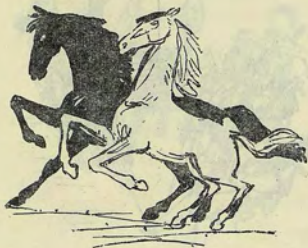
3

Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нём.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо —
Такое тёплое, такое
Пушистое и золотое.



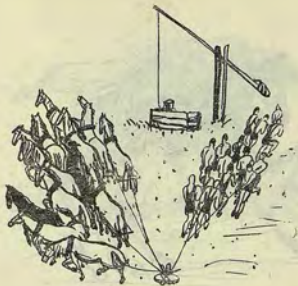
4

Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят
У дверей.
И мясо и хлеб — всю добычу мою —
Я с радостью этим зверям отдаю.



5

Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня.
А вода
Тверда,
Словно каменная!



6

Лежит, лежит копеечка у нашего колодца.
Хорошая копеечка, а в руки не даётся.
Подите приведите четырнадцать коней,
Подите позовите пятнадцать силачей!
Пускай они попробуют копеечку поднять,
Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть!

И кони прискакали, и силачи пришли,
Но маленькой копеечки не подняли с земли,
Не подняли, не подняли и сдвинуть не могли.



7

Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка
Захотели сладкого сахарного пряничка.
Бабушка по улице старенькая шла,
Девочкам по денежке бабушка дала:
Марьюшке — копеечку,
Марусеньке — копеечку,
Машеньке — копеечку,
Манечке — копеечку,—
Вот какая добрая бабушка была!

Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка
Побежали в лавочку и купили пряничка.
И Кондрат задумался, глядя из угла:
Много ли копеечек бабушка дала?



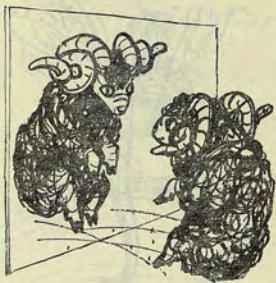
8

Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!



9

Растёт она вниз головою,
Не летом растёт, а зимою.
Но солнце её припечёт —
Заплачет она и умрёт.



10

Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец — глупца,
Баран — барана,
Овцу в нём видела овца,
И обезьяну — обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.



Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.



На малину налетели,
Поклевать её хотели.
Но увидели урода —
И скорей из огорода!
А урод сидит на палке,
С бородою из мочалки.



13

Шёл Кондрат
В Ленинград,
А навстречу — двенадцать ребят.
У каждого по три лукошка,
В каждом лукошке — кошка,
У каждой кошки — двенадцать котят.
У каждого котёнка
В зубах по четыре мышонка.
И задумался старый Кондрат:
«Сколько мышат и котят
Ребята несут в Ленинград?»



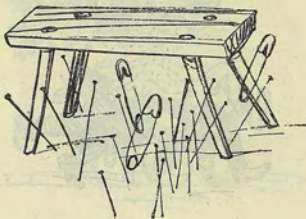
14

Я лаю со всякой
Собакой,
Я вою
Со всякой совою,
И каждую песню твою
Я вместе с тобою
Пою.
Когда же вдали пароход
Быком на реке заревёт,
Я тоже реву:
У-у!



15

Две ноги на трёх ногах,
А четвёртая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги,
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом —
Да тремя по четырём!
Но четыре завизжали
И с одною убежали.



16

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.



17

Вдруг из чёрной темноты
В небе выросли кусты.

А на них-то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.

И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми,
Разноцветными.



18

Много этого добра
Возле нашего двора,
А рукою не возьмёшь
И домой не принесёшь.

Маша по саду гуляла,
Собирала, собирала,
Поглядела в кузовок —
Там и нет ничего.



19

Я одноухая старуха,
Я прыгаю по полотну
И нитку длинную из уха,
Как паутину, я тяну.

ОТГАДКИ



1. Грузовик.



2. Пароход.



3. Яйцо и цыплёнок.



4. Рот и зубы.



5. Коньки.



6. Солнечный луч на земле.



7. Бабушка дала только одну копейчку, так как Марыюшка, Марусенька, Машенька и Манечка — одна и та же девочка.



8. Крапива.



9. Сосулька.



11. Гребешок.



10. Зеркало.



12. Птицы и огородное чучело.



13. Глупый, глупый Кондрат!
Он один и шагал в Ленинград.
А ребята с лукошками,
С мышами и кошками
Шли навстречу ему —
В Кострому.



14. Эхо.

15. Две ноги — мальчик, три но-
ги—табуретка, четыре ноги—
собака, одна нога — куринная.



16. Еж.



17. Салют.



18. Туман.

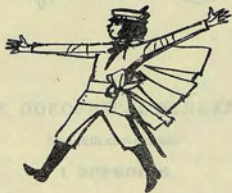


19. Иголлка.



„ДЖЕК, ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ“

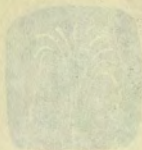
И ДРУГИЕ СКАЗКИ



ДЖЕК, ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ

Д. ВЕРНИКОВ

Вот так было в старине! Барон искал-то вранья
страшный великан Жирморек и пощипал: «Вот он!» —
гу, в пещере, у самой горсти. Был он там дама и злато.
Каждое утро выхожу на дорогу и злато пущу, кто



ВЪВЕДЕНІЕ
ПОСВЯЩЕНІЕ
"АКТЕ"

ВЪВЕДЕНІЕ
ПОСВЯЩЕНІЕ
"АКТЕ"





ДЖЕК, ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ

Валлийская сказка

I. КОРМОРАН

Весело было в деревне! Вдруг откуда-то пришёл страшный великан Корморан и поселился неподалёку, в пещере, у самой дороги. Был он голодный и злой. Каждое утро выходил на дорогу и хватал всякого, кто

ему попадётся: и человека, и барана, и гуся, и поросят, и кошку.

Один человек вёз в телеге грибы на базар. Великан схватил и сожрал его вместе с конём — даже кнута не оставил. Такой он был обжора ненасытный!

А жители деревни были трусы. Они сами приносили ему своих кур и свиней:

— Скушайте, господин Корморан!

— На здоровье, господин Корморан!

— Не желаете ли ещё, господин Корморан?

И кланялись ему до земли.

Вскоре Корморан так растолстел и заважничал, что уже перестал выходить на дорогу; валялся весь день в пещере и подзывал к себе каждого, кого хотел проглотить:

— Эй ты, старичок, иди-ка сюда, да живее, я тебя сейчас съем!

— Иду, ваша милость, иду! — покорно отзывался несчастный. — Вот он я! Кушайте меня на здоровье!

И жил бы великан Корморан тысячу лет до сего дня и съел бы и меня, и тебя, и всех нас, если бы не маленький мальчик, которого звали Джек.

Джек был храбрый, никого не боялся; он решил наказать великана и отрубить ему голову.

Однажды он встал рано утром, когда все ещё спали, взял у отца лопату, пробрался тихонько к пещере, где жил великан, и стал копать яму у самого входа.

Великан услышал шум и проснулся.

— Кто тут? — крикнул он.

Джек ничего не ответил. Он спрятался за куст и стал ждать, чтобы великан снова заснул. Великан долго ворочался у себя на соломе, но наконец захрипел. Джек опять принялся за работу. Работал он весь день, и только к позднему вечеру удалось ему выкопать глубокую яму. Он прикрыл её сосновыми ветками, а ветки засыпал снежком. Издали было незаметно, что тут вырыта глубокая яма, — казалось, будто гладкая земля.

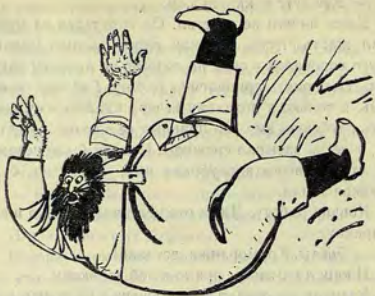
Кончив работу, Джек отошёл на несколько шагов и крикнул:

— Эй ты, Корморашка, вставай!

И кинул камень — прямо в лоб великану.

Великан рассердился и выскочил из пещеры. Он





хотел поймать Джека, разорвать его на части и съесть, но провалился в яму, на самое дно!

Яма была очень глубокая. Великан пробовал выпрыгнуть из неё, но не мог: всякий раз падал на дно.

Сначала он ругался и грозил кулаками, а потом заплакал и начал просить, чтобы Джек отпустил его на волю.

— Я буду добрый! — кричал он. — Я полюблю всех людей! Я не буду никого обижать!

— Я тебе не верю! — отвечал ему Джек. — Ты жадный и злой людоед. Вот тебе награда за твои злодеяния!

И Джек отрубил ему голову.

Когда в деревне узнали об этом, все стали веселиться и радоваться.

— Спасибо тебе, что ты освободил нас от злого чудовища! — говорили Джеку молодые и старые и обнимали и целовали его. А девушки подарили ему шёлковый пояс, на котором были вышиты слова:

Самый сильный, самый смелый человек —

Джек.

Победил он великана

Корморана.



II. БЛЕНДЕРБОР

Джек опоясался этим шёлковым поясом, наточил свою саблю и ушёл путешествовать.

Очень ему хотелось победить и других великанов, которые обижают и мучат людей.

Самый злой из этих людоедов был великан Блендербор: он хватал на улице людей и прятал их в подземелье своего неприступного замка, а потом съедал — одного за другим.

Нужно было убить Блендербора и поскорее освободить его пленников, покуда Блендербор не успел проглотить их.

Но прошла весна, пришло лето, а Блендербор не попадался Джеку. Джек искал его всюду — и в лесах и в полях, — но нигде не мог его найти. Вот однажды, в жаркий день, утомившись от трудной дороги, Джек прилёг под деревом в тени и заснул. А мимо как раз проходил Блендербор.

Увидел Блендербор спящего Джека, наклонился над ним и прочитал у него на поясе такие слова:

Самый сильный, самый смелый человек —

Джек.

Победил он великана

Корморана.

— Этот мальчишка, — сказал Блендербор, — убил моего родного племянника. Надо ему отомстить!

Блендербор был не простой великан. У него были две головы — одна маленькая, другая большая, одна старая, другая молодая. Они вечно ругались и спорили. Увидев спящего Джека, одна голова закричала, что его нужно сварить, а другая — что его нужно изжарить. От злости они начали стучаться лбами.

— Сварить! — кричала одна голова.



— Изжарить! — кричала другая.

Увидев, что Джек проснулся, они сразу прикусили языки, притворились добрыми и запели:

Мы тебя, малюточку, так любим!
Приласкаем мы тебя и приголубим!
Мы снесём тебя на мягкую постельку!
Мы тебя уложим в колыбельку!
Угостим тебя мы пирогами!

Тут они засмеялись и шёпотом сказали друг дружке:

А потом покушаем и сами!



Они думали, что Джек не слышал этих слов, но Джек отлично всё слышал.

Он понял, что двух-головый злодей Блендербор хочет взять его к себе во дворец и съесть.

Он попробовал убежать, но Блендербор схватил его за ногу, сунул в карман, принёс к себе во дворец и положил на кровать.

— Спокойной ночи! — сказала одна голова.

— Приятного сна! — сказала другая.

Обе они любезно поклонились ему, но Джек слышал, как одна голова сказала за дверью другой голове:

— Когда этот мальчишка уснёт, его нужно будет прихлопнуть дубиной, положить в кастрюлю и сварить.

— Нет, изжарить! — закричала другая голова.

— Нет, сварить!

— Нет, изжарить!

Джек вскочил и стал бегать по комнате.

Надо спастись, убежать! Но двери закрыты, а на окне железная решётка.

И вот он придумал хитрость: взял большое суковатое полено, которое валялось у печки, положил его вместо себя на кровать и накрыл одеялом.

Великан ударит по полену, а Джек останется цел!

Джек спрятался за печкой и стал ждать. Вот на лестнице послышались шаги великана, весь дом задрожал от этих тяжёлых шагов.

Распахнулась дверь, и великан вошёл в комнату, где спрятался Джек. В руках у великана была дубина, он подкрался к кровати и хлопнул что есть силы по полену.

А Джек сидел за печкой невредимый.

— Наконец-то я покончил с мальчишкой! — весело сказал великан и ушёл, а дверей не закрыл.

Джек засмеялся от радости и тихонько побежал вслед за ним. Великан пришёл к себе в спальню, упал на кровать и заснул. Джек долго прислушивался, не проснётся ли он. Но он не проснулся — и вскоре обе его головы захрапели. Тогда Джек тихо-тихо подошёл к кровати великана и вытащил у него из-под подушки большой ключ, на котором было написано: «Ключ от подвала». Это был ключ от того подземелья, где томились в неволе несчастные пленники. Джек, не теряя ни минуты, помчался туда, открыл тяжёлую железную дверь и выпустил всех пленников на волю. Они были рады и счастливы и со слезами благодарили своего избавителя. Когда же они разошлись по до-



мам, Джек вернулся к себе в свою комнату и сейчас же заснул крепким сном.

Утром он проснулся и пошёл к великану. Увидев его, великан задрожал.

— Разве ты не умер? — спросила одна голова.

— Неужели ты остался в живых? — спросила другая.

— С чего бы мне умирать? — сказал Джек.

— Но ведь ночью тебя стукнули дубиной! — сказала одна голова.

— И убили! — сказала другая.

— Пустяки! — засмеялся Джек. — Такие удары для меня не страшны: мне показалось, что мышка задела меня своим маленьким хвостиком.

«Ну и силач! — подумал великан. — Недаром он победил Корморана. Для него моя дубина — мышкин хвост. Нужно убежать от него, чтобы он не убил и меня. Но куда бежать? Куда спрятаться?»

- На чердак! — сказала одна голова.
- В подвал! — сказала другая.
- Нет, на чердак!
- Нет, в подвал.

Покуда они спорили, великан не двигался с места. Он не знал, какую из своих голов ему слушать.

Джек быстро вскочил на стул и одним ударом отрубил ему две головы. Они обе покатались по лестнице, и каждая кричала своё:

- Нет, на чердак!
- Нет, в подвал!

Расправившись с великаном, Джек поспешил в деревню.

Вся деревня уже знала о его новой победе. Его встретили весёлыми криками:

- Да здравствует храбрый Джек!

И подарили Джеку молодого коня, и Джек тотчас же вскочил на него и умчался в далёкие страны сражаться с великанами и злыми чудовищами, которые мучат и терзают людей.





СКАЗКА О ЦАРЕВНЕ ЯСНОСВЕТЕ

(По Н. А. Некрасову)

Жил-был царь. Звали его Елисей. Был он очень важный и глупый. И был у царя сын — богатырь и красавец, — храбрый царевич Роман. И задумал Роман жениться. Но где сыскать хорошую жену? Было,

конечно, поблизости немало прекрасных невест — дочери соседних царей. Каждая охотно пошла бы за молодого царевича. Но царь и слышать не хотел о них, — такой он был важный и глупый.

— Помни, — говорил он царевичу, — что ты — мой сын и тебе надобно взять себе в жёны самую знатную, самую богатую, самую красивую девушку, какой ещё никогда не бывало на свете!

И пришёл к царю хитрый волшебник с длинной седой бородой, трижды поклонился ему и сказал:

— Нигде на всей земле нет красавицы, которая была бы достойна стать женою твоего храброго сына. Но за горами, далеко-далеко, у старого царя Ходинамеля живёт прекрасная царевна Ясносвета. Каждый вечер, едва только станет темно, от её лица и одежды исходит сияние, как от небесной луны. И я открою тебе великую тайну, которой не знает никто, — эта девушка и вправду Луна!

— Да ведь Луна — в небесах! — вскричал царь.

— Нет! — ответил с глубоким поклоном волшебник, ухмыляясь в свою длинную бороду. — Каждое утро она сходит с небес на землю, к дочерям царя Ходинамеля, и резвится вместе с ними в саду, и все называют её Ясносветой. И только вечером, во мраке, она отлетает от земли в небеса.

Обрадовался царь Елисей:

— Спасибо тебе, мудрый волшебник! Там, в небесах, среди звёзд ты нашёл моему сыну жену. Небесная луна! Сестра всемогущего солнца! Вот будут заводить мне все другие цари и царицы!



И ни минуты не медля снарядил он сына в дальний путь, и тот помчался в тридевятое царство к славному царю Ходинамелю и увидел у него во дворце прекрасную царевну Ясносвету.

Царь Ходинамель не был отцом Ясносветы. Ещё маленькой девочкой попала она к нему во дворец и стала жить у него вместе с его дочерьми. Никто не знал, где её отец и где мать.

Она и в самом деле была красавица. И глаза у неё засияли как звёзды, когда храбрый царевич сказал ей, что хочет жениться на ней. Она с первого взгляда полюбила царевича и тотчас же согласилась поехать вместе с ним в его родную страну.

Очень обрадовался царь Елисей, когда храбрый царевич Роман привёз к нему во дворец Ясносвету.

Подумайте только, какие богатства принесёт она царю и царевичу! Ведь она богаче всех невест: у неё и моря, и леса, и облака, и звёзды из чистого золота!

И на радостях глупый царь устроил весёлую свадьбу. И пригласил на свадьбу всех царей и цариц из дальних и ближних стран. «Приходите все и завидуйте: сын мой женится на небесной луне!»

На свадьбу приехало много гостей, и все они очень жалели, что уже никогда, никогда не увидят луны в небесах! Ночи станут чёрные, хоть не выходи из ворот. Заблудишься, собьёшься с дороги. Теперь луна будет светить только царю Елисею и его сыну Роману, а все прочие люди — все, сколько есть! — останутся без луны, в темноте.

Особенно пригорюнился добрый царь Пантелей, повелитель некоего заморского царства. Глядя на царевну Ясносвету, он вспомнил свою погибшую дочь, которая лет двенадцать назад исчезла из родительского дома. Он искал её повсюду и нигде не нашёл. Теперь он глядит на Ясносвету и не ест и не пьёт и вздыхает. Ясносвета так похожа на его погибшую дочь.

А царь Елисей доволен. Он сидит на своём троне и хохочет.

— Что это вы приуныли? — говорит он своим гостям. — Завидуете мне и моему сыну Роману? Да, дорогие друзья, туго вам придётся без луны. Намучаетесь вы в темноте. Зато у меня, в моём царстве, луна будет светить круглый год — от зари до зари — и не где-нибудь, а тут, за столом! Теперь она — наша, моя,



и я не отпущу её в небо. Нечего ей гулять между облаками и звёздами!

И царь Елисей захохотал ещё громче.

Но что это случилось со всеми гостями? Почему они смотрят в окно и шушукаются и толкают друг друга локтями?

Царь глянул туда же, куда глядели другие, и сразу перестал хохотать. Он увидел, что в небе как ни в чём не бывало сияет круглая большая луна, и её серебряный свет разливается по окрестным полям и лесам.

И все глядят на неё, и смеются, и радуются.

— Какой же он глупец, этот царь Елисей! — громко говорят они друг другу. — Одурачил его хитрый

колдун! Наговорил ему всякого вздору, а он и поверил, будто бы светила небесные могут сходить к нам на землю.

Царь вскочил со своего престола, подбежал к колдуну и набросился на него с кулаками:

— Ах ты бессовестный лгун! Из-за тебя я остался теперь в дураках! Хотел женить своего сына на Луне, а женил его на жалкой сиротке, на нищенке, у которой нет ни гроша за душой.

— Нет, она не сиротка! Неправда! — неожиданно закричал царь Пантелей. — Я узнал её, мою Ясносвету! Она — моя единственная дочь. Её похитили у меня злые разбойники и отвезли её к царю Ходинамелю. И теперь она вернулась ко мне!

И царь Пантелей бросился обнимать Ясносвету. И все снова уселись за стол и пировали три дня и три ночи. И храбрый царевич Роман, сидя за столом с Ясносветой, тысячу раз повторял ей, что для него она милее луны, краше солнца.

А луна сияла в небесах, и казалось, что там, в вышоте, среди облаков и звёзд, она смеётся над глупым царём, который мог поверить небылицам, рассказанным о ней хитрым волшебником.





ХРАБРЫЙ ПЕРСЕЙ

1

В одном городе случилась большая беда. Прилетела откуда-то крылатая женщина Медуза Горгона. Она медленно проходила по улицам, и всякий, кто смотрел на неё, в тот же миг становился камнем.

Вместо волос у Медузы Горгоны были длинные чёрные змеи. Они всё время шевелились и шипели.

Она тихо и печально глядела каждому прохожему в глаза, и он тотчас же превращался в окаменелую статую. И если птица, пролетая над землёй, взглядывала на Медузу Горгону, птица падала камнем на землю.

Был летний чудесный день. На лужайках, в садах и на улицах бегало много детей. Они играли в весёлые игры, прыгали, плясали, смеялись и пели. Но стоило Медузе Горгоне пройти мимо них, и они превращались в холодную грудку камней.

2

В том же городе в великолепном дворце жил царь Полидект. Он был трусливый и глупый: до того испугался Медузы Горгоны, что убежал из дворца и спрятался со своими вельможами в погребе, глубоко под землёй.

«Здесь я могу не бояться Медузы Горгоны,— говорил он со смехом.— Здесь ей меня не найти!»

В погребе было много вина и еды; царь сидел за столом и пировал со своими вельможами. Какое ему было дело, что в городе, там, наверху, люди погибают один за другим и не могут спастись от жестокой колдуньи!

3

К счастью, жил в этом городе храбрый Персей. Все очень любили его. Он никогда никого не боялся.

Когда страшная Медуза Горгона проходила по городу, его не было дома.

Вечером Персей воротился домой. Соседи рассказали ему о Медузе Горгоне.



— Злая, бессердечная колдунья! — вскричал он. — Пойду и убью её.

Соседи грустно покачали головой и сказали:

— Много было таких смельчаков, которые хотели сразиться с Медузой Горгоной. Но никто из них не вернулся сюда: она всех превратила в камни.

— Но не могу же я сидеть сложа руки! Ведь она погубит всех жителей нашего города, всех моих родных и друзей! Сегодня же отомщу ей за её злые дела.

И Персей побежал по улицам, расспрашивая у каждого встречного, где жилище Медузы Горгоны.

Но никто не ответил ему. Каждый плакал над каким-нибудь камнем.

4

Персей заглядывал по пути в каждый дом: нет ли там Медузы Горгоны.

Проходя мимо царского погреба, он подумал: не там ли она? Сбежал по ступеням вниз — и увидел в подземелье царя!

Царь Полидект сидел за столом на троне и весело пировал со своими вельможами.

— Эй, ты! — закричал он Персею. — Надеюсь, ты пришёл сюда не с пустыми руками! Не хочешь ли ты подарить мне каких-нибудь диковинных рыб? Или сочных ягод и сладких плодов?

— Нет, — сказал Персей. — Я не принёс ничего — ни рыб, ни плодов, ни ягод. Но скоро я принесу тебе драгоценный подарок, который обрадует и развеселит твоё сердце.

У царя от жадности заблестели глаза.

— Милый юноша, — сказал он приветливым голосом, — подойди ко мне ближе и скажи, какой драгоценный подарок собираешься ты мне поднести. Может быть, ты нашёл на дне моря жемчужину или золотую корону?

— Нет, — ответил Персей, — мой подарок дороже золота, дороже самых лучших жемчужин...



— Что же это такое? Скажи!

— Голова Медузы Горгоны! — громко ответил Персей. — Да, я подарю тебе голову Медузы Горгоны! Я убью эту злую колдунью. Я спасу от неё свою родину!

Царь ударил кулаком по столу:

— Ступай от меня, жалкий безумец! Или ты не знаешь, что тысячи моих доблестных воинов пытались уничтожить Медузу, но многих превратила она в камни, а прочие убежали от неё, как от лютого зверя?

— Твои воины такие же трусы, как ты! — гневно ответил Персей. — Но я никого и ничего не боюсь! Я не убегу от Медузы Горгоны. И ты получишь от меня её голову.

Сказав это, он повернулся и быстрыми шагами ушёл из подвала.

5

Забыв обо всём на свете, он думал теперь об одном: как бы найти Медузу Горгону и спасти от неё родную страну?

Но напрасно всю ночь до утра скитался он по улицам города. Только на рассвете ему встретился знакомый рыбак, который сказал, что Медуза живёт под высокой горой, у ручья.

К вечеру Персей добрался до высокой горы, на склоне которой среди серых камней под деревьями спала крепким сном Медуза Горгона.

Персей обнажил свой меч и помчался вниз по уступам горы. Но вскоре он остановился и задумался:

«Ведь чтобы отрубить голову спящей колдунье, я должен взглянуть на неё, а если я взгляну на неё, она сейчас же превратит меня в камень».

Он поднял свой медный щит — круглый, блестящий и гладкий — и стал смотреть в него, как смотрят в зеркало. В этом щите отразились и деревья, и серые камни, которые были на склоне горы. В нём же отразилась и спящая женщина, у которой вокруг головы были не волосы, а чёрные змеи.

Так удалось Персею при помощи чудесного щита увидеть Медузу Горгону, ни разу не взглянув на неё.

Медуза спала на земле, рядом со своими безобразными сёстрами, которые были похожи на больших разжиревших свиней. Её крылья сверкали, как радуга, у неё было такое прекрасное, печальное, задумчивое молодое лицо, что Персею стало жаль убивать её.

Но тут он увидел, что на голове у Медузы зашевелились чёрные ядовитые змеи, вспомнил, сколько ни в чём не повинных людей и детей погубила эта злая красавица, сколько добрых, счастливых, весёлых превратила она в мёртвые камни.

И ему ещё сильнее, чем прежде, захотелось расправиться с нею.

Глядя в зеркальный щит, в котором отражалась Медуза, Персей подбежал к ней и сразу одним ударом меча отсек её ужасную голову. Голова отлетела прочь и покатилась к ручью. Но Персей и теперь не взглянул на неё, потому что и теперь она могла превратить его в камень. Он взял мешок, сшитый из козьего меха, бросил туда голову Медузы и быстро побежал по горам.

Сёстры Медузы проснулись. Увидев, что Медуза убита, они с криками взлетели на воздух и, как хищные птицы, стали кружить над деревьями. Вот они заметили Персея и полетели за ним.

— Отдай нам голову нашей сестры! — кричали они. — Отдай нам голову нашей сестры!

Персей бежал по горам не оглядываясь, и не раз ему казалось, что страшные Горгоны настигают его.



Сейчас они вонзят ему в тело свои острые медные когти!

Но долго они летать не могли, так как были жирные и очень тяжёлые. Понемногу они стали отставать, но всё ещё кричали ему вслед:

— Отдай нам голову нашей сестры!

6

Персей бежал без оглядки. Он бежал по пустыне, а кровь с головы Медузы капала на горячий песок, и каждая капля превращалась в змею.

Змеи извивались и ползли за Персеем, стараясь ужалить его. Но он нёсся как ветер, не боясь ничего, и в сердце у него была радость. Убита, убита Медуза Горгона! Больше она не будет злодействовать.

По дороге ему встретилась добрая волшебница, по имени Афина Паллада, которая сказала ему:

— Слава герою! За то, что ты не испугался Медузы и спас от неё свой народ, прими от меня в дар эти сандалии. Эти сандалии волшебные. Видишь, к ним приделаны крылышки. Надень их скорее на ноги, и ты полетишь как птица.

Сказав это, волшебница исчезла.

Чуть только Персей надел сандалии, крылышки на них затрепетали, и он, как сокол, полетел над пустыней.

7

Вскоре он вылетел к синему морю и быстро помчался над ним. И вдруг увидел большую скалу.

Скала стояла на берегу, вся освещённая солнцем, и к ней железной цепью была прикована девушка, которая горько рыдала.

Персей подлетел к ней и крикнул:

— Скажи мне, прекрасная девушка, какие жестокие люди приковали тебя к этой скале? Я пойду и зарублю их своим острым мечом!

— Уходи, уходи! — закричала она. — Скоро вынырнет из моря дракон, страшное морское чудовище. Он проглотит и тебя и меня! Каждый день он подплы-



вает сюда, взбирается на гору, рыщет по нашему городу и там пожирает людей. Он глотает без разбору и старых и малых. Чтобы спастись от него, жители города приковали меня к этой скале: дракон увидит меня и сейчас же проглотит и все люди в нашем городе останутся живы.

— Не боюсь я морского чудовища! — крикнул бесстрашный Персей. — Сегодня я уничтожил другое чудовище, которое гораздо страшнее!

Но девушке было жалко Персея.

— Оставь меня,— сказала она,— уходи! Я не хочу, чтобы тебя проглотило чудовище.

— Нет, я не покину тебя! Я останусь и убью этого злого дракона, глотающего беззащитных людей.

И он сильно ударил своим острым мечом по цепи, которой была прикована девушка.

— Ты свободна! — сказал он.

Она засмеялась, обрадовалась и нежно благодарила своего избавителя. Но вдруг оглянулась и крикнула:

— Чудовище близко! Оно подплывает сюда! Что делать? Что делать? У него такие острые зубы. Оно растерзает, проглотит и тебя и меня! Уходи, уходи! Я не хочу, чтобы ты погиб из-за меня.

— Я останусь здесь,— сказал Персей.— Я спасу и тебя, и твой город от злого дракона. Обещай мне, что, если я уничтожу его, ты будешь моею женою и пойдёшь вместе со мной в мою страну.

Дракон подплывал всё ближе. Он плёскался по волнам, словно корабль. Увидев девушку, он жадно разинул широкую зубастую пасть и ринулся на берег, чтобы проглотить свою жертву. Но Персей бесстрашно встал перед ним и, вытащив из козьего меха голову Медузы Горгоны, показал её свирепому чудовищу.

Чудовище взглянуло на волшебную голову и тотчас же окаменело навеки — превратилось в огромный чёрный прибрежный утёс.

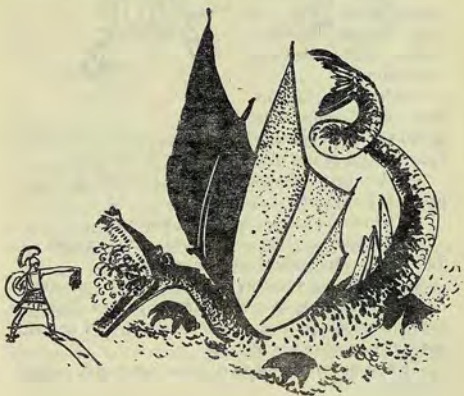
Девушка была спасена. Персей бросился к ней,

взял её на руки и взбежал с нею на вершину горы, в тот город, которому угрожало чудовище.

В городе все были рады и счастливы. Люди обнимали и целовали Персея и в восторге кричали ему:

— Да здравствует великий герой, который спас нашу страну от гибели!

У девушки было красивое имя: Андромеда. Вскоре она стала женою Персея, он подарил ей одну из своих чудесных сандалий — и оба они полетели в тот город, в котором царствовал трусливый Полидект.



Оказалось, что царь Полидект всё ещё прячется у себя в подземелье и пирует вместе со своими вельможами.

Едва только царь увидел Персея, он засмеялся и крикнул:

— Поди-ка ты сюда, хвастунишка! Ну, где твоя Медуза Горгона? Видно, легче обещать, чем исполнить!

— Нет, царь, я исполнил своё обещание: я принёс тебе чудесный подарок — голову Медузы Горгоны! Но лучше бы тебе на неё не смотреть.

— Нет, нет! — закричал царь. — Покажи! Я не верю тебе. Ты хвастун и обманщик!

— Её голова здесь, в этом сером мешке!

— Ты лжёшь. Я не верю тебе, — сказал царь. — Там у тебя самая обыкновенная тыква.

— Ну что ж! Если не веришь, гляди! — крикнул со смехом Персей, вынул из мешка голову Медузы Горгоны и, закрыв глаза, чтобы не смотреть на неё, показал её царю и вельможам.

Те хотели встать, убежать, но не могли и остались на месте.





— Вот вам награда за то, что вы, жалкие трусы, прятались от грозной опасности и оставили свой народ погибать, а сами пировали от утра до утра.

Но никто не ответил ему, потому что и царь и вельможи сделались грудой камней.

Очень обрадовались жители этого города, когда узнали, что на свете уже нет Полидекта.

— Пусть царствует над нами Персей! — закричали они. — Он такой храбрый и добрый.

Но Персей не захотел быть царём. Он бросил в пучину моря голову Медузы Горгоны и ушёл в далёкую страну вместе со своей милой женой Андромедой.

...Выйди из дому в ясную ночь и взгляни на небо, усыпанное яркими звёздами. Ты увидишь созвездие молодого Персея. В руке у Персея голова Медузы, но не бойся смотреть на неё: она уже не может превратить тебя в камень. Рядом с Персеем ты увидишь его прекрасную жену Андромеду. Руки её подняты кверху, словно они прикованы к скале. Тысячи лет люди смотрят на эти созвездия и вспоминают славного героя Персея, который спас их от Медузы Горгоны и от жестокого морского чудовища.



ДОКТОР АЙБОЛИТ (по Гю Лостингу)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Путешествие в Страну Обезьян





1. ДОКТОР И ЕГО ЗВЕРИ

Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. И была у него злая сестра, которую звали Варвара.

Больше всего на свете доктор любил зверей. В комод у него жили зайцы. В шкафу у него жила белка. На диване жил колючий ёж. В сундуке жили белые мыши.

Но из всех своих зверей доктор Айболит любил больше всего утку Кику, собаку Авву, маленькую свинку Хрю-Хрю, попугая Карудо и сову Бумбу.

Очень сердилась на доктора его злая сестра Варвара за то, что у него в комнате столько зверей.

— Прогони их сию же минуту! — кричала она. — Они только комнаты пачкают. Не желаю жить с этими скверными тварями!

— Нет, Варвара, они не скверные! — говорил доктор. — Я очень рад, что они живут у меня.

Со всех сторон к доктору приходили лечиться больные пастухи, больные рыбаки, дровосеки, крестьяне, и каждому давал он лекарство, и каждый сразу становился здоров.

Если какой-нибудь деревенский мальчишка ушибёт себе руку или поцарапает нос, он сейчас же бежит к Айболиту — и, смотришь, через десять минут он как ни в чём не бывало, здоровый, весёлый, играет в пятнашки с попугаем Карудо, а сова Бумба угощает его леденцами и яблоками.

Однажды к доктору пришла очень печальная лошадь и тихо сказала ему:

— Лама-воной-фифи-куку!

Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит:

«У меня болят глаза. Дайте мне, пожалуйста, очки».

Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади:

— Капуки-кануки!

По-звериному это значит:

«Садитесь, пожалуйста».

Лошадь села. Доктор надел ей очки, и глаза у неё перестали болеть.

— Чака! — сказала лошадь, замахала хвостом и побежала на улицу.

«Чака» по-звериному значит «спасибо».

Скоро все звери, у которых были плохие глаза, получили от доктора Айболита очки. Лошади стали ходить в очках, коровы — в очках, кошки и соба-



ки — в очках. Даже старые вороны не вылетали из гнезда без очков.

С каждым днём к доктору приходило всё больше зверей и птиц.

Приходили черепахи, лисицы и козы, прилетали журавли и орлы.

Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого, потому что какие же деньги у черепах и орлов!

Скоро в лесу на деревьях были расклеены такие объявления:

Открыта больница
Для птиц и зверей.
Идите лечиться
Туда поскорей!

Расклеивали эти объявления Ваня и Таня, соседские дети, которых доктор вылечил когда-то от скарлатины и кори. Они очень любили доктора и охотно помогали ему.

2. ОБЕЗЬЯНА ЧИЧИ

Однажды вечером, когда все звери спали, к доктору кто-то постучался.

— Кто там? — спросил доктор.

— Это я, — ответил тихий голос.

Доктор открыл дверь, и в комнату вошла обезьяна, очень худая и грязная. Доктор посадил её на диван и спросил:

— Что у тебя болит?

— Шея, — сказала она и заплакала.

Тут только доктор увидел, что на шее у неё большая верёвка.

— Я убежала от злого шарманщика,— сказала обезьяна и снова заплакала.— Шарманщик бил меня, мучил и всюду таскал за собой на верёвке.

Доктор взял ножницы, перерезал верёвку и смазал шею обезьяны такой удивительной мазью, что шея тотчас же перестала болеть. А потом он выкупал обезьяну в корыте, дал ей поест и сказал:

— Живи у меня, обезьяна. Я не хочу, чтобы тебя обижали.

Обезьяна была очень рада. Но, когда она сидела за столом и грызла большие орехи, которыми угостил её доктор Айболит, в комнату вбежал злой шарманщик.

— Отдай мне обезьяну! — крикнул он.— Эта обезьяна моя!

— Не отдам! — сказал доктор.— Ни за что не отдам! Я не хочу, чтобы ты мучил её.

Взбешённый шарманщик хотел схватить доктора Айболита за горло.

Но доктор спокойно сказал ему:

— Убирайся сию же минуту! А если ты будешь драться, я кликну собаку Авву, и она искушает тебя.

Авва вбежала в комнату и грозно сказала:

— Рррр...

На зверином языке это значит:

«Беги, а не то укушу!»

Шарманщик испугался и убежал без оглядки. Обезьяна осталась у доктора. Звери скоро полюбили



её и называли Чичи. На зверином языке «чичи» значит «молодчина».

Чуть только Таня и Ваня увидели её, они в один голос воскликнули:

— Ах, какая она милая! Какая чудесная!

И тотчас же стали играть с нею, как со своей лучшей подружкой. Они играли в прятки и в мяч, а потом все трое взялись за руки и побежали на берег моря, и там обезьяна научила их весёлому обезьяньему танцу, который на зверином языке называется «ткелла».

3. ДОКТОР АЙБОЛИТ ЗА РАБОТОЙ

Каждый день к доктору Айболиту приходили звери лечиться. Лисицы, кролики, тюлени, кабаны, верблюжата — все приходили к нему издалека. У кого болел живот, у кого зуб. Всем им доктор давал лекарство, и они сейчас же выздоравливали.

Однажды пришёл к Айболиту бесхвостый козлёнок, и доктор пришил ему хвост.

А потом из далёкого леса пришла, вся в слезах, медведица. Она жалобно стонала и хныкала: из лапы у неё торчала большая заноза. Доктор вытащил занозу.



зу, промыл рану и смазал её своей чудодейственной мазью.

Боль у медведицы сию же минуту прошла.

— Чака! — закричала медведица и весело побежала домой — в берлогу, к своим медвежатам.

Потом к доктору приплёлся больной заяц, которого чуть не загрызли собаки.

А потом пришёл больной баран, который сильно простудился и кашлял.

А потом пришли два цыплёнка и привели индюка, который отравился грибами поганками.

Каждому, каждому давал доктор лекарство, и все в тот же миг выздоравливали, и каждый говорил ему «чака».

А потом, когда все больные ушли, доктор Айболит услышал, как будто что-то у него за дверью шуршит.

— Войдите! — крикнул доктор.

И пришёл к нему печальный мотылёк:

«Я на свечке себе крылышко обжёг.

Помоги мне, помоги мне, Айболит:

Мое раненое крылышко болит!»

Доктору Айболиту стало жаль мотылька. Он взял его двумя пальцами, положил на ладонь и долго разглядывал обгорелое крылышко. А потом улыбнулся и весело сказал мотыльку:

Не печалься, мотылёк!

Ты ложися на бочок:

Я пришью тебе другое,

Шёлковое, голубое.

Новое,
Хорошее
Крылышко!

И пошёл доктор в соседнюю комнату и принёс оттуда целый ворох всевозможных лоскутков — бархатных, атласных, батистовых, шёлковых. Лоскутки были разноцветные: голубые, зелёные, чёрные. Доктор долго рылся среди них, наконец выбрал один — ярко-синий с пунцовыми пятнышками. И тотчас же выкроил из него ножницами отличное крылышко, которое и пришил мотыльку.

Засмеялся мотылёк
И помчался на лужок
И летает под берёзами
С бабочками и стрекозами.

А весёлый Айболит
Из окна ему кричит:
«Ладно, ладно, веселись,
Только свечки берегись!»

Так возился доктор со своими больными до самого позднего вечера.

Вечером он прилёг на диван и сладко заснул, и ему стали сниться белые медведи, олени, моржи.

И вдруг кто-то снова постучал к нему в дверь.

4. КРОКОДИЛ

В том городе, где жил доктор, был цирк, а в цирке жил большой Крокодил. Там его показывали людям за деньги.

У Крокодила заболели зубы, и он пришёл к доктору Айболиту лечиться. Доктор дал ему чудесного лекарства, и зубы перестали болеть.

— Как у вас хорошо! — сказал Крокодил, озираясь по сторонам и облизываясь. — Сколько у вас зайчиков, птичек, мышей! И все они такие жирные, вкусные! Позвольте мне остаться у вас навсегда. Я не хочу возвращаться к хозяину цирка. Он плохо кормит меня, бьёт, обижают.

— Оставайся, — сказал доктор. — Пожалуйста! Только чур: если ты съешь хоть одного зайчишку, хоть одного воробья, я прогоню тебя вон.

— Ладно, — сказал Крокодил и вздохнул. — Обещаю вам, доктор, что не буду есть ни зайцев, ни птиц.

И стал Крокодил жить у доктора.

Был он тихий. Никого не трогал, лежал себе под кроватью и всё думал о своих братьях и сёстрах, которые жили далеко-далеко, в жаркой Африке.

Доктор полюбил Крокодила и часто разговаривал с ним. Но злая Варвара терпеть не могла Крокодила и требовала, чтобы доктор прогнал его.

— Видеть его не желаю! — кричала она. — Он такой противный, зубастый. И всё портит, к чему ни притронется. Вчера съел мою зелёную юбку, которая валялась у меня на окошке.

— И хорошо сделал, — сказал доктор. — Платье надо прятать в шкаф, а не бросать на окошко.

— Из-за этого противного Крокодила, — продолжала Варвара, — многие люди боятся приходить к тебе в дом. Приходят одни бедняки, и ты не берёшь у



них платы, и мы теперь так обеднели, что нам не на что купить себе хлеба.

— Не нужно мне денег,— отвечал Айболит.— Мне и без денег отлично. Звери накормят и меня и тебя.

5. ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ ДОКТОРУ

Варвара сказала правду: доктор остался без хлеба. Три дня он сидел голодный. У него не было денег.

Звери, которые жили у доктора, увидели, что ему нечего есть, и стали его кормить. Сова Бумба и свинка Хрю-Хрю устроили во дворе огород: свинка рылом копала грядки, и Бумба сажала картошку. Корова каждый день утром и вечером стала угощать доктора своим молоком. Курица несла ему яйца.



И все стали заботиться о докторе. Собака Авва подметала полы. Таня и Ваня вместе с обезьяной Чичи носили ему воду из колодца.

Доктор был очень доволен.

— Никогда у меня в моем домике не было такой чистоты. Спасибо вам, дети и звери, за вашу работу!

Дети весело улыбались ему, а звери в один голос отвечали:

— Карабуки марабуки бу!





На зверином языке это значит:

«Как же нам не служить тебе? Ведь ты лучший наш друг».

А собака Авва лизнула его в щёку и сказала:

— Абузо мабузо бах!

На зверином языке это значит:

«Мы никогда не покинем тебя и будем тебе верными товарищами».

6. ЛАСТОЧКА

Как-то вечером сова Бумба сказала:

— Кто это там скребётся за дверью? Похоже, как будто мышь.

Все прислушались, но ничего не услышали.

— За дверью никого нет! — сказал доктор. — Это тебе так показалось.

— Нет, не показалось, — возразила сова. — Я слышу, что кто-то скребётся. Это мышь или птица. Уж вы можете мне поверить. Мы, совы, слышим лучше, чем люди.

Бумба не ошиблась. Обезьяна открыла дверь и увидела на пороге ласточку.

Ласточка — зимой! Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза и, чуть наступает зима, улетают в жаркую Африку. Бедная, как ей холодно! Она сидит на снегу и дрожит.

— Ласточка! — крикнул доктор. — Войди в комнату и обогрейся у печки.

Вначале ласточка боялась войти. Она увидела, что в комнате лежит Крокодил, и думала, что он её съест. Но обезьяна Чичи сказала ей, что этот Крокодил очень добрый. Тогда ласточка влетела в комнату, села на спинку стула, огляделась по сторонам и спросила:

— Чируто кисафа мак?

На зверином языке это значит:

«Скажите, пожалуйста, не здесь ли живёт знаменитый доктор Айболит?»

— Айболит — это я, — сказал доктор.

— У меня к вам большая просьба, — сказала ласточка. — Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны.

— Что у них болит? — спросил доктор.

— У них болит живот, — сказала ласточка. — Они лежат на земле и плачут. Есть только один человек, который может их спасти, — это вы. Берите с собой лекарства, и едем скорее в Африку! Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут.

— Ах, — сказал доктор, — я с радостью поехал бы в Африку! Я люблю обезьян, и мне жаль, что они больны. Но у меня нет корабля. Ведь чтобы поехать в Африку, нужно иметь корабль.

— Бедные обезьяны! — сказал Крокодил. — Если доктор не поедет в Африку, все они должны умереть. Только он один может вылечить их.

И Крокодил заплакал такими большими слезами, что по полу потекли два ручья.

Вдруг доктор Айболит закричал:

— Всѣ же я в Африку поеду! Всѣ же я вылечу больных обезьян! Я вспомнил, что у моего знакомого старого моряка Робинзона, которого я спас когда-то от злой лихорадки, есть превосходный корабль.

Он взял шляпу и пошѣл к моряку Робинзону.

— Здравствуй, моряк Робинзон! — сказал он. — Будь добр, дай мне твой корабль. Я хочу поехать в Африку. Там, неподалѣку от пустыни Сахары, есть чудесная Страна Обезьян.

— Хорошо, — сказал моряк Робинзон. — Я дам тебе корабль с удовольствием. Ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. Но смотри привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет.



— Непременно привезу,— сказал доктор.— Не беспокойся. Мне бы только в Африку съездить.

— Бери, бери! — повторил Робинзон.— Но смотри не разбей его о подводные камни!

— Не бойся, не разобью,— сказал доктор, поблагодарил моряка Робинзона и побежал домой.

— Звери, собирайтесь! — крикнул он.— Завтра мы едем в Африку!

Звери очень обрадовались, стали прыгать по комнате, хлопать в ладоши. Больше всех радовалась обезьяна Чичи:

Еду, еду в Африку,
В милые края!
Африка, Африка,
Родина моя!

— Я не всех зверей возьму в Африку,— сказал доктор Айболит.— Ежик, летучие мыши и кролики должны остаться тут, в моём доме. Вместе с ними останется и лошадь. А возьму я с собой Крокодила, обезьяну Чичи и попугая Карудо, потому что они родом из Африки: там живут их родители, братья и сёстры. Кроме того, я возьму с собой Авву, Кику, Бумбу и свинку Хрю-Хрю.

— А нас?! — закричали Таня и Ваня.— Неужели мы останемся здесь без тебя?

— Да! — сказал доктор и крепко пожал им руки.— До свиданья, дорогие друзья! Вы останетесь здесь и будете ухаживать за моим огородом и садом. Мы очень скоро вернемся! И я привезу вам из Африки чудесный подарок.



Таня и Ваня понурили головы. Но подумали немного и сказали:

— Ничего не поделаешь: мы ещё маленькие. Счастливого пути! До свиданья! А когда мы подрастём, мы непременно поедem с тобой путешествовать.

— Ещё бы! — сказал Айболит. — Вам только нужно чуть-чуть подрасти.

7. В АФРИКУ!

Звери наскоро уложили вещи и тронулись в путь. Дома остались только зайцы, да кролики, да ежи, да летучие мыши.

Придя на берег моря, звери увидели чудесный корабль. Тут же на пригорке стоял моряк Робинзон. Ва-



ня и Таня вместе со свинкой Хрю-Хрю и обезьяной Чичи помогли доктору внести чемоданы с лекарствами.

Все звери взошли на корабль и хотели уже тронуться в путь, как вдруг доктор закричал громким голосом:

— Подождите, подождите, пожалуйста!

— Что случилось? — спросил Крокодил.

— Подождите! Подождите! — кричал доктор. — Ведь я не знаю, где Африка! Нужно пойти и спросить.

Крокодил засмеялся:

— Не ходи! Успокойся! Ласточка покажет тебе, куда плыть. Она часто бывала в Африке. Ласточки летают в Африку каждую зиму.

— Конечно! — сказала ласточка. — Я с радостью покажу тебе дорогу туда.

И она полетела впереди корабля, показывая доктору Айболиту дорогу.

Она летела в Африку, а доктор Айболит направлял корабль вслед за нею. Куда ласточка, туда и корабль.

Ночью становилось темно, и ласточки не было видно. Тогда она зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести своё судно.

Ехали они, ехали, вдруг видят — летит им навстречу журавль.

— Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит?

— Да, — отвечал Крокодил. — Знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле.

— Попросите доктора, чтобы он плыл поскорее, — сказал журавль, — потому что обезьянам становится всё хуже и хуже. Они ждут не дождутся его.

— Не беспокойтесь! — сказал Крокодил. — Мы мчимся на всех парусах. Обезьянам не придётся долго ждать.

Услышав это, журавль обрадовался и полетел назад, чтобы сказать обезьянам, что доктор Айболит уже близко.

Корабль быстро бежал по волнам. Крокодил сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины.

— Скажите, пожалуйста, — спросили дельфины, —

не плывёт ли на этом корабле знаменитый доктор Айболит?

— Да,— отвечал Крокодил.— Знаменитый доктор Айболит плывёт на этом корабле.

— Будьте добры, попросите доктора плыть скорее, потому что обезьянам становится всё хуже и хуже.

— Не беспокойтесь! — отвечал Крокодил.— Мы мчимся на всех парусах. Обезьянам не придётся долго ждать.

Утром доктор сказал Крокодилу:

— Что это там впереди? Какая-то большая земля. Я думаю, это Африка.

— Да, это Африка! — закричал Крокодил.— Африка! Африка! Скоро мы будем в Африке. Я вижу страусов! Я вижу носорогов! Я вижу верблюдов! Я вижу слонов!

Африка, Африка!

Милые края!

Африка, Африка!

Родина моя!

8. БУРЯ

Но тут поднялась буря. Дожди! Ветер! Молния! Гром! Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть.

И вдруг — трах-тар-ра-рах! Раздался ужасный треск, и корабль наклонился набок.

— Что такое? Что такое? — спросил доктор.



— Ко-ра-бле-кру-ше-ние! — закричал попугай. — Наш корабль налетел на скалу и разбился! Мы тонем. Спасайся кто может!

— Но я не умею плавать! — закричала Чичи.

— Я тоже не умею! — закричала Хрю-Хрю.

И они горько заплакали. К счастью, Крокодил посадил их на свою могучую, широкую спину и поплыл по волнам прямо к берегу.

Ура! Все спасены! Все благополучно добрались до Африки. Но их корабль погиб. Огромная волна налетела на него и разбила его в мелкие щепки.

Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет. И что они скажут моряку Робинзону?

Становилось темно. Доктор и все его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и устали. Но доктор и не думал об отдыхе:

— Скорее, скорее вперёд! Нужно торопиться! Нужно спасти обезьян! Бедные обезьяны больны, и они ждут не дождутся, чтобы я вылечил их!

9. ДОКТОР В БЕДЕ

Тут к доктору подлетела Бумба и сказала испуганным голосом:

— Тише, тише! Кто-то идет! Я слышу чьи-то шаги! Все остановились и прислушались.

Из лесу вышел какой-то лохматый старик с длинной седой бородой и закричал:

— Что вы тут делаете? И кто вы такие? И зачем вы сюда пришли?

— Я доктор Айболит, — сказал доктор. — Я приехал в Африку, чтобы вылечить больных обезьян...

— Ха-ха-ха! — засмеялся лохматый старик. — «Вылечить больных обезьян!» А знаете ли вы, куда вы попали?

— Куда? — спросил доктор.

— К разбойнику Бармалею!

— К Бармалею! — воскликнул доктор. — Бармалей — самый злой человек на всём свете! Но мы лучше умрём, а не сдадимся разбойнику! Бежим скорее туда — к нашим больным обезьянам... Они плачут, они ждут, и мы должны вылечить их.

— Нет! — сказал лохматый старик и захохотал ещё громче. — Вы отсюда никуда не уйдёте! Бармалей убивает каждого, кто попадёт к нему в плен.



— Бежим! — кричал доктор. — Бежим! Мы можем спастись! Мы спасёмся!

Но тут появился перед ними сам Бармалей и, размахивая саблей, закричал:

— Эй вы, мои верные слуги! Возьмите этого глупого доктора со всеми его глупыми зверями и посадите в тюрьму, за решётку! Завтра я разделаюсь с ними!

Подбежали слуги Бармалея, схватили доктора, схватили Крокодила, схватили всех зверей и повели их в тюрьму.

Доктор храбро отбивался от них. Звери кусались, царапались, вырывались из рук, но врагов было много, враги были сильные. Они втащили пленников в тюрьму, и лохматый старик запер их там на ключ.

А ключ отдали Бармалею. Бармалей спрятал его у себя под подушкой.

— Бедные мы, бедные! — сказала Чичи. — Из этой тюрьмы нам не уйти никогда. Стены здесь крепкие, двери железные. Больше мы не увидим ни солнца, ни цветов, ни деревьев. Бедные мы, бедные!

Свинка захрюкала, собака завyla. А Крокодил заплакал такими большими слезами, что на полу сделалась большущая лужа.

10. ПОДВИГ ПОПУГАЯ КАРУДО

Но доктор сказал зверям:

— Друзья мои, нам нельзя унывать! Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы — ведь нас ждут больные обезьяны! Перестаньте плакать! Давайте подумаем, как нам спастись.

— Нет, милый доктор! — сказал Крокодил и заплакал ещё сильнее. — Спасти нас нельзя. Мы погибли! Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа. Разве мы можем сломать эти двери? Завтра



утром, чуть свет, к нам придёт Бармалей и убьёт нас всех до одного!

Утка Кика захныкала. Чичи глубоко вздохнула. Но доктор вскочил на ноги и воскликнул с весёлой улыбкой:

— Всё же мы спасёмся из тюрьмы!

И он позвал к себе попугая Карудо и что-то шепнул ему. Шепнул так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал:

— Хорошо!

А потом подбежал к решётке, протиснулся между железными прутьями, вылетел на улицу и полетел к Бармалею.

Бармалей крепко спал у себя на кровати, а под подушкой у него был спрятан огромный ключ — тот самый, которым он запер железные двери тюрьмы.

Тихо-тихо подкрался попугай к Бармалею и вытащил ключ из-под подушки. Если бы разбойник проснулся, он непременно убил бы бесстрашную



птицу. Но разбойник спал крепким сном, а попугай схватил ключ и полетел что есть силы обратно в тюрьму.

У, какой тяжёлый этот ключ! Карудо чуть не выронил его по дороге. Но всё же долетел до тюрьмы — и прямо в окно, к доктору Айболиту. Вот обрадовался доктор, когда увидел, что попугай принёс ему ключ от тюрьмы!

— Ура! Мы спасены! — крикнул он. — Бежим скорее, пока Бармалей не проснулся!

Доктор схватил ключ, открыл дверь и выбежал на улицу. А за ним — все его звери. Свобода! Свобода! Ура!

— Спасибо тебе, храбрый Карудо! — сказал доктор. — Ты спас нас от смерти. Если бы не ты, мы пропали бы. А вместе с нами погибли бы и бедные большие обезьяны.

— Нет! — сказал Карудо. — Это ты научил меня, что нужно сделать, чтобы выбраться из этой тюрьмы!

— Скорее, скорее к больным обезьянам! — сказал доктор и торопливо побежал в чащу леса.

А за ним — все его звери.

II. ПО ОБЕЗЬЯНЬЕМУ МОСТУ

Когда Бармалей узнал, что доктор Айболит убежал из тюрьмы, он страшно рассердился, засверкал глазами, затопал ногами.

— Эй вы, верные мои слуги! — закричал он. — Бегите в погоню за доктором! Поймайте его и приведите сюда!

Слуги побежали в чащу леса и стали искать доктора Айболита. А в это время доктор Айболит со всеми своими зверями пробирался по Африке в Страну Обезьян. Он шёл очень быстро. Свинка Хрю-Хрю, у которой были короткие ноги, не могла поспевать за ним. Доктор взял её на руки и понёс. Свинка была тяжёлая, и доктор ужасно устал!

— Как бы мне хотелось отдохнуть! — сказал он. — О, если бы скорее дойти до Страны Обезьян!

Чичи взобралась на высокое дерево и громко закричала:

— Я вижу Страну Обезьян! Страна Обезьян близко! Скоро, скоро мы будем в Стране Обезьян!

Доктор засмеялся от радости и поспешил вперёд.

Больные обезьяны издали увидели доктора и весело захлопали в ладоши.

— Ура! К нам приехал доктор Айболит! Доктор Айболит вылечит нас, и мы завтра же будем здоровы!

Но тут из чащи леса выбежали слуги Бармалея и помчались в погоню за доктором.

— Держи его! Держи! Держи! — кричали они.

Доктор бежал что есть силы. И вдруг перед ним — река. Дальше бежать невозможно. Река широкая, её нельзя переплыть. Сейчас слуги Бармалея поймают его! Ах, если бы через эту реку был мост, доктор побежал бы по мосту и сразу очутился бы в Стране Обезьян!

— Бедные мы, бедные! — сказала свинка Хрю-Хрю. — Как же мы перейдём на ту сторону? Через минуту эти злодеи поймают нас и опять посадят в тюрьму.

Тут одна из обезьян закричала:

— Мост! Мост! Делайте мост! Поскорее! Не теряйте ни минуты! Делайте мост! Мост!

Доктор посмотрел по сторонам. У обезьян нет ни железа, ни камня. Из чего же они сделают мост?

Но обезьяны построили мост не из железа, не из камня, а из живых обезьян. На берегу реки росло дерево. За это дерево ухватилась одна обезьяна, а другая схватила ту обезьяну за хвост. Так все обезьяны протянулись, как длинная цепь, между двумя высокими берегами реки.

— Вот тебе мост, беги! — закричали они доктору.



Доктор схватил сову Бумбу и побежал по обезьянам, по их головам, по их спинам. За доктором — все его звери.

— Скорее! — кричали обезьяны. — Скорее! Скорее!

Трудно было идти по живому обезьяньему мосту. Звери боялись, что вот-вот поскользнутся и упадут в воду.

Но нет, мост был прочный, обезьяны крепко держались друг за друга — и доктор быстро добежал до другого берега со всеми зверями.

— Скорее, скорее вперёд! — кричал доктор. — Медлить нельзя ни минуты. Ведь нас догоняют враги. Видите: они тоже бегут по обезьяньему мосту... Сейчас они будут здесь! Скорее!.. Скорее!..

Но что такое? Что случилось? Смотрите: на самой середине моста одна обезьяна разжала пальцы, мост



провалился, рассыпался, и слуги Бармалея с большой высоты полетели кувыркком прямо в реку.

— Ура! — закричали обезьяны. — Ура! Доктор Айболит спасён! Теперь ему некого бояться! Ура! Враги не поймали его! Теперь он вылечит наших больных! Они здесь, они близко, они плачут!



12. ГЛУПЫЕ ЗВЕРИ

Доктор Айболит поспешил к больным обезьянам.

Они лежали на земле и стонали. Они были очень больны.

Доктор начал лечить обезьян. Нужно было дать каждой обезьяне лекарство: одной — капли, другой — пилюли. Нужно было каждой обезьяне положить на голову холодный компресс, а на спину и грудь — горчичники. Больных обезьян было много, а доктор один. Одному с такой работой не справиться.

Кика, Крокодил, Карудо и Чичи из всех сил помогали ему, но они скоро устали, и доктору понадобились другие помощники.

Он пошёл в пустыню — туда, где жил лев.

— Будьте так добры, — сказал он льву, — помогите мне, пожалуйста, лечить обезьян.

Лев был важный. Он грозно посмотрел на Айболита:

— Да знаешь ли ты, кто я такой? Я — лев, я — царь зверей! И ты смеешь просить меня, чтобы я лечил каких-то поганных мартышек!

Тогда доктор пошёл к носорогам.

— Носороги, носороги! — сказал он. — Помогите мне лечить обезьян! Их много, а я один. Мне одному с моей работой не справиться.

Носороги только засмеялись в ответ:

— Станем мы тебе помогать! Скажи спасибо, что мы не забодали тебя своими рогами!

Очень рассердился доктор на злых носорогов и побежал в соседний лес — туда, где жили полосатые тигры.

— Тигры, тигры! Помогите мне лечить обезьян!

— Ррр! — отвечали полосатые тигры. — Уходи, покуда цел!

Доктор ушёл от них очень печальный.

Но скоро злые звери были жестоко наказаны.

Когда лев воротился домой, львица сказала ему:

— Наш маленький сын заболел — целый день плачет и стонет. Как жаль, что в Африке нет знаменитого доктора Айболита! Он чудесно лечит. Недавно все любят его. Он вылечил бы нашего сына.

— Доктор Айболит здесь, — сказал лев. — Вон за теми пальмами, в Обезьяньей Стране! Я только что разговаривал с ним.

— Какое счастье! — воскликнула львица. — Беги и позови его к нашему сыну!

— Нет, — сказал лев, — я к нему не пойду. Он не станет лечить нашего сына, потому что я обидел его.

— Ты обидел доктора Айболита! Что же мы теперь будем делать? Да знаешь ли ты, что доктор Айболит — самый лучший, самый замечательный доктор? Он один из всех людей умеет говорить по-звериному. Он лечит тигров, крокодилов, зайцев, обезьян и лягушек. Да-да, он лечит даже лягушек, потому что он очень добрый. И такого человека ты обидел! И обидел как раз тогда, когда у тебя у самого болен сын! Что же ты теперь будешь делать?

Лев оторопел. Он не знал, что сказать.



— Ступай к этому доктору,— кричала львица,— и скажи ему, что ты просишь прощения! Помогай ему чем только можешь. Делай всё, что он скажет, и умоляй его, чтобы он вылечил нашего бедного сына!

Нечего делать, пошёл лев к доктору Айболиту.

— Здравствуйте,— сказал он.— Я пришёл помогать вам... Я согласен давать обезьянам лекарства и прикладывать им всякие компрессы.

И лев стал помогать Айболиту. Три дня и три ночи ухаживал он за больными обезьянами, а потом подошёл к доктору Айболиту и робко сказал:

— У меня заболел сынок, которого я очень люблю... Пожалуйста, будьте добры, вылечите бедного львёнка!

— Хорошо! — сказал доктор. — Охотно! Я сегодня же вылечу вашего сына.

И он пошёл в пещеру, где жил лев, и дал его сыну такое лекарство, что тот через час был здоров. Лев обрадовался, и ему стало стыдно, что он обидел доброго доктора.

А потом заболели дети у носорогов и тигров. Айболит тотчас же вылечил их. Тогда носороги и тигры сказали:

— Нам очень совестно, что мы обидели вас!

— Ничего, ничего, — сказал доктор. — В следующий раз будьте умнее. А сейчас идите сюда и помогите мне лечить обезьян.

13. ПОДАРОК

Звери так хорошо помогали доктору, что больные обезьяны скоро выздоровели.

— Спасибо доктору, — сказали они. — Он вылечил нас от ужасной болезни, и мы за это должны подарить ему что-нибудь очень хорошее. Подарим ему такого зверя, какого люди никогда не видели. Какого нет ни в цирке, ни в зоологическом парке.

— Подарим ему верблюда! — закричала одна обезьяна.

— Нет, — сказала Чичи, — верблюда ему не надо. Верблюдов он видел. Все люди видели верблюдов. И в зоологических парках и на улицах.

— Ну, так страуса! — закричала другая обезьяна. — Мы подарим ему страуса, страуса!



— Нет,— сказала Чичи,— страусов он тоже видал.

— А видел ли он тянитолкаев?— спросила третья обезьяна.

— Нет, тянитолкаев он никогда не видел,— отвечала Чичи.— Ещё не было ни одного человека, который видел бы тянитолкаев.

— Хорошо,— сказали обезьяны.— Теперь мы знаем, что подарить доктору: мы подарим ему тянитолкаю.

14. ТЯНИТОЛКАЯ

Люди никогда не видели тянитолкаю, потому что тянитолкаю боятся люди: заметят человека — и в кусты!

Других зверей вы можете поймать, когда они заснут и закроют глаза. Вы подойдёте к ним сзади и схватите их за хвост. Но к тянитолкаю вы не можете

подойти сзади, потому что сзади у тянитолкай такая же голова, как и спереди.

Да, у него две головы: одна спереди, другая сзади. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Одна голова спит, другая глядит по сторонам, чтобы не подкрался охотник. Вот почему ни одному охотнику не удавалось поймать тянитолкай, вот почему ни в одном цирке, ни в одном зоологическом парке этого зверя нет.

Обезьяны решили поймать одного тянитолкай для доктора Айболита.

Они побежали в самую чащу леса и там нашли место, где приютился тянитолкай.

Он увидел их и бросился бежать, но они окружили его, схватили за рога и сказали:

— Милый Тянитолкай! Не желаешь ли ты поехать вместе с доктором Айболитом далеко-далеко и жить в его доме со всеми зверями? Там тебе будет хорошо: и сытно и весело.

Тянитолкай покачал обеими головами и ответил обоими ртами:

— Нет!

— Доктор добрый,— сказали обезьяны.— Он будет кормить тебя медовыми пряниками, и, если ты заболеешь, он вылечит тебя от всякой болезни.

— Всё равно! — сказал Тянитолкай.— Я желаю остаться здесь.

Три дня уговаривали его обезьяны, и наконец Тянитолкай сказал:



— Покажите мне этого хвалёного доктора. Я хочу посмотреть на него.

Обезьяны повели Тянитолкаю к тому домику, где жил Айболит. Подойдя к двери, они постучались.

— Войдите, — сказала Кика.

Чичи с гордостью ввела в комнату двухголового зверя.

— Что это такое? — спросил удивлённый доктор.

Никогда он не видел такого чуда.

— Это Тянитолкай, — ответила Чичи. — Он хочет

познакомиться с тобой. Тянитолкай — самый редкостный зверь наших африканских лесов. Возьми его с собой на корабль, и пусть он живёт в твоём доме.

— А захочет ли он поехать ко мне?

— К тебе я охотно поеду,— неожиданно сказал Тянитолкай.— Я сразу увидел, что ты добрый: у тебя такие добрые глаза. Звери так любят тебя, и я знаю, что ты любишь зверей. Но обещай мне, что, если мне у тебя будет скучно, ты отпустишь меня домой.

— Конечно, отпущу,— сказал доктор.— Но тебе будет так хорошо у меня, что вряд ли ты захочешь уехать.

— Верно, верно! Это правда! — закричала Чичи. — Он такой весёлый, такой смелый, наш доктор! В его доме нам живётся так привольно! А по соседству, в двух шагах от него, живут Таня и Ваня — они, вот увидишь, крепко полюбят тебя и станут самыми близкими твоими друзьями.

— Если так, я согласен, я еду! — весело сказал Тянитолкай и долго кивал Айболиту то одной, то другой головой.

15. ОБЕЗЬЯНЫ ПРОЩАЮТСЯ С ДОКТОРОМ

Тут к Айболиту пришли обезьяны и позвали его обедать. Чудесный обед они устроили ему на прощание: яблоки, мёд, бананы, финики, абрикосы, апельсины, ананасы, орехи, изюм!

— Да здравствует доктор Айболит! — кричали они.— Он самый добрый человек на земле!



Потом обезьяны побежали в лес и прикатили отсюда огромный, тяжелый камень.

— Этот камень, — сказали они, — будет стоять на том месте, где доктор Айболит лечил больных. Это будет памятник доброму доктору.

Доктор снял шляпу, поклонился обезьянам и сказал:

— До свиданья, дорогие друзья! Спасибо вам за вашу любовь. Скоро я приеду к вам опять. А до той поры я оставляю у вас Крокодила, попугая Карудо и обезьяну Чичи. Они родились в Африке — пусть в Африке и остаются. Здесь живут их братья и сёстры. До свиданья!

— Нет, нет! — закричали в один голос и Крокодил, и Карудо, и обезьяна Чичи. — Мы любим своих братьев и сестёр, но мы не хотим расставаться с тобою!

— Мне и самому будет скучно без вас,— сказал доктор.— Но ведь не навеки вы останетесь тут! Через три-четыре месяца я приеду сюда и увезу вас обратно. И мы будем опять жить и работать все вместе.

— Если так, мы останемся,— ответили звери.— Но смотри, приезжай поскорее!

Доктор дружески попрощался со всеми и бодрой походкой зашагал по дороге. Обезьяны пошли провожать его. Каждая обезьяна хотела во что бы то ни стало пожать доктору Айболиту руку. И так как обезьян было много, то они пожимали ему руку до самого вечера. У доктора даже рука заболела.

А вечером случилось несчастье.

Едва только доктор перешёл через реку, он опять очутился в стране злого разбойника Бармалея.

— Тсс! — прошептала Бумба.— Говорите, пожалуйста, тише! А то как бы нас опять не взяли в плен.



16. НОВЫЕ БЕДЫ И РАДОСТИ

Не успела она выговорить эти слова, как из тёмного леса выбежали слуги Бармалея и набросились на доброго доктора. Они давно поджидали его.

— Ага! — закричали они. — Наконец мы поймали тебя! Теперь ты от нас не уйдёшь!

Что делать? Куда спрятаться от беспощадных врагов?

Но доктор не растерялся. В одно мгновение он вскочил на Тянитолкая, и тот поскакал галопом, как самая быстрая лошадь. Слуги Бармалея — за ним. Но так как у Тянитолкая было две головы, он кусал каждого, кто пробовал напасть на него сзади. А иного ударит рогами и закинет в колючий кустарник.

Конечно, одному Тянитолкаю никогда не одолеть бы всех злодеев. Но к доктору поспешили на помощь



его верные друзья и товарищи. Откуда ни возьмись, прибежал Крокодил и стал хватать разбойников за голые пятки. Собака Авва налетала на них со страшным рычанием, и валила их с ног, и впивалась им в горло зубами. А вверху, по ветвям деревьев, неслась обезьяна Чичи и швыряла в разбойников большими орехами.

Разбойники падали, стонали от боли, и в конце концов им пришлось отступить.

Они с позором убежали в чащу леса.

— Ура! — закричал Айболит.

— Ура! — закричали звери.

А свинка Хрю-Хрю сказала:

— Ну, теперь мы можем отдохнуть. Приляжем-ка здесь, на траве. Мы устали. Нам хочется спать.

— Нет, друзья мои! — сказал доктор. — Мы должны торопиться. Если мы замешкаемся, нам не спастись.

И они что есть духу побежали вперёд. Вскоре Тянитолкай вынес доктора на берег моря. Там, в бухте, у высокой скалы, стоял большой и красивый корабль. Это был корабль Бармалея.

— Мы спасены! — шепнул доктор.

На корабле не было ни одного человека. Доктор со всеми своими зверями быстро и бесшумно взобрался на корабль, поднял паруса и хотел пуститься в открытое море. Но едва он отчалил от берега, как вдруг из лесу выбежал сам Бармалей.

— Стой! — крикнул он. — Стой! погоди! Куда ты увёл мой корабль? Воротись сию же минуту!

— Нет! — крикнул разбойнику доктор. — Не желаю возвращаться к тебе. Ты такой жестокий и злой. Ты мучил моих зверей. Ты бросил меня в тюрьму. Ты хотел меня убить. Ты мой враг! Я ненавижу тебя! И я беру у тебя твой корабль, чтобы ты больше не разбойничал на море! Чтобы ты не грабил беззащитные морские суда, проходящие мимо твоих берегов.

Страшно рассердился Бармалей: он бегал по берегу, бранился, грозил кулаками и швырял вдогонку огромные камни.

Но доктор Айболит только смеялся над ним. Он поплыл на корабле Бармалея прямо в свою страну и через несколько дней уже причалил к родным берегам.

17. ТЯНИТОЛКАЙ И ВАРВАРА

Очень обрадовались Авва, Бумба, Кика и Хрю-Хрю, что воротились домой.

На берегу они увидели Таню и Ваню, которые прыгали и плясали от радости. Рядом с ними стоял моряк Робинзон.

— Здравствуй, моряк Робинзон! — крикнул доктор Айболит с корабля.

— Здравствуй, здравствуй, доктор! — ответил моряк Робинзон. — Хорошо ли ты съездил? Удалось ли тебе вылечить больных обезьян? И скажи, пожалуйста, куда ты девал мой корабль?

— Ах, — ответил доктор, — твой корабль погиб! Он разбился о камни у самого берега Африки. Но я

привёз тебе новый корабль, который ещё лучше твоего.

— Вот спасибо! — сказал Робинзон. — Я вижу, это отличный корабль. Мой был тоже хороший, а этот — просто загляденье: такой большой и красивый!

Доктор попрощался с Робинзоном, сел верхом на Тянитолкая и поехал по улицам города прямо к себе домой. На каждой улице к нему выбегали кролики, гуси, кошки, индюки, собаки, поросята, коровы, лошади, и все они громко кричали:

— Малакуча! Малакуча!

По-звериному это значит:

«Да здравствует доктор Айболит!»

Со всего города слетались птицы; они летели над головой доктора и пели ему весёлые песни.

Доктор был очень рад, что вернулся домой.

В кабинете у доктора по-прежнему жили ёжики, зайцы и белки. Сначала они испугались Тянитолкая, но потом привыкли к нему и полюбили его.

А Таня и Ваня, как увидели Тянитолкая, засмеялись, завизжали, захлопали в ладоши от радости. Ваня обнял одну его шею, а Таня — другую. Целый час они гладили и ласкали его. А потом взялись за руки и заплясали на радостях «ткеллу» — тот весёлый звериный танец, которому их научила Чичи.

— Видите, — сказал доктор Айболит, — я исполнил своё обещание: я привёз вам из Африки чудесный подарок, какого детям ещё никогда не дарили. Я очень рад, что он понравился вам.

На первых порах Тянитолкай дичился людей, прятался на чердаке или в погребе. А потом привык и вышел в сад, и ему даже понравилось, что люди сбегаются поглядеть на него и называют его «Чудом природы».

Не прошло и месяца, как он уже смело гулял по всем улицам города вместе с Таней и Ваней, которые были с ним неразлучны. К нему то и дело подбегали ребята и просили его, чтобы он покатал их. Он никому не отказывал: сейчас же опускался на колени, мальчики и девочки взбирались к нему на спину, и он возил их по всему городу, до самого моря, весело качая своими двумя головами.

А Таня и Ваня вплели в его длинную гриву красивые разноцветные ленты и повесили ему на каждую шею по серебряному колокольчику.

Колокольчики были звонкие, и, когда Тянитолкай шёл по городу, издали было слышно: динь-динь, динь-дилень!

И, слыша этот звон, все жители выбегали на улицу, чтобы ещё раз поглядеть на чудесного зверя.

Злая Варвара тоже захотела покататься на Тянитолкае. Она вскарабкалась к нему на спину и давай бить его зонтиком:

— Беги скорее, двухголовый осёл!

Тянитолкай рассердился, взбежал на высокую гору и сбросил Варвару в море.

— Помогите! Спасите! — закричала Варвара.

Но никто не пожелал её спасти. Варвара стала топать.

— Авва, Авва, милая Авва! Помоги мне добраться до берега! — кричала она.

Но Авва ответила: «Рры!..»

На зверином языке это значит:

«Не хочу я тебя спасать, потому что ты злая и гадкая!»

Мимо плыл на своём корабле старый моряк Робинзон. Он кинул Варваре верёвку и вытащил её из воды. Как раз в это время по берегу проходил со своими зверями доктор Айболит. Он закричал моряку Робинзону:

— Вези её куда-нибудь подальше! Не хочу я, чтобы она жила в моём доме и била моих зверей!

И моряк Робинзон увёз её далеко-далеко, на необитаемый остров, где она не могла никого обижать.

А доктор Айболит счастливо зажил в своём маленьком домике и с утра до ночи лечил птиц и зверей, которые прилетали и приходили к нему со всех концов света.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лента и морские пираты





1. ПЕЩЕРА

Доктор Айболит любил гулять.

Каждый вечер после работы он брал зонтик и уходил со своими зверями куда-нибудь в лес или в поле.

Рядом с ним шагала Тянитолкай, впереди бежала утка Кика, сзади — собака Авва и свинка Хрю-Хрю, а на плече у доктора сидела старая сова Бумба.

Уходили они очень далеко, и, когда доктор Айболит уставал, он садился верхом на Тянитолкай, и тот весело мчал его по горам и лугам.

Однажды во время прогулки они увидели на берегу моря пещеру. Они захотели войти, но пещера была заперта. На дверях висел большой замок.

— Как вы думаете, — сказала Авва, — что спрятано в этой пещере?

— Должно быть, там медовые пряники, — сказал Тянитолкай, который больше всего на свете любил сладкие медовые пряники.

— Нет, — сказала Кика. — Там леденцы и орехи.

— Нет, — сказала Хрю-Хрю. — Там яблоки, жёлуди, свёкла, морковь...

— Нужно найти ключ, — сказал доктор. — Пойдите найдите ключ.

Звери разбежались и стали искать ключ от пещеры. Они шарили под каждым камнем, под каждым кустом, но ключа не нашли нигде.

Тогда они снова столпились у запертой двери и стали заглядывать в щель. Но в пещере было темно, и они ничего не увидели. Вдруг сова Бумба сказала:

— Тише, тише! Мне кажется, что в пещере что-то живое. Там или человек, или зверь.

Все стали прислушиваться, но ничего не услышали. Доктор Айболит сказал сове:

— Мне кажется, ты ошиблась. Я ничего не слышу.

— Ещё бы! — сказала сова. — Ты и не можешь слышать. У вас у всех уши хуже моих. Тсс, тсс! Слышите? Слышите?

— Нет, — сказали звери. — Мы не слышим ничего.

— А я слышу, — сказала сова.

— Что же ты слышишь? — спросил доктор Айболит.

— Я слышу: какой-то человек сунул руку себе в карман.

— Вот так чудеса! — сказал доктор. — Я и не знал, что у тебя такой замечательный слух. Прислушайся опять и скажи, что ты слышишь.

— Я слышу, как у этого человека катится по щеке слеза.

— Слеза! — закричал доктор. — Слеза! Неужели там, за дверью, кто-то плачет! Нужно помочь этому человеку. Должно быть, у него большое горе. Я не люблю, когда плачут. Дайте мне топор. Я разобью эту дверь.

2. ПЕНТА

Тянитолкай сбегал домой и принёс доктору острый топор. Доктор размахнулся и изо всей силы ударил по запертой двери. Раз! Раз! Дверь разлетелась в щепки, и доктор вошёл в пещеру.

Пещера тёмная, холодная, сырая. И какой в ней неприятный, скверный запах!

Доктор зажѣг спичку. Ах, как тут неуютно и грязно! Ни стола, ни скамейки, ни стула! На полу куча гнилой соломы, а на соломе сидит маленький мальчик и плачет.

Увидев доктора и всех его зверей, мальчик испугался и заплакал ещё сильнее. Но, когда он заметил, какое доброе у доктора лицо, он перестал плакать и сказал:

— Значит, вы не пират?

— Нет, нет, я не пират! — сказал доктор и засмеялся. — Я доктор Айболит, а не пират. Разве я похож на пирата?

— Нет! — сказал мальчик. — Хоть вы и с топо-



ром, но я вас не боюсь. Здравствуйте! Меня зовут Пента. Не знаете ли, где мой отец?

— Не знаю,— ответил доктор.— Куда же твой отец мог деваться? Кто он такой? Расскажи!

— Мой отец рыбак,— сказал Пента.— Вчера мы вышли в море ловить рыбу. Я и он, вдвоём в рыбацкой лодке. Вдруг на нашу лодку напали морские разбойники и взяли нас в плен. Они хотели, чтобы отец стал пиратом, чтобы он вместе с ними разбойничал, чтобы он грабил и топил корабли. Но отец не захотел стать пиратом. «Я честный рыбак,— сказал он,— и не желаю разбойничать!» Тогда пираты страшно рассердились, схватили его и увели неизвестно куда, а меня заперли в этой пещере. С тех пор я не видел отца. Где он? Что они сделали с ним? Должно быть, они бросили его в море и он утонул!

Мальчик опять заплакал.

— Не плачь! — сказал доктор.— Что толку в слезах? Лучше подумаем, как бы нам спасти твоего отца от разбойников. Скажи мне, каков он собой?

— У него рыжие волосы и рыжая борода, очень длинная.

Доктор Айболит подозвал к себе утку Кику и тихо сказал ей на ухо:

— Чари-бари чава-чам!

— Чука-чук! — ответила Кика.

Услышав этот разговор, мальчик сказал:

— Как вы смешно говорите! Я не понимаю ни слова.

— Я разговариваю со своими зверьми по-звери-



ному. Я знаю звериный язык,— сказал доктор Айболит.

— Что же вы сказали вашей утке?

— Я сказал ей, чтобы она позвала дельфинов.

3. ДЕЛЬФИНЫ

Утка побежала на берег и крикнула громким голосом:

— Дельфины, дельфины, плывите сюда! Вас зовёт доктор Айболит.

Дельфины тотчас подплыли к берегу.

— Здравствуй, доктор! — закричали они. — Что тебе нужно?

— Случилась беда,— сказал доктор. — Вчера утром пираты напали на одного рыбака, избили его и, кажется, кинули в воду. Я боюсь, что он утонул. Пожалуйста, общите всё море. Не найдёте ли вы его в морской глубине?

— А каков он собой? — спросили дельфины.

— Рыжий,— ответил доктор.— У него рыжие волосы и большая, длинная рыжая борода. Пожалуйста, найдите его!

— Хорошо,— сказали дельфины.— Мы рады служить нашему любимому доктору. Мы обыщем всё море, мы расспросим всех раков и рыб. Если рыжий рыбак утонул, мы найдём его и завтра же скажем тебе.

Дельфины уплыли в море и стали искать рыбака. Они обшарили всё море вдоль и поперёк, они опустились на самое дно, они заглянули под каждый камень, они расспросили всех раков и рыб, но нигде не нашли утонувшего.

Утром они выплыли на берег и сказали доктору Айболиту:

— Мы нигде не нашли твоего рыбака. Мы искали его всю ночь, но в морской глубине его нет.

Очень обрадовался мальчик, когда услышал, что сказали дельфины.

— Значит, отец мой жив! Жив! Жив! — кричал он и хлопал в ладоши.

— Конечно, жив! — сказал доктор.— Мы непременно отыщем его!

Он посадил мальчика верхом на Тянитолкаю и долго катал его по песчаному берегу моря.

4. ОРЛЫ

Но Пента всё время оставался печален. Даже катанье на Тянитолкае не развеселило его. Наконец он спросил у доктора:



— Как же ты отыщешь моего отца?

— Я позову орлов,— сказал доктор.— У орлов такие зоркие глаза, они видят далеко-далеко. Когда они летают под тучами, они видят каждую букашку, что ползёт по земле. Я попрошу их осмотреть всю землю, все леса, все поля и горы, все города, все деревни — пусть повсюду ищут твоего отца.

— Ах, какой ты умный! — сказал Пента. — Это ты чудесно придумал. Зови же скорее орлов!

Доктор позвал орлов, и орлы прилетели к нему:

— Здравствуй, доктор! Чего тебе надобно?

— Летите во все концы,— сказал доктор,— и найдите рыжего рыбака с длинной рыжей бородой.

— Хорошо,— сказали орлы.— Для нашего любимого доброго доктора мы сделаем всё, что возможно. Мы полетим высоко-высоко и осмотрим всю землю, все леса и поля, все горы, города и деревни и постараемся найти твоего рыбака.

И они полетели высоко-высоко над лесами, над полями, над горами. И каждый орёл зорко всматривался, нет ли где рыжего рыбака с большой рыжей бородой.

На другой день орлы прилетели к доктору и сказали:

— Мы осмотрели всю землю, но нигде не нашли рыбака. А уж если мы не видели его, значит, его нет на земле!

5. СОБАКА АВВА ИЩЕТ РЫБАКА

— Что же нам делать?— спросила Кика.— Рыбака нужно найти во что бы то ни стало: Пента очень грустит без отца.

— Но как его найдёшь! — сказал Тянитолкай.— Орлы и те не нашли его. Значит, никто не найдёт.

— Неправда! — сказала Авва.— Орлы, конечно, умные птицы и глаза у них зоркие, но искать человека умеет только собака. Если вам нужно найти человека, попросите собаку, и она непременно отыщет его.

— Зачем ты обижаешь орлов?— сказала Авве Хрю-Хрю.— Ты думаешь, им было легко в один день облететь всю землю, осмотреть все горы, леса и поля?

Ты вот бездельничала, валялась на песочке, а они трудились, искали.

— Как ты смеешь называть меня бездельницей?— рассердилась Авва.— Да знаешь ли ты, что, если я захочу, я в три дня отыщу рыбака?

— Ну, захоти! — сказала Хрю-Хрю.— Почему же ты не хочешь? Захоти!.. Ничего ты не найдёшь, только хвастаешь!

И Хрю-Хрю засмеялась.

— Так, по-твоему, я хвастунишка?— сердито крикнула Авва.— Ну ладно, увидим!

И она побежала к доктору.

— Доктор! — сказала она.— Попроси-ка Пенту, пусть даст тебе какую-нибудь вещь, которую держал в руках его отец.

Доктор пошёл к мальчику и сказал:

— Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?

— Вот,— сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок.

Собака подбежала к платку и стала жадно нюхать его.

— Пахнет табаком и селёдкой,— сказала она.— Его отец курил трубку и ел хорошую голландскую селёдку. Больше мне ничего не надо... Доктор, скажи мальчику, что не пройдёт и трёх дней, как я найду ему отца. Я побегу наверх, на ту высокую гору, и понюхаю, какой теперь ветер.

— Но сейчас темно,— сказал доктор.— Не можешь же ты искать в темноте!

— Ничего,— сказала собака.— Я знаю его запах, и мне больше ничего не надо. Нюхать я могу и в темноте.

Собака взбежала на высокую гору.

— Сегодня ветер с севера,— сказала она.— Понюхаем, чем он пахнет. Снег... мокрая шуба... ещё одна мокрая шуба... волки... маленькие волчата... дым от костра... берёза...

— Неужели ты в самом деле слышишь столько запахов в одном ветерке?— спросил доктор.

— Ну конечно,— сказала Авва.— У каждой собаки удивительный нос. Любой щенок чует такие запахи, каких вам никогда не учуять.

И собака стала нюхать воздух опять. Долго она не говорила ни слова и, наконец, сказала:

— Кирпичи... молодая корова... железная крыша... маленькие грибочки в лесу... дорога... пыль, пыль и... и... и...

— Пряники?— спросил Тянитолкай.

— Нет, не пряники,— ответила Авва.

— Орехи?— спросила Кика.

— Нет, не орехи,— ответила Авва.

— Яблоки?— спросила Хрю-Хрю.

— Нет, не яблоки,— ответила Авва.— Не орехи, не пряники и не яблоки, а еловые шишки. Значит, на севере рыбака нет. Подождём, когда подует ветер с юга.

— Я тебе не верю,— сказала Хрю-Хрю.— Всё ты выдумываешь. Никаких ты запахов не слышишь, а просто болтаешь вздор.

— Отстань,— крикнула Авва,— а не то я откушу тебе хвост!

— Тише, тише! — сказал доктор Айболит. — Перестаньте ссориться!.. Я вижу теперь, моя милая Авва, что у тебя и в самом деле удивительный нос. Подождём, пока переменится ветер. А теперь пора домой. Торопитесь! Пента дрожит. Ему холодно. Он очень хочет есть. Надо его покормить. Ну, Тянитолкай, подставляй свою спину. Пента, садись верхом и крепче держись за рога. Авва и Кика, за мной!

6. АВВА ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ РЫБАКА

На следующий день рано утром Авва снова взбежала на высокую гору и начала нюхать ветер. Ветер был с юга. Авва нюхала долго и, наконец, заявила:

— Пахнет попугаями, пальмами, обезьянами, розами, виноградом и ящерицами. Но рыбаком не пахнет.

— Понюхай-ка ещё! — сказала Бумба.

— Пахнет жирафами, черепахами, страусами, горячими песками, пирамидами... Но рыбаком не пахнет.

— Ты никогда не найдёшь рыбака! — со смехом сказала Хрю-Хрю. — Нечего было и хвастать.

Авва не ответила. Но на следующий день рано утром она снова взбежала на высокую гору и до самого вечера нюхала воздух. Поздно вечером она примчалась к доктору, который спал вместе с Пентой.



— Вставай, вставай!—закричала она.—Вставай! Я нашла рыбака! Да проснись же! Довольно спать. Ты слышишь — я нашла рыбака. Я нашла, я нашла рыбака! Я чую его запах. Да, да! Ветер пахнет табаком и селёдкой!

Доктор проснулся и побежал за собакой.

— Из-за моря дует западный ветер,— кричала собака,— и я чую запах рыбака! Он за морем, на том берегу. Скорее, скорее туда!

Авва так громко лаяла, что все бросились на вершину горы. Впереди — Пента.

— Скорее беги к моряку Робинзону,— закричала доктору Авва,— и проси, чтобы он дал тебе корабль! Скорее, а то будет поздно!

Доктор тотчас же пустился бежать к тому месту, где стоял корабль моряка Робинзона.

— Здравствуй, моряк Робинзон! — крикнул доктор.— Будь так добр, одолжи твой корабль! Мне опять нужно отправиться в море по одному очень важному делу.

— Пожалуйста,— сказал моряк Робинзон.— Но смотри не попадайся пиратам! Пираты ужасные злодеи, разбойники! Они возьмут тебя в плен, а мой корабль сожгут или потопят.

Но доктор не слушал моряка Робинзона. Он вскочил на корабль, взял Пенту и всех зверей и помчался в открытое море.

Авва взбежала на палубу и крикнула доктору:

— Заксара! Заксара! Ксу!

На собачьем языке это значит:

«Смотри на мой нос! На мой нос! Куда поверну я мой нос, туда и веди свой корабль».

Доктор распустил паруса, и корабль побежал ещё быстрее.

— Скорее, скорее! — кричала собака.

Звери стояли на палубе и смотрели вперёд, не увидят ли они рыбака.

Но Пента не верил, что отец его может найтись. Он сидел, опустив голову, и плакал.

Наступил вечер. Стало темно. Утка Кика сказала собаке:

— Нет, Авва, тебе не найти рыбака! Жаль бедного Пенту, но нечего делать — надо воротиться домой.

И потом обратилась к доктору:

— Доктор, доктор! Поверни свой корабль! Едем обратно. Мы и здесь не найдём рыбака.

Вдруг сова Бумба, которая сидела на мачте и смотрела вперёд, закричала:

— Я вижу перед собой большую скалу — вон там, далеко-далеко!

— Скорее туда! — закричала собака. — Рыбак там, на скале. Я чую его запах... Он там!

Вскоре все увидели, что из моря торчит скала. Доктор направил корабль прямо к этой скале.

Но рыбака нигде не было видно.

— Я так и знала, что Авва не найдёт рыбака! — со смехом сказала Хрю-Хрю. — Не понимаю, как доктор мог поверить такой хвастунишке.

Доктор взбежал на скалу и стал звать рыбака.

Но никто не откликнулся.

— Гин-гин! — кричали Бумба и Кика.

«Гин-гин» по-звериному значит «ау».

Но только ветер шумел над водой да волны с грохотом разбивались о камни.

7. НАШЛА!

Рыбака на скале не было. Авва прыгнула с корабля на скалу и стала бегать по ней взад и вперёд, обнюхивая каждую трещинку. И вдруг она громко залаяла.

— Кинеделе! Ноп! — закричала она. — Кинеделе! Ноп!

На собачьем языке это значит:

«Сюда, сюда! Доктор, за мной, за мной!»

Доктор побежал за собакой.

Рядом со скалой был небольшой островок. Авва помчалась туда. Доктор не отставал от неё ни на шаг. Авва бегала взад и вперёд и вдруг юркнула в какую-то яму. В яме была темнота. Доктор опустился в яму и засветил свой фонарь. И что же? В яме, на голой земле, лежал какой-то рыжий человек, страшно худой и бледный.

Это был отец Пенты.

Доктор дёрнул его за рукав и сказал:

— Вставайте, пожалуйста. Мы вас так долго искали!

Человек подумал, что это пират, сжал кулаки и сказал:

— Ступай прочь от меня, разбойник! Я буду защищаться до последней капли крови.

Но тут он увидел, какое доброе у доктора лицо, и сказал:

— Я вижу, что вы не пират. Дайте мне есть. Я умираю от голода.



Доктор дал ему хлеба и сыру. Человек поел и встал на ноги.

— Как вы сюда попали? — спросил доктор.

— Меня бросили сюда злые пираты, кровожадные, жестокие люди! Они не дали мне ни еды, ни питья. Они взяли у меня моего сына и увезли неизвестно куда. Не знаете ли вы, где мой сын?

— А как зовут вашего сына? — спросил доктор.

— Его зовут Пента, — ответил рыбак.

— Идём за мной, — сказал доктор и помог рыбаку выбраться из ямы.

Собака Авва побежала впереди.

Пента увидел с корабля, что к нему идёт его отец, и бросился навстречу рыбаку:



— Нашёлся! Нашёлся! Ура!

Все засмеялись, обрадовались, захлопали в ладоши и запели:

Честь тебе и слава,
Удалая Авва!

Одна только Хрю-Хрю стояла в стороне и печально вздыхала.

— Прости меня, Авва,— сказала она,— за то, что я смеялась над тобой и называла тебя хвастунишкой.

— Ладно,— ответила Авва,— я прощаю тебя. Но, если ты ещё раз обидишь меня, я откушу тебе хвост.

Доктор отвёз рыжего рыбака и его сына домой, в ту деревню, где они жили.

Когда корабль приставал к берегу, доктор увидел, что на берегу стоит женщина. Это была мать Пенты, рыбака. Двадцать дней и ночей сидела она на берегу и всё смотрела вдаль, в море: не едет ли домой её сын? Не едет ли домой её муж?

Увидев Пенту, она бросилась к нему и стала его целовать.

Она целовала Пенту, она целовала рыжего рыбака, она целовала доктора; она была так благодарна Авве, что захотела поцеловать и её.

Но Авва убежала в кусты и проворчала сердито: — Какие глупости! Терпеть не могу целоваться! Уж если ей так хочется, пусть поцелует Хрю-Хрю.

Но Авва только притворялась сердитой. На самом деле она тоже была рада.

Вечером доктор сказал:

— Ну, до свиданья! Нам пора домой.

— Нет, нет,— закричала рыбака,— вы должны остаться у нас погостить! Мы наловим рыбы, напечём пирогов и дадим Тянитолкаю сладких пряников.

— Я с радостью остался бы ещё на денёк,— сказал Тянитолкай, улыбаясь обоими ртами.

— И я! — закричала Кика.

— И я! — подхватила Бумба.

— Вот и хорошо! — сказал доктор.— В таком случае, и я вместе с ними останусь у вас погостить.

И он отправился со всеми своими зверями в гости к рыбаку и рыбаке.

8. АВВА ПОЛУЧАЕТ ПОДАРОК

Доктор въехал в деревню верхом на Тянитолкае. Когда он проезжал по главной улице, все кланялись ему и кричали:

— Да здравствует добрый доктор!

На площади его встретили деревенские школьники и подарили ему букет из чудесных цветов.

А потом вышел карлик, поклонился ему и сказал:

— Я желал бы видеть вашу Авву.

Карлика звали Бамбуко. Он был самый старый пастух в той деревне. Все любили и уважали его.

Авва подбежала к нему и замахала хвостом.

Бамбуко достал из кармана очень красивый собачий ошейник.

— Собака Авва! — сказал он торжественно. — Жители нашей деревни дарят тебе этот прекрасный ошейник за то, что ты нашла рыбака, которого похитили пираты.

Авва завиляла хвостом и сказала:

— Чака!

Вы, конечно, помните, что на зверином языке это значит: «Спасибо!»

Все стали рассматривать ошейник. Крупными буквами на ошейнике было написано:

*Честь тебе и слава,
Удалая Авва!*

Три дня прогостил Айболит у отца и матери Пен-ты. Время прошло очень весело. Тянитолкай с утра



до ночи жевал сладкие медовые пряники. Пента играл на скрипке, а Хрю-Хрю и Бумба танцевали. Но пора было уезжать.

— До свиданья! — сказал доктор рыбаку и рыбачке, сел верхом на Тянитолкая и поехал к своему кораблю.

Вся деревня провожала его.

— Лучше бы ты остался у нас! — сказал ему карлик Бамбуко. — Теперь по морю рыщут пираты. Они нападут на тебя и возьмут тебя в плен вместе со всеми твоими зверями.

— Не боюсь я пиратов! — сказал Айболит. — У меня очень быстрый корабль. Я распушу паруса, и пираты не догонят меня.

С этими словами доктор отчалил от берега.

Все махали ему платками и кричали «ура».

9. ПИРАТЫ

Корабль быстро бежал по волнам. На третий день путешественники увидели вдали какой-то пустынный остров.

На острове не было видно ни деревьев, ни зверей, ни людей — только песок да огромные камни. Но там, за камнями, прятались страшные пираты. Когда какой-нибудь корабль проплывал мимо их острова, они нападали на этот корабль, грабили и убивали людей, а корабль пускали ко дну. Пираты очень сердились на доктора за то, что он похитил у них рыжего рыбака и Пенту, и давно уже подстерегали его.

У пиратов был большой корабль, который они прятали за широкой скалой.

Доктор не видел ни пиратов, ни их корабля. Он гулял по палубе вместе со своими зверями. Погода была прекрасная, солнце ярко светило. Доктор чувствовал себя очень счастливым. Вдруг свинка Хрю-Хрю сказала:

— Посмотрите-ка, что это там за корабль?

Доктор посмотрел и увидел, что из-за острова на чёрных парусах к ним приближается какой-то чёрный корабль, — чёрный, как чернила, как сажа.

— Не нравятся мне эти паруса! — сказала свинка. — Почему они не белые, а чёрные? Только на корабле у пиратов бывают чёрные паруса.

Хрю-Хрю угадала: под чёрными парусами мчались злодеи-пираты. Они хотели догнать доктора Ай-



болита и жестоко отомстить ему за то, что он похитил у них рыбака и Пенту.

— Скорее! Скорее! — закричал доктор. — Распустите все паруса!

Но пираты подплывали всё ближе и ближе.

— Они догоняют нас! — кричала Кика. — Они близко. Я вижу их страшные лица! Какие у них злые глаза!.. Что нам делать? Что нам делать? Куда бежать? Сейчас они накинутся на нас, свяжут и бросят в море!

— Смотри, — сказала Авва, — кто это там стоит на корме? Неужели не узнаёшь? Это он, это злодей Бармалей! В одной руке у него сабля, в другой — пистолет. Он хочет погубить нас, застрелить, уничтожить!

Но доктор улыбнулся и сказал:



— Не бойтесь, мои милые, это ему не удастся! Я придумал хороший план. Видите ласточку, что летит над волнами? Она поможет нам спастись от разбойников.

И он закричал громким голосом:

— На-за-сэ! На-за-сэ! Карачуй! Карабун!

На зверином языке это значит:

«Ласточка, ласточка! За нами гонятся пираты. Они хотят нас убить и выбросить в море!»

Ласточка спустилась к нему на корабль.

— Слушай, ласточка, ты должна нам помочь! — сказал доктор. — Карафу, мараву, дук!

На зверином языке это значит:

«Лети скорее и позови журавлей!»

Ласточка улетела и через минуту вернулась вместе с журавлями.

— Здравствуй, доктор Айболит! — закричали журавли.— Не горюй, мы сейчас тебя выручим!

Доктор привязал верёвку к носу корабля, журавли взяли за верёвку и потянули корабль вперёд.

Журавлей было много, они мчались вперёд очень быстро и тянули за собою корабль. Корабль летел, как стрела. Доктор даже за шляпу схватился, чтобы шляпа не слетела в воду.

Оглянулись звери — пиратское судно с чёрными парусами осталось далеко позади.

— Спасибо вам, журавли! — сказал доктор.— Вы избавили нас от пиратов. Если бы не вы, лежать бы нам на дне моря.

10. ПОЧЕМУ УБЕЖАЛИ КРЫСЫ

Нелегко было журавлям тащить за собою тяжёлый корабль. Через несколько часов они так утомились, что чуть не упали в море. Тогда они подтянули корабль к берегу, попрощались с доктором и улетели на родное болото.

Доктор долго махал им вслед платком.

Но тут к нему подошла сова Бумба и сказала:

— Погляди-ка туда. Видишь — там на палубе крысы! Они прыгают с корабля прямо в море и плывут к берегу одна за другою!

— Вот и хорошо!—сказал доктор.—Крысы вредные, и я не люблю их.

— Нет, это очень скверно! — со вздохом сказала Бумба.— Ведь крысы живут внизу, в трюме, и чуть только на дне корабля появляется течь, они видят эту течь раньше всех, прыгают в воду и плывут прямо к берегу. Значит, наш корабль потонет. Вот послушай-ка сам, что говорят крысы.

Как раз в это время из трюма выползли две крысы, молодая и старая. И старая крыса сказала молодой:

— Вчера вечером иду я к себе в норку и вижу, что в щель так и хлещет вода. Ну, думаю, нужно бежать. Завтра этот корабль потонет. Убегай и ты, пока не поздно.

И обе крысы бросились в воду.

— Да, да,— вскричал доктор,— я вспомнил! Крысы всегда убегают перед тем, как кораблю утонуть. Мы сейчас же должны бежать с корабля, иначе мы утонем вместе с ним! Звери, за мной! Скорее! Скорее!

Он собрал свои вещи и быстро сбежал на берег. Звери поспешили за ним. Долго они шли по песчаному берегу и очень устали.

— Сядем и отдохнём,— сказал доктор.— И подумаем, что нам делать.

— Неужели мы тут останемся на всю свою жизнь? — сказал Тянитолкай и заплакал.

Крупные слёзы так и катились изо всех четырёх его глаз.

И звери стали плакать вместе с ним, потому что всем им очень хотелось вернуться домой.

Но вдруг прилетела ласточка.

— Доктор, доктор! — закричала она. — Случилось большое несчастье: твой корабль захватили пираты!

Доктор вскочил на ноги.

— Что они делают на моём корабле? — спросил он.

— Они хотят ограбить его, — ответила ласточка. — Беги скорее и прогони их оттуда!

— Нет, — сказал доктор с весёлой улыбкой, — прогонять их не надо. Пусть себе плывут на моём корабле. Далеко не уплывут, вот увидишь! Лучше пойдём и, покуда они не заметили, захватим корабль пиратов!

И доктор помчался по берегу. За ним — Тянитолкай и все звери.

Вот и пиратский корабль.

На нём нет ни одного человека. Все пираты — на корабле Айболита.

— Тише, тише, не шумите! — сказал доктор. — Прoberёмся тихонько на пиратский корабль, чтобы никто не увидел нас!

11. БЕДА ЗА БЕДОЙ

Звери тихо взошли на корабль, тихо подняли чёрные паруса и тихо поплыли по волнам. Пираты ничего не заметили.

И вдруг случилась большая беда.

Дело в том, что свинка Хрю-Хрю простудилась.

В ту самую минуту, когда доктор пытался неслышно проплыть мимо пиратов, Хрю-Хрю громко чихнула. И раз, и другой, и третий.

Пираты слышали: кто-то чихает. Они выбежали на палубу и увидели, что доктор захватил их корабль.

— Стой! Стой! — закричали они и пустились за ним вдогонку.

Доктор распустил паруса. Вот-вот пираты догонят их корабль. Но он мчится вперёд и вперёд, и по-немногу пираты начинают отставать.

— Ура! Мы спасены! — закричал доктор.

Но тут главный пират Бармалей поднял свой пистолет и выстрелил. Пуля попала в грудь Тянитолкаю. Тянитолкай зашатался и упал в воду.

— Доктор, доктор, помогите! Я тону!

— Бедный Тянитолкай! — крикнул доктор. — Прдержись ещё немного в воде! Сейчас я тебе помогу.

Доктор спустил паруса, остановил свой корабль и бросил Тянитолкаю верёвку.

Тянитолкай уцепился за верёвку зубами. Доктор втащил раненого зверя на палубу, перевязал ему рану и снова пустился в путь. Но было уже поздно: пираты мчались на всех парусах.

— Наконец-то мы поймаем тебя! — кричали они. — И тебя, и всех твоих зверей! Там, на мачте, у тебя сидит славная уточка! Скоро мы изжарим её. Ха-ха, это будет вкусное кушанье. И свинку мы тоже изжарим. Мы давно уже не ели свинины! Сегодня вечером у нас будут свиные котлеты. Хо-хо-хо! А те-



бя, докторишка, мы свяжем верёвками и бросим в море — к зубастым акулам.

Хрю-Хрю услышала эти слова и заплакала.

— Бедная я, бедная! — говорила она. — Я не хочу, чтобы меня изжарили и съели пираты!

Авва тоже заплакала — ей жаль было доктора:

— Я не хочу, чтобы его проглотили акулы!

12. ДОКТОР СПАСЕН

Только сова Бумба не испугалась пиратов. Она спокойно сказала Авве и Хрю-Хрю:

— Какие вы глупые! Чего вы бонтесь? Разве вы

не знаете, что корабль, на котором гонятся за нами пираты, пойдёт ко дну? Помните, что сказала крыса? Она сказала, что сегодня корабль непременно утонет. В нём широкая щель, и он полон воды. А вместе с кораблём утонут и пираты. Чего же вам бояться? Пираты утонут, а мы останемся целы и невредимы.

Но Хрю-Хрю продолжала плакать.

— Покуда пираты утонут, они успеют изжарить и меня и Кику! — говорила она.

Между тем пираты подплывали всё ближе. Впереди на палубе стоял главный пират Бармалей. Он размахивал саблей и громко кричал:

— Эй ты, обезьяний доктор! Недолго осталось тебе лечить обезьян — скоро мы швырнём тебя в море! Там тебя проглотят акулы!

Доктор закричал ему в ответ:

— Берегись, Бармалей, как бы акулы не проглотили тебя! В корабле течь, и вы скоро пойдёте ко дну.

— Ты лжёшь! — закричал Бармалей. — Если бы мой корабль тонул, с него убежали бы крысы!

— Крысы давно уже убежали, и скоро ты будешь на дне вместе со всеми твоими пиратами!

Тут только пираты заметили, что их корабль медленно погружается в воду. Они стали бегать по палубе, заплакали и закричали:

— Спасите!

Но никто не хотел их спасать.

Корабль всё глубже опускался на дно. Скоро пираты очутились в воде. Они барахтались в волнах и не переставая кричали:



— Помогите, помогите, мы тонем!

Бармалей подплыл к кораблю, на котором был доктор, и стал взбираться по верёвке на палубу. Но собака Авва оскалила зубы и грозно сказала: «Ррр!..» Бармалей испугался, вскрикнул и от испуга полетел вниз головой обратно в море.

— Помогите! — кричал он. — Спасите! Вытащите меня из воды!..

13. СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Вдруг на поверхности моря показались акулы — огромные, страшные рыбы с острыми зубами, с широко открытой пастью.

Они погнались за пиратами и скоро проглотили их всех до единого.

— Туда им и дорога! — сказал доктор. — Ведь они грабили, мучили, убивали ни в чём не повинных людей. Вот и поплатились за свои злодеяния.

Долго плыл доктор по бурному морю. И вдруг он услышал, что кто-то кричит:

— Боэн! Боэн! Баравэн! Бавэн!

На зверином языке это значит:

«Доктор, доктор, останови свой корабль!»

Доктор спустил паруса. Корабль остановился,



и все увидели попугая Карудо. Он быстро летел над морем.

— Карудо! Это ты? — вскричал доктор. — Как я рад тебя видеть! Лети же, лети сюда!

Карудо подлетел к кораблю, сел на высокую мачту и крикнул:

— Посмотри-ка, кто плывёт за мною! Вон там, у самого горизонта, на западе!

Доктор поглядел в море и увидел, что далеко-далеко по морю плывёт Крокодил. На спине у Крокодила сидит обезьяна Чичи. Она машет пальмовым листом и смеётся.

Доктор сейчас же направил свой корабль навстречу Крокодилу и Чичи и спустил им с корабля верёвку.

Они вскарабкались по верёвке на палубу, кинулись к доктору и стали целовать его в губы, в щёки, в бороду, в глаза.

— Как вы очутились среди моря? — спросил у них доктор.



Он был счастлив, что снова увидел своих старых друзей.

— Ах, доктор! — сказал Крокодил. — Нам так скучно было без тебя в нашей Африке! Скучно без Кики, без Аввы, без Бумбы, без милой Хрю-Хрю! Нам так хотелось вернуться в твой дом, где в шкафу живут белки, на диване — ёжик, а в комоде — зайчиха с зайчатами. Мы решили покинуть Африку, переплыть все моря, добраться до твоего города и поселиться у тебя на всю жизнь.

— Пожалуйста! — сказал доктор. — Я рад.

— Ура! — закричала Бумба.

— Ура! — закричали все звери.

А потом взялись за руки и принялись танцевать вокруг мачты:

Шита рита, тита дрита!
Шивандаза, шиванда!
Мы родного Айболита
Не покинем никогда!

Одна только обезьяна Чичи сидела в стороне и печально вздыхала.

— Что с тобой? — спросил Тянитолкай.

— Ах, я вспомнила про злую Варвару! Опять она будет обижать нас и мучить!

— Не бойся! — вскричал Тянитолкай. — Варвары уже нет в нашем доме! Я бросил её в море, и она живёт теперь на необитаемом острове.

— На необитаемом острове?

— Да!

Все обрадовались — и Чичи, и Крокодил, и Карудо: Варвара живёт на необитаемом острове!

— Да здравствует Тянитолкай! — закричали они и опять пустились танцевать:

Шивандары, шивандары,
Фундуклей и дундуклей!
Хорошо, что нет Варвары!
Без Варвары веселей!

Тянитолкай кивал им двумя головами, и оба его рта улыбались.

Корабль мчался на всех парусах, и к вечеру утка Кика, взобравшись на высокую мачту, увидела родные берега.

— Мы приехали! — закричала она. — Ещё час, и мы будем дома!.. Вон вдаль наш город — Пиндемонте. Но что это? Глядите, глядите! Пожар! Весь город в огне! Уж не горит ли наш дом? Ах, какой ужас! Какое несчастье!

Над городом Пиндемонте стояло высокое зарево.

— Скорее к берегу! — скомандовал доктор. — Мы должны потушить это пламя! Возьмёмте вёдра и залейём его водой!

Но тут на мачту взлетел Карудо. Он поглядел в подозрную трубу и вдруг засмеялся так громко, что все посмотрели на него с удивлением.

— Вам не нужно тушить это пламя, — сказал он и опять засмеялся, — потому что это совсем не пожар.

— Что же это такое? — спросил доктор Айболит.

— Ил-лю-ми-на-ция! — ответил Карудо.



— А что это значит? — спросила Хрю-Хрю. — Я никогда не слышала такого странного слова.

— Сейчас узнаешь, — сказал попугай. — Потерпи ещё десять минут.

Через десять минут, когда корабль приблизился к берегу, все сразу поняли, что такое иллюминация. На всех домах и башнях, на прибрежных скалах, на вершинах деревьев — всюду светились фонарики — красные, зелёные, жёлтые, а на берегу горели большие костры, яркое пламя которых вздымалось чуть

не до самого неба. Женщины, мужчины и дети в праздничных, красивых одеждах плясали вокруг этих костров и пели весёлые песни.

Едва они увидели, что к берегу причалил корабль, на котором доктор Айболит воротился из своего путешествия, они захлопали в ладоши, засмеялись и все, как один человек, бросились приветствовать его.

— Да здравствует доктор Айболит! — кричали они. — Слава доктору Айболиту!

Доктор был удивлён. Он не ожидал такой встречи. Он думал, что его встретят только Таня и Ваня да, пожалуй, старый моряк Робинзон, а его встречает целый город с факелами, с музыкой, с весёлыми песнями! В чём дело? За что его чествуют? Почему так празднуют его возвращение?

Он хотел сесть на Тянитолкая и уехать к себе домой, но толпа подхватила его и понесла на руках — прямо на широкую Приморскую площадь, лучшую площадь в городе.

Из всех окон глядели люди и бросали доктору цветы. Доктор улыбался, раскланивался — и вдруг увидел, что к нему сквозь толпу пробираются Таня и Ваня.

Когда они подошли, он обнял их, расцеловал и спросил:

— Откуда вы узнали, что я победил Бармалея?

— Мы узнали об этом от Пенты, — ответили Таня и Ваня. — Пента приехал в наш город и рассказал

нам, что ты освободил его из ужасного плена и спас его отца от разбойников.

Тут только доктор увидел, что на пригорке, далеко-далеко, стоит Пента и машет ему отцовским платком.

— Здравствуй, Пента! — закричал ему доктор, но в эту минуту к доктору подошёл, улыбаясь, старый моряк Робинзон, крепко пожал ему руку и сказал таким громким голосом, что все на площади услышали его:

— Дорогой, любимый Айболит! Мы так благодарны тебе за то, что ты очистил всё море от лютых пиратов, похищавших наши корабли. Ведь до сих пор мы не смели пускаться в далёкое плавание, потому что нам угрожали пираты. А теперь море свободно, и наши корабли в безопасности! Мы гордимся, что в нашем городе живёт такой храбрый герой. Мы построили для тебя чудесный корабль, и позволь нам поднести его тебе в подарок.

— Слава тебе, наш любимый, наш бесстрашный доктор Айболит! — в один голос закричала толпа. — Спасибо, спасибо тебе!

Доктор поклонился толпе и сказал:

— Благодарю за ласковую встречу! Я счастлив, что вы любите меня. Но мне никогда, никогда, никогда не удалось бы справиться с морскими пиратами, если бы мне не помогли мои верные друзья, мои звери. Вот они здесь со мною, и мне хочется от всего сердца приветствовать их и выразить им мою благодарность за их самоотверженную дружбу!

— Ура! — закричала толпа. — Слава бесстрашным зверям Айболита!

После этой торжественной встречи доктор сел на Тянитолкаю и в сопровождении зверей направился к дверям своего дома.

Вот обрадовались ему зайчики, белки, ежи и летучие мыши!

Но не успел он поздороваться с ними, как в небе послышался шум. Доктор выбежал на крыльцо и увидел, что это летят журавли. Они подлетели к его дому и, ни слова не говоря, поднесли ему большую корзину великолепных плодов: в корзине были финики, яблоки, груши, бананы, персики, виноград, апельсины!

— Это тебе, доктор, из Страны Обезьян!

Доктор поблагодарил их, и они тотчас же улетели.

А через час у доктора в саду началось великое пиршество. На длинных скамьях, за длинным столом, при свете разноцветных фонариков, уселись все друзья Айболита: и Таня, и Ваня, и Пента, и старый моряк Робинзон, и ласточка, и Хрю-Хрю, и Чичи, и Кика, и Карудо, и Бумба, и Тянитолкай, и Авва, и белки, и зайцы, и ежи, и летучие мыши.

Доктор угостил их мёдом, леденцами и пряниками, а также теми сладкими плодами, которые ему прислали из Страны Обезьян.

Пир удался на славу. Все шутили, смеялись и пели, а потом встали из-за стола и пошли танцевать тут же в саду, при свете разноцветных фонариков.



Вдруг Пента заметил, что доктор перестал улыбаться, нахмурился и с озабоченным видом бежит со всех ног к себе в дом.

— Что случилось? — спросил Пента.

Доктор ничего не ответил. Он взял Пенту за руку и быстро взбежал с ним по лестнице. У самых дверей в прихожую сидели и лежали больные: медведь, искусанный бешеным волком, чайка, раненная злыми

мальчишками, и маленький мохнатый оленёнок, который всё время стонал, так как у него была скарлатина. Его привезла к доктору та самая лошадь, которой, если вы помните, доктор ещё в прошлом году дал замечательные большие очки.

— Посмотри на этих зверей,— сказал доктор,— и ты поймёшь, почему я так скоро покинул наш праздник. Не могу я веселиться, если у меня за стеною мои любимые звери стонут и плачут от боли!

Доктор быстрыми шагами прошёл в кабинет и немедленно стал готовить лекарство.

— Позволь, я тебе помогу! — сказал Пента.

— Пожалуйста! — отозвался доктор.— Поставь-ка медведю градусник и принеси ко мне сюда в кабинет оленёнка. Он очень болен, он при смерти. Его надо спасти раньше всех!

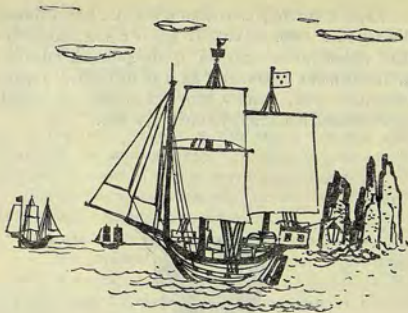
Пента оказался хорошим помощником. Не прошло и часу, как доктор вылечил всех больных. Едва они стали здоровы, они засмеялись от счастья, сказали доктору «чака» и бросились целовать его.

Доктор повёл их в сад, познакомил с другими зверями, а потом закричал: «Расступитесь!» — и вместе с Чичи заплясал весёлую звериную «ткеллу», да так лихо и ловко, что даже медведь, даже лошадь не выдержали и пустились плясать вместе с ним.

Так закончились приключения доброго доктора. Он поселился неподалёку от моря и стал лечить не только зверей, но и раков, и рыб, и дельфинов, которые подплывали к берегу вместе со своими детьми.

Жилось доктору спокойно и весело. Все в городе Пиндемонте любили его. И вдруг с ним произошёл один удивительный случай, о котором вы прочтёте на дальнейших страницах, да и то не сейчас, а через несколько дней, потому что нужно же вам отдохнуть — и вам, и доктору Айболиту, и мне.





ОГОНЬ И ВОДА

1. ДОКТОР АЙБОЛИТ ЖДЕТ К СЕБЕ НОВОГО ГОСТЯ

У морского берега много камней. Камни большие и острые. Если налетит на них корабль, он сразу же будет разбит. В чёрные осенние ночи жутко подъезжать на корабле к скалистому опасному берегу.

Чтобы корабли не разбивались о камни, люди ставят у берегов маяки. Маяк — это такая высокая башня, на верхушке которой зажигается лампа. Лампа горит так ярко, что капитан корабля видит её

издалека и потому не может заблудиться в пути. Маяк освещает море и показывает кораблям их дорогу. Один такой маяк стоит в городе Пиндемонте, на высокой горе, в том самом городе, где живёт доктор Айболит.

Город Пиндемонте построен у самого моря. Из моря торчат три скалы, — и горе тому кораблю, который налетит на эти скалы: корабль разобьётся вдребезги, и все путешественники утонут.

Поэтому, когда вы будете подъезжать к Пиндемонте, не забудьте взглянуть на маяк. Его лампа видна издалека. Эту лампу каждую ночь зажигает сторож маяка, старый негр по имени Джамбо. Джамбо живёт на маяке много лет. Он весёлый, седой и добрый. Доктор Айболит очень любит его.

Как-то раз доктор взял лодку и поехал на маяк к негру Джамбо.

— Здравствуй, Джамбо! — сказал доктор. — Я к тебе с просьбой. Будь так добр, зажги сегодня, пожалуйста, самую яркую лампу, чтобы на море стало светлее. Сегодня приедет ко мне на корабле моряк Робинзон, и я не хочу, чтобы его корабль разбился о скалы.



— Ладно,— сказал Джамбо,— постараюсь. А откуда приедет к тебе Робинзон?

— Он приедет ко мне из Африки. Привезёт маленького двухголового Дика.

— Дика? А кто он такой, этот Дик? Уж не сын ли твоего Тянитолкай?

— Да. Дик — его сын. Очень маленький. Тянитолкай давно уже скучает без Дика, и я попросил Робинзона съездить в Африку и привезти его сюда.

— Вот обрадуется твой Тянитолкай!

— Ещё бы! Одиннадцать месяцев не видел он Дика! Приготовил ему целую гору медовых пряников, изюму, апельсинов, орехов, конфет — и сегодня с самого утра бегаёт по берегу взад и вперёд и смотрит в море четырьмя глазами: ждёт не дожждётся, когда же на горизонте появится знакомый корабль. Робинзон приедет нынче ночью. Только бы его корабль не разбился о скалы!

— Не разобьётся, будь покоен! — сказал Джамбо. — Не одну лампу я зажгу на маяке, и не две, а четыре! Будет светло, как днём. Робинзон увидит, куда вести свой корабль, и корабль останется цел.

— Спасибо, Джамбо! — сказал Айболит, сел в лодку и поехал домой.

2. МАЯК

Дома доктор сразу принялся за работу. В этот день у него было особенно много хлопот. Зайцы, летучие мыши, овцы, сороки, верблюды — все пришли и

прилетели к нему издалека лечиться. У кого болел живот, у кого зубы. Доктор вылечил их всех, и они ушли очень весёлые.



Вечером доктор прилёг на диване и сладко задремал, и ему стали сниться белые медведи, моржи и тюлени.

Вдруг в окно к нему влетела чайка и крикнула:

— Доктор, доктор!

Доктор открыл глаза.

— Что такое? — спросил он. — Что случилось?

— Чикуручи заром!

На зверином языке это значит:

«Там... на маяке... нет огня!»

— Что ты говоришь? — воскликнул доктор.

— Да, на маяке нет огня! Маяк потух и не светит! Что же будет с теми кораблями, которые плывут к берегам? Они разобьются о камни!

— Где же сторож маяка? — спросил доктор. — Где Джамбо? Почему он не зажигает огня?

— Юанзе! Юанзе! — ответила чайка. — Не знаю! Не знаю! Я только знаю, что на маяке нет огня!

— Скорее на маяк! — вскричал доктор. — Скорее! Скорее! Нужно во что бы то ни стало зажечь на маяке самый яркий огонь! Иначе много кораблей разобьётся о скалы в эту бурную и тёмную ночь! И что будет с кораблём Робинзона? И с Диком?

Доктор побежал к своей лодке, взял вёсла и стал

что есть силы грести к маяку. До маяка было далеко. Волны швыряли лодку. Лодка то и дело ударялась о камни. Каждую минуту она могла налететь на утёс и разбиться. В море было темно и страшно. Но доктор Айболит ничего не боялся. Он только и думал о том, как бы скорее попасть на маяк.

Вдруг мимо пролетела утка Кика и издалека закричала ему:

— Доктор, доктор! Я только что видела в море корабль Робинзона. Он несётся на всех парусах и сейчас налетит на скалы. Если на маяке не загорится огонь, корабль погибнет, и все люди утонут!

— Ах, какое страшное несчастье! — воскликнул доктор. — Бедный, бедный корабль! Но нет, мы не дадим ему погибнуть! Мы спасём его! Мы зажжём на маяке огонь!

Доктор налёг на вёсла, и лодка помчалась вперёд как стрела. Утка поплыла вслед за ним. Вдруг доктор закричал громким голосом.



— Игулúс! Игалéс! Каталáки!

На зверином языке это значит:

«Чайка! Чайка! Лети к кораблю и постарайся его задержать, чтобы он плыл не так скоро. Иначе он сейчас же разобьётся о камни!»

— Кандалома! — ответила чайка и полетела в открытое море и стала громко звать своих подруг.

Те услышали её тревожные крики и слетелись к ней со всех сторон. Стая понеслась навстречу кораблю. Корабль быстро бежал по волнам. Было совсем темно. Рулевой, который управлял кораблём, ничего не видел в темноте и не догадывался, что ведёт свой корабль прямо на скалы. Он спокойно стоял у руля, насвистывая весёлую песню. Тут же, неподалёку, на мостике, совсем как телёнок, прыгал маленький Дик и кричал:

— Сейчас я увижу отца! Отец угостит меня медовыми пряниками!

Три скалы уже близко. Если бы только знал рулевой, куда он ведёт свой корабль, он повернул бы руль, и корабль был бы спасён.

Но рулевой не видит во мраке трёх скал и ведёт свой корабль на верную гибель.

Скорее бы зажёгся маяк!

И вдруг чайки — все, сколько их есть, — налетели на рулевого и стали бить его по лицу, по глазам своими длинными крыльями. Они клевали ему руки, они всей своей стаей гнали его прочь от руля. Он не знал, что чайки хотят спасти его корабль: он думал,

что они налетели на него, как враги, и громко закричал:

— Помогите!

Матросы услышали его крик, прибежали к нему и стали отгонять от него птиц.

3. ДЖАМБО

А доктор Айболит между тем мчался в своей лодке вперёд. Вот и маяк. Он стоит на высокой горе, но теперь его не видно, так как кругом темнота. Доктор быстро взбежал на гору и ощупью отыскал дверь маяка. Дверь была заперта. Доктор постучал, но ему не открыли. Доктор крикнул:

— Джамбо, открой поскорее!

Никакого ответа. Что делать? Что делать? Ведь корабль всё ближе к берегу — ещё несколько минут, и он разобьётся о скалы.

Медлить было нельзя. Доктор изо всей силы налёг плечом на запертую дверь. Дверь распахнулась, и доктор вбежал на маяк. Кика еле поспевала за ним.

А на корабле матросы всё ещё воевали с чайками. Но чайки задержали корабль и дали доктору время добраться до маяка. Ах, как они были рады, что им удалось задержать корабль! Только бы доктор успел добраться до маяка и зажечь яркую маячную лампу! Но как только чайки улетели, корабль снова пустился в путь. Волна понесла его прямо на камни. Что же доктор не зажигает огня?

А доктор Айболит в это время карабкается по

винтовой лестнице на самую вершину маяка. Темно, приходится идти ощупью. Но вдруг доктор натывается на что-то большое и чуть не летит кувырком. Что это такое? Мешок с огурцами? Неужели человек? Да, на ступенях лестницы лежит человек, широко раскинув руки. Должно быть, это Джамбо, сторож маяка.

— Это ты, Джамбо? — спросил доктор.

Человек ничего не ответил. Уж не умер ли он? Может быть, его убили разбойники? Или, может быть, он болен? Или пьян? Доктор хотел наклониться над ним и послушать, бьётся ли у него сердце, но вспомнил о корабле и помчался по лестнице дальше. Ско-



рее, скорее наверх! Зажечь лампу, спасти корабль! И он бежал всё выше, и выше, и выше! Падал, спотыкался и бежал. Какая длинная лестница! У доктора даже голова закружилась. Но вот наконец он добрался до лампы. Сейчас он её зажжёт. Сейчас она вспыхнет над морем, и корабль будет спасён.

Но вдруг доктор закричал не своим голосом:

— Что мне делать? Что мне делать? Я оставил дома мои спички!

— Ты оставил дома спички? — в ужасе переспросила утка Кика. — Как же ты зажжёшь огонь на маяке?

— Я оставил спички у себя на столе, — со стоном сказал доктор и горько заплакал.

— Значит, корабль погиб! — воскликнула утка. — Бедный, бедный корабль!

— Нет, нет! Мы спасём его! Ведь есть же спички тут, на маяке! Пойдём и поищем их!

— Тут темно, — сказала утка, — ничего не найдёшь!

— На лестнице лежит человек! — сказал доктор. — Поищи-ка у него в карманах!

Утка побежала к человеку и обшарила у него все карманы.

— Нет! — закричала она. — Все его карманы пустые!

— Что же делать? — пробормотал бедный доктор. — Неужели большой корабль со всеми людьми должен погибнуть сию минуту только оттого, что у меня нет одной маленькой спички!

4. КАНАРЕЙКА

И вдруг он услышал какие-то звуки, будто где-то чирикала птица.

— Это канарейка! — сказал доктор. — Ты слышишь? Это поёт канарейка. Пойдём и разыщем её! Канарейка знает, где спички.

И он кинулся вниз по лестнице отыскивать комнату Джамбо, где висела клетка с канарейкой. Комната была внизу, в подвале. Доктор вбежал туда и закричал канарейке:

— Кинзолок?

На зверином языке это значит:

«Где спички? Скажи мне, где спички?»

— Чик-чирик! — сказала канарейка в ответ. — Чик-чирик! Чик-чирик! Пожалуйста, накройте мою клетку платочком, потому что тут такой сильный сквозняк, а я такая нежная, я боюсь простудиться. Ах, у меня будет насморк! И куда девался чёрный Джамбо? Он всегда по вечерам покрывал мою клетку платочком, а сегодня почему-то не покрыл. Вот какой он нехороший, этот Джамбо! Я могу простудиться. Пожалуйста, возьмите платочек и покройте мою клетку. Платочек вон там — на комод. Шёлковый платочек. Голубой.

Но у доктора не было времени слушать её болтовню.

— Спички! Где спички? — громко закричал он.

— Спички тут, на столе у окошка. Но какой ужасный сквозняк! Я такая нежная, я могу просту-

диться. Пожалуйста, возьмите платочек и покройте мою клетку. Платочек лежит на...

Но доктор не слушал её. Он схватил спички и опять побежал вверх по лестнице. Утка еле поспевала за ним. На лестнице ему попалась чайка; должно быть, она только что влетела в окно.

— Скорее! Скорее! — кричала она. — Ещё минута, и корабль погиб! Волны мчат его на большую скалу, и мы уже не можем его удержать.

5. БЕГЛЫЙ ПИРАТ БЕНАЛИС

Доктор ничего не сказал. Он бежал и бежал вверх по лестнице. Издали до него донеслись какие-то печальные звуки. Это плакал Тянитолкай на морском берегу. Видно, не дожидаться ему своего маленького Дика. Выше, выше, выше, и доктор опять наверху.

Быстро вбежал он в самую верхнюю стеклянную комнату, выхватил из коробки спичку и дрожащими руками зажёл огромную лампу. Потом другую, третью, четвёртую. Полоса яркого света тотчас же осветила камни, на которые нёсся корабль.

На корабле раздался громкий крик:

— Камни! Камни! Назад! Назад! Сейчас мы разобьёмся о камни! Скорей поворачивай назад!

На корабле поднялась тревога: засвистели свистки, зазвонили колокола, забегали, засуетились матросы, и скоро нос корабля повернулся в другую сто-

рону, подальше от скал и камней, и направился в безопасную гавань.

Корабль был спасён. Но доктор и не думал уходить с маяка.

Ведь там, на лестнице, лежит негр Джамбо, которому нужно помочь. Жив ли он? Что с ним случилось? Почему он не зажёт своей лампы?

Доктор наклонился над негром. На лбу у Джамбо он увидел рану.

— Джамбо! Джамбо! — кричал доктор, но негр лежал, как мёртвый.

Доктор вынул из кармана бутылку с лекарством и вылил всё лекарство негру в рот. Оно в ту же минуту подействовало. Негр открыл глаза.

— Где я? Что со мной? — спросил он. — Скорее туда, наверх. Я должен зажечь мою лампу!

— Успокойся! — сказал доктор. — Огонь на маяке уже горит. Идём, я уложу тебя в постель.

— Огонь на маяке уже горит? Как я рад! — воскликнул Джамбо. — Спасибо тебе, добрый доктор! Ты зажёл мой маяк! Ты спас корабли от гибели. А теперь ты спасаешь меня!

— Что же с тобою случилось? — спросил Айболит. — Отчего ты не зажёл маяка? Отчего у тебя рана на лбу?

— Ах, со мной случилась беда! — ответил Джамбо со вздохом. — Иду я сегодня по лестнице, вдруг подбегает ко мне — кто бы ты думал? — Беналис! Да! Да! Тот самый пират, которому ты приказал поселиться на необитаемом острове.

— Беналис? — вскричал доктор. — Неужели он здесь?

— Да. Он бежал с необитаемого острова, сел на какой-то корабль, переплыл моря и океаны и вчера приехал сюда, в Пиндемонте.

— Сюда? В Пиндемонте?

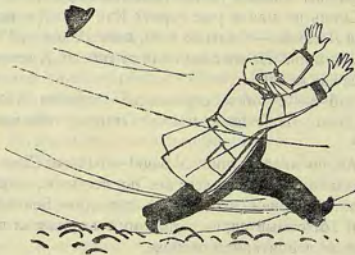
— Да, да! Он сразу же прибежал на маяк и ударил меня по голове бамбуком — так, что я свалился на эти ступеньки без чувств.

— А он? Где же он?

— Я не знаю.

Но тут защелкала канарейка.

— Беналис убежал, убежал, убежал! — повторяла она без конца. — Я просила его накрыть мою клетку платочком, потому что я могу простудиться. У меня такое слабое здоровье. А он...



— Куда он убежал? — крикнул доктор.

— Он убежал в горы по Вентурийской дороге, — сказала канарейка. — Он хочет поджечь твой дом, убить твоих зверей и тебя. Но я чувствую, что у меня будет насморк. Я такая нежная. Я не выношу сквозняка. Всякий раз...

Но доктор не дослушал её. Он бросился вдогонку за пиратом. Нужно во что бы то ни стало поймать этого злого пирата и отправить его обратно на необитаемый остров, не то он сожжёт весь город и замучит, убьёт всех зверей.

Доктор бежал что есть силы по улицам, по площадям, по переулкам. Ветер сорвал с него шляпу. Он наткнулся в темноте на забор. Он упал в канаву. Он исцарапал себе всё лицо о колючие ветви деревьев. По его щеке струилась кровь. Но он не замечал ничего, он бежал всё вперёд по каменистой Вентурийской дороге.

— Скорее! Скорее!

Вот уже близко: за поворотом знакомый колодец, а через дорогу, недалеко от колодца — маленький дом Айболита, в котором и живут его звери. Скорее, скорее туда!

6. ДОКТОР В ПЛЕНУ

И вдруг кто-то подбежал к Айболиту и сильно ударил его по плечу. Это был разбойник Беналис.

— Здравствуй, доктор! — сказал он и засмеялся отвратительным смехом. — Что? Не ожидал меня

встретить здесь, в этом городе? Наконец-то я разделяюсь с тобой!

И, злобно сверкая глазами, он схватил доктора Айболита за шиворот и кинул его в глубокий колодец. В колодце было холодно и очень темно. Доктор Айболит чуть не захлебнулся в воде.

— Тад-зи-тед! — кричал он. — Тад-зи-тед!

Но никто не слышал его. Что делать? Что делать? Сейчас Беналис сожжёт его дом! В доме сгорят все звери — и Крокодил, и Чичи, и Карудо, и Кика, и Бумба.

Доктор собрал последние силы и закричал:

— Тад-зи-тед! Тад-зи-тед!

Но и на этот раз никто не слышал его. А пират захохотал и помчался к тому дому, где жил Айболит. Звери — большие и маленькие — спали уже крепким сном, и было издали слышно, как беззаботно храпит Крокодил. В руке у пирата была коробка со спичками. Он тихонько подкрался к дому, чиркнул спичкой, и дом загорелся.

— Пожар! Пожар!

Беналис захихикал от радости и стал весело танцевать вокруг горящего дома.

— Наконец-то я отомстил этому гадкому доктору! Будет он помнить пирата Беналиса!



А доктор сидел в колодце, по горло в воде, плакал и звал на помощь. Неужели Беналис сожжёт всех его милых друзей, а он всю свою жизнь, всю жизнь просидит в

этом колодце? Нет, ни за что! И он закричал ещё раз:

— Тад-зи-тед! Тад-зи-тед!

«Тад-зи-тед» по-звериному значит: «Спасите».

Но голос у доктора был такой слабый, что никто не слышал его. Он крикнул ещё раз, ещё и ещё, но вместо крика у него изо рта выходил только тихий шёпот.

К счастью, в колодце жила много лет старая зелёная лягушка. Она вылезла из-под мокрого камня, выпрыгнула к доктору на плечо и сказала:

— Здравствуй, доктор! Как очутился ты в этом колодце?

— Меня бросил сюда пират и разбойник Беналис. И мне нужно сейчас же выбраться отсюда на волю. Будь так добра, побегни и позови журавлей.

— Оставайся тут! — сказала лягушка. — Тут так хорошо: и сыро, и прохладно, и мокро.

— Нет, нет! — сказал доктор. — Мне нужно сейчас же отсюда бежать. Я боюсь, что у меня в доме пожар и что все мои звери сгорят!

— Пожалуй, тебе и вправду нельзя оставаться в колодце, — сказала лягушка, выпрыгнула из колодца, поскакала к болоту и позвала журавлей.

7. НОВОЕ ГОРЕ И НОВАЯ РАДОСТЬ



Журавли прилетели и принесли с собою длинную верёвку. Эту верёвку они опустили в колодец. Доктор крепко ухватился за неё обеими руками, журавли вспорхнули к облакам, и доктор очутился на воле.

— Спасибо, дорогие друзья! — крикнул он журавлям и сейчас же побежал к своему дому.

Дом горел как большой костёр. А звери крепко спали, не подозревая, что в их доме пожар. Сейчас загорятся под ними кровати, и они погибнут в огне — ёжики, белки, обезьяны, сова, крокодил.

Доктор кинулся в самый огонь и крикнул зверям:

— Проснитесь!

Но они продолжали спать.



— Пожар! Пожар! — кричал доктор. — Проснитесь, бегите на улицу!

Но голос у доктора был очень слабый, потому что доктор простудился в колодце, и никто не слышал его. У доктора загорелись волосы, загорелся пиджак, огонь обжигал ему щёки, от густого дыма ему было трудно дышать, но он пробивался сквозь огонь всё дальше и дальше.

Вот обезьяна Чичи. Как крепко она спит и не чувствует, что вокруг неё — горячее пламя!

Доктор нагнулся над ней, схватил её за плечо и стал трясти что есть силы. Наконец она открыла глаза и в ужасе закричала:

— Горим!

Тут проснулись все звери и кинулись прочь из огня. Но доктор остался в доме. Он хотел пробраться к себе в кабинет и посмотреть, нет ли там зайцев или белых мышей.

Звери кричали ему:

— Доктор! Назад! Что ты делаешь? У тебя уже горит борода. Беги из огня, а не то ты сгоришь!

— Не пойду! — отвечал доктор. — Не пойду! Я вспомнил, что у меня в кабинете, в шкафу, остались три маленьких кролика... их нужно сейчас же спасти...

И он кинулся в самое пламя. Вот он у себя в кабинете. Кролики здесь, в шкафу. Они плачут. Им страшно. А бежать некуда, потому что всюду огонь. Уже загорелись занавески, стулья, столы, табуретки. Сейчас загорится шкаф, и кролики сгорят вместе с ним.

— Кролики, не бойтесь, я здесь! — крикнул доктор. Он распахнул шкаф, вынул оттуда испуганных кроликов и бросился вон из огня. Но голова у него закружилась, и он упал без чувств прямо в пламя.

— Доктор! Доктор! Где доктор? — кричали на улице звери. — Он погиб! Он сгорел!!! Он задохнулся от дыма! И мы больше никогда не увидим его! Нужно спасти его! Скорее, скорее!

Всех зверей опередила Авва. Она, как вихрь, понеслась в кабинет, схватила за руку лежащего доктора и стащила его по пылающей лестнице вниз.

— Осторожней, осторожней! — кричала ей обезьяна Чичи. — Ты можешь оторвать ему руку.

А сама даже не сдвинулась с места.

Авва очень рассердилась и сказала:

Замолчи, Чичи,
Не кричи, Чичи,
И меня, Чичи,
Не учи, Чичи!

Чичи сделалось стыдно, она подбежала к Авве и стала ей помогать. Они вдвоём снесли доктора в сад, к ручейку, и положили его на траве под деревом.

Доктор лежал неподвижно. Звери стояли над ним.

— Бедный доктор! — сказала Хрю-Хрю и заплакала. — Неужели он умрёт и мы останемся сиротами? Как мы будем жить без него?

Но вот доктор пошевелился и слабо вздохнул.

— Он жив! Он жив! — обрадовались звери.

— Кролики здесь? — спросил доктор.

— Мы здесь, — ответили кролики. — Ты о нас не беспокойся. Мы живы. Мы здоровы. Мы счастливы.

Доктор приподнялся на траве.

— Я пойду и позову пожарных, — сказал он еле слышным голосом. У него всё ещё кружилась голова.

— Что ты! Что ты! — закричали звери. — Пожалуйста, лежи и не двигайся. Мы и без пожарных потушим твой дом.

И правда: откуда ни возьмись, со всех сторон слетелись ласточки, вороны, чайки, журавли, трясогузки, и каждая птица держала в клюве небольшое ведёрко с водой и поливала, поливала горящий дом. Казалось, что над домом идёт дождь. Покуда одна стая улетала к морю за водой, другая с полными ведрами возвращалась от моря и тушила пожар.

А из лесу прибежал медведь. Он обхватил передними лапами сорокаведёрную бочку воды, вылил всю воду в пламя и опять побежал к морю за водой.

А зайцы раздобыли в соседнем доме кишку и направили её прямо в огонь.



Жжж! Жжж!

Но огонь всё ещё не хотел потухать. Тогда из северных морей, издалёка, подплыли к самому Пиндемонта три огромных гренландских кита и пустили такие большие фонтаны, что сразу потушили весь пожар.

Доктор вскочил на ноги и стал кувыркаться от радости. Собака Авва — за ним. А за Аввой и обезьяна Чичи.

— Ура! Ура! Спасибо вам, птицы и звери, и вам, могучие гренландские киты!

8. ДИК

— Напрасно ты так радуешься, — сказал попугай и глубоко вздохнул. — В этом доме жить уже нельзя. Сгорела крыша, сгорели полы, сгорели стены. Да и мебель сгорела дотла: нет ни стульев, ни столов, ни кроватей.

— Верно, верно! — сказал Айболит. — Но я не горюю. Я счастлив, что все вы остались в живых и никто из нас не пострадал от пожара. А если дом



негоден для жилья, — что ж! — я уйду на берег моря, отыщу там большую пещеру и буду жить в пещере вместе с вами.

— Зачем искать пещеру? — промолвил медведь. — Идём ко мне в берлогу: там темно и тепло.

— Нет, лучше ко мне, в колодец! — перебила лягушка. — Там и сыро, и прохладно, и мокро.

— Нашла куда звать: в колодец! — сердито сказал старый филин, только что прилетевший из лесу. — Нет, пожалуйста, иди ко мне, в моё дупло. Там немного тесновато, но уютно.

— Благодарю вас, милые друзья! — сказал доктор. — Но всё-таки я хотел бы поселиться в пещере!

— В пещере! В пещере! — закричал Крокодил и помчался вниз по Вентурийской дороге.

За ним Карудо, Бумба, Авва, Чичи и Хрю-Хрю.



— Идём искать пещеру, пещеру, пещеру!

Вскоре все они очутились на берегу моря, неподалёку от гавани, и кого же они увидели там? Конечно,

Тянитолкай! Да, да... Тянитолкай был не один. Рядом с ним стоял маленький тянитолкайчик, хорошенький, весь обросший мягкой, пушистой шерстью, которую так и хотелось погладить. Он только что прибыл сюда на корабле Робинзона. Корабль при свете маяка благополучно добрался до гавани, и маленький ловкий Дик прыгнул с корабля прямо на берег — и бросился в объятия к отцу. Большой Тянитолкай был очень рад. Ведь они с сыном так давно не видались!

Было смешно глядеть, как они оба целуются. Тянитолкай целовал сына то в одну голову, то в другую, то одними губами, то другими, а сын, не теряя времени, чуть только один из его ртов освобождался от поцелуев, начинал жевать медовые пряники, которые принёс ему отец.

С первого же взгляда Дик полюбился зверям. Не прошло и пяти минут, как все они убежали с ним в лес и затеяли там весёлые игры, взлезали на деревья, собирали цветы, бросали друг в друга еловые шишки.



А доктор Айболит с Тянитолкаем и моряком Робинзоном ушли разыскивать хорошую пещеру.

Звери долго резвились в лесу. Вдруг Авва сказала Кике:

Вот погляди-ка,
Кика,
Какая земляника!
Поди-ка
И сорви-ка
И Дика
Угости-ка!

Кика тотчас же сорвала землянику и подарила её своему новому другу.

А Чичи вскарабкалась на высокое дерево и стала сбрасывать оттуда большие орехи:

— Вот тебе, Дик! Лови!

Обе головы Дика улыбались от радости, и он ловил орехи обоими ртами.

«Какие все они хорошие, эти зверята! — думал он про себя. — Надо будет с ними сдружиться покрепче».

Особенно понравился ему попугай, который умел петь и насвистывать такие забавные песни.

— Как тебя зовут? — спросил Дик.

Попугай запел ему в ответ:

Я знаменитый Карудо,
Вчера проглотил я верблюда!

Дик так и прыснул со смеху.

9. ПОПУГАЙ И БЕНАЛИС

Но в эту минуту к попугаю подлетела морская чайка и закричала встревоженным голосом:

— Где доктор? Где доктор? Нам нужен доктор! Найдите его сию же минуту!

— В чём дело? — спросил Карудо.

— Разбойник Беналис! — ответила чайка. — Этот ужасный злодей...

— Беналис?

— Он плывёт по морю... в лодке... Он хочет украсть у моряка Робинзона корабль. Что делать? Он похитит корабль и умчится в далёкое море и опять будет разбойничать, будет убивать и грабить ни в чём не повинных людей!

Карудо на минуту задумался.

— Это ему не удастся, — сказал он. — Мы справимся с ним сами... без доктора.

— Но что же ты можешь сделать? — со вздохом спросила чайка. — Разве хватит у тебя силы удержать его лодку?

— Хватит! Хватит! — весело сказал попугай и быстро полетел к маяку.

На маяке по-прежнему горела огромная лампа, ярко освещающая прибрежные скалы. Над морем летали чайки.

— Чайки! Чайки! — закричал попугай. — Летите сюда, к маяку, и заслоните собою огонь. Видите ту лодку, что плывёт мимо скал? В этой лодке разбойник Беналис. Закройте от него свет маяка!

Чайки тотчас же окружили маяк. Их было так много, что они заслонили всю лампу. В море наступила темнота. И тотчас же — трах-тара-рах! — раздался ужасный треск. Это лодка Беналиса разбилась о скалы.

— Спасите! — вопил пират. — Спасите! Помогите! Я тону!

— Так тебе и надо! — отозвался Карудо. — Ты разбойник, ты жестокий злодей! Ты сжёг наш дом, и мы не жалеем тебя. Ты хотел утопить нашего доктора Айболита в колодце — тони же сам, и никто не поможет тебе!

10. НОВОСЕЛЬЕ

И Беналис утонул. Больше никогда он не будет разбойничать. Чайки тотчас же улетели, и маяк засиял опять.

— Где же доктор? — сказала Чичи. — Отчего он не идёт? Пора бы ему возвратиться.

— Вот и он! — сказал Дик. — Погляди-ка туда, на дорогу.

В самом деле, по дороге шёл доктор, но какой он был печальный и усталый. Дик подбежал к доктору и лизнул его в щёку, но доктор даже не улыбнулся ему.

— У меня большое горе! — сказал доктор. — Я нигде не нашёл пещеры. Искал, искал и нигде не нашёл.

— Где же мы будем жить?

— Не знаю! Не знаю! С моря идут чёрные тучи. Скоро начнётся гроза. Пойдёт дождь. А мы под открытым небом, и нам негде укрыться от бури.

— Проклятый Беналис! — вскричала Чичи. — Если бы он не сжёг нашего дома, мы сидели бы теперь в тепле, под крышей, и не боялись бы ни бури, ни дождя!

Все тяжело вздохнули. Никто не сказал ни слова. Через несколько минут грянул гром, и с неба полились целые реки воды. Доктор попытался укрыться со своими зверями под деревом, но холодные потоки дождя струились и сквозь листву и сквозь ветви. Руки и ноги у доктора стали дрожать. Зубы у него застучали. Он зашатался и упал на холодную, мокрую землю.

— Что с тобой? — спросила Бумба.

— Я болен... мне холодно... я простудился в колодце... и теперь у меня лихорадка. Если я не согреюсь в тепле, под одеялом, у печки... я умру... и вы, мои милые звери, останетесь без доктора, своего лучшего друга.

— У-у-у! — завывала Бумба.



— У-у-у! — завывала Авва.

Чичи обняла Хрю-Хрю, и они обе заплакали, заплакали и Тянитолкай со своим сыном.

Вдруг Авва встрепелулась, вытянула шею и понюхала воздух.

— Сюда кто-то идёт! — сказала она.

— Нет, — сказала Кика. — Ты ошиблась. Это дождь шумит в прибрежных камышах.

Но в эту минуту из чащи выбежали какие-то звери, поклонились доктору и хором запели:

Мы бобры,
Работники,
Мы столяры
И плотники.
Мы для тебя построили
За речкой, за прудом
Хороший, новый дом!



— Дом? — спросила с удивлением Кика. — Разве вы умеете строить дом?

— Ещё бы! — гордым голосом ответили бобры. — Из всех зверей мы самые лучшие строители в мире. Мы строим такие дома, каких и человеку не выстроить! Чуть мы увидели, что в доме у доктора Айболита случился пожар, мы сейчас же выбежали из наших домов, помчались в ближайший лес и свалили тридцать высоких деревьев. Из них мы и построили дом.

— Тридцать деревьев! — засмеялась Чичи. — Как же вы свалили их, если у вас нет топоров?

— Но зато у нас чудесные зубы!

— Да, да! — сказала Бумба. — Это верно. У бобров замечательно острые зубы. Бобры подрезают деревья зубами, потом счищают с них зубами кору, потом скусывают ветви и листья и строят из брёвен дома для себя и своих детей.

— А теперь мы построили дом для нашего доброго доктора! — сказали бобры. — Там тепло, просторно и уютно. Доктор, вставайте, и мы поведём вас туда!

Но доктор только застонал в ответ. У него начался сильный жар, и он уже не мог говорить.

Звери подняли доктора с мокрой земли, усадили его на Тянитолкая и, поддерживая с обеих сторон, повезли на новоселье в новый дом. Бобры шли впереди и показывали дорогу. Дождь лил как из ведра. Вот и пруд. Вот и речка Бобровая. А над речкой — глядите! глядите! — высокий, новый бревенчатый дом.

— Пожалуйте, доктор, — сказали бобры. — Этот дом куда лучше того, который был у вас прежде. Смотрите, какой он красивый!

— Спасибо, спасибо! — слабым голосом пробормотал Айболит. Он был очень благодарен бобрам за такой великолепный подарок.





Чичи тотчас же затопила печку. Доктора Айболи-та уложили в постель и дали ему такое лекарство, от которого он очень скоро поправился.

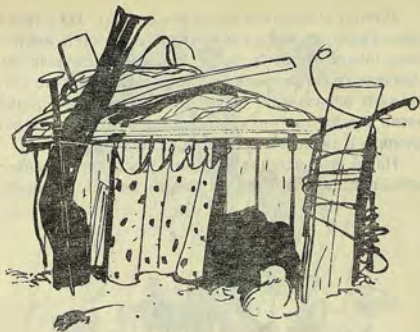
Дом и вправду оказался отличный. На другой день к доктору приехали в гости Робинзон и Джамбо. Они принесли ему винограда и мёду.

Доктор сидел в кресле, у печки, очень счастливый, но всё ещё бледный и слабый. Звери уселись у его ног и глядели ему весело в глаза: они были рады, что он остался жив и что болезнь его миновала. Дик то и де-ло лизал ему руку то одним, то другим языком.

Доктор гладил его пушистую шерсть. На спинку кресла взобрался Карудо и стал рассказывать какую-то историю. История была печальная. Слушая её, Крокодил плакал такими большими слезами, что возле него образовался ручей. Но кончилась история очень весело, так что Джамбо, Робинзон и Чичи захлопали в ладоши и чуть было не пошли танцевать.

Но об этой истории когда-нибудь после. А сейчас давайте отдохнём. Закроем книгу и пойдём погуляем.





ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛОЙ МЫШКИ

1. КОТ

Жила-была белая мышка. Её звали Беянка. Все её братья и сёстры были серые, она одна была белая. Белая, как мел, как бумага, как снег.

Вздумали как-то серые мыши пойти погулять. Беянка побежала за ними. Но серые мыши сказали:

— Не ходи, сестра, останься дома. На крыше сидит Чёрный Кот, он увидит тебя и съест.

— Почему же вам можно гулять, а мне нельзя? —

спросила Белянка.— Если Чёрный Кот увидит меня, он увидит и вас.

— Нет,— сказали серые мыши,— нас он не увидит, мы серые, а ты белая, ты всякому видна.

И они побежали по пыльной дороге. И в самом деле, Кот не заметил их, потому что и они были серые, и пыль на дороге была серая.

А Белянку он сразу заметил, потому что она была белая. Он налетел на неё и вонзил в неё острые когти. Бедная Белянка! Сейчас он съест её! Тут она поняла, что братья и сёстры сказали ей правду, и горько заплакала.

— Отпусти меня, пожалуйста, на волю! — взмолилась она.

Но Чёрный Кот только фыркнул в ответ и оскалил свои страшные зубы.

2. КЛЕТКА

Вдруг кто-то крикнул:

— Зачем ты мучаешь бедную мышку? Отпусти её сию же минуту!





Это крикнул сын рыбака, мальчик Пента. Он увидел, что Чёрный Кот держит Белянку в когтях, подбежал к нему и отнял её.

— Белая мышка! — сказал он. — Как я рад, что у меня будет такая красивая белая мышка!

Белянка тоже была рада, что спаслась от Кота. Пента дал ей поест и посадил её в деревянную клетку.

Он был добрый мальчик, ей было у него хорошо.

Но кому охота жить в клетке! Клетка — та же тюрьма. Скоро Белянке наскучило сидеть за решёткой. Ночью, когда Пента спал, она перегрызла прутья своей деревянной тюрьмы и тихонько убежала на улицу.

3. СТАРАЯ КРЫСА

Какое счастье! Вся улица белая! На улице снег!

А если улица белая, значит, белая мышка может спокойно гулять перед самым носом у кошки и кошка не увидит её. Потому что белая мышка на белом снегу не видна. На белом снегу она и сама словно снег.

Весело было Белянке гулять по улицам белоснежного города и глядеть на кошек и собак. Никто не видел её, но она видела всех. Вдруг она услышала стон. Кто это стонет так жалобно? Она всмотрелась в темноту и увидела серую крысу. Серая крыса сидела на пороге большого сарая, и слёзы текли у неё по щекам.

— Что с тобой? — спросила Белянка. — Отчего ты плачешь? Кто тебя обидел? Ты больна?

— Ах, — ответила серая крыса, — я не больна, но я очень несчастна. Я хочу есть. Я умираю от голода. Третий день во рту у меня не было ни крошки. Я умираю от голода.

— Почему же ты сидишь в этом сарае? — вскричала Белянка. — Выходи на улицу, и я покажу тебе мусорный ящик, где ты можешь отлично поужинать.

— Нет, нет! — сказала крыса. — Мне нельзя показаться на улицу. Разве ты не видишь, что я серая? Когда не было снега, я каждую ночь могла уходить со двора. Но теперь на белом снегу сразу заметят меня и дети, и собаки, и кошки. О, как я хотела бы быть белой, как снег!



Белянке стало жалко несчастную серую крысу.

— Хочешь, я останусь тут и буду жить у тебя?— предложила она.— Каждый вечер буду приносить тебе еду.

Очень обрадовалась старая крыса. Она была беззубая, тощая. Белянка побежала на помойку соседнего дома и принесла оттуда корку хлеба, ломтик сыра и огарок свечи.

Серая крыса жадно набросилась на все эти лакомства.

— Ну, спасибо,— сказала она.— Если бы не ты, я умерла бы от голода.

4. ВЫДУМКА СТАРОЙ КРЫСЫ

Так прожили они целую зиму. Но вот однажды Белянка вышла на улицу и чуть не заплакала. Снег в одну ночь растаял, наступила весна, всюду были лужи, улица была чёрная. Все сразу заметят Белянку и бросятся за нею в погоню.

— Ну,— сказала Белянке старая крыса,— теперь моя очередь добывать тебе пищу. Ты кормила меня зимой, я буду кормить тебя летом.

И она ушла, а через час принесла Белянке целую гору сухариков, крендельков и конфет.

Как-то раз, когда старая крыса ушла за продуктами, Белянка сидела на пороге. Мимо сарая прошли её братья и сёстры.

— Куда вы идёте? — спросила Белянка.

— Мы идём в лес танцевать! — закричали они.

— Возьмите и меня! Я тоже хочу танцевать!

— Нет, нет! — закричали её братья и сёстры. — Уходи от нас подальше. Ты погубишь и нас и себя. В лесу на дереве сидит большая сова, она сразу заметит твою белую шкурку, а вместе с тобою погибнем и мы.

И они убежали, а Белянка осталась одна. Скоро вернулась крыса. Она принесла много вкусного, но Белянка даже не притронулась к лакомствам. Она забилась в тёмный угол и плакала.

— О чём ты плачешь? — спросила её старая крыса.

— Как же мне не плакать? — ответила Белянка. — Мои серые братья и серые сёстры бегают на воле по лесам и полям, танцуют, резвятся, а я должна всё лето сидеть в этом гадком сарае.

Старая крыса задумалась.

— Хочешь, Белянка, я помогу тебе? — сказала она ласковым голосом.

— Нет, — грустно ответила Белянка, — никто мне не может помочь.

— А вот увидишь, я помогу тебе. Знаешь ли ты, что под нашим сараем в подвале — мастерская кра-



сильщика? А в мастерской много красок. Синих, зелёных, оранжевых, розовых. Красильщик красит этими красками игрушки, фонарики, флаги, бумажные цепи для ёлки. Скорее бежим туда. Красильщик ушёл, а его краски остались.



— Что же мы будем там делать? — спросила Белянка.

— Вот увидишь! — ответила старая крыса.

Белянка ничего не понимала. Она нехотя пошла за старой крысой в мастерскую красильщика. Там стояли вёдра с разноцветными красками.

Крыса сказала Белянке:

— Вот в этом ведре синяя краска, в этом — зелёная, в этом — чёрная, а в этом — пунцовая. А в этом корыте, которое поближе к дверям, отличная серая краска. Полезай туда, окунись с головой, и ты будешь такая же серая, как твои братья и сёстры.

Белянка обрадовалась, подбежала к корыту, но вдруг остановилась, потому что ей сделалось страшно.

— Я боюсь утонуть, — сказала она.

— Какая ты трусиха! Чего тут бояться! Закрой глаза и ныряй поскорее! — сказала ей серая крыса.

Белянка закрыла глаза и нырнула в серую краску.

— Ну, вот и хорошо! — вскричала крыса. — Поздравляю тебя! Ты уже не белая, а серая. Но теперь тебе нужно согреться. Скорее ложись в постель. То-то ты будешь счастлива, когда проснёшься завтра поутру.

5. ОПАСНАЯ КРАСКА

Наступило утро. Белянка проснулась и сейчас же побежала посмотреть на себя в осколок разбитого зеркала, валявшийся в мусорной куче. О ужас! Она стала не серой, а жёлтой, жёлтой, как ромашка, как желток, как цыплёнок!

Очень рассердилась она на серую крысу.

— Ах ты, негодная! — закричала она. — Смотри, что ты наделала! Ты выкрасила меня в жёлтую краску, и теперь мне страшно показаться на улице.

— В самом деле! — воскликнула крыса. — Я в темноте перепутала краски. Теперь я вижу, что в корыте была не серая краска, а жёлтая.

— Ты глупая слепая старуха! Ты погубила меня! — продолжала хныкать несчастная мышка. — Я ухожу от тебя и больше не желаю тебя знать!

И она убежала. Но куда ей пойти? Где спрятаться? И на серой дороге, и на зелёной траве, и на белом снегу — всюду заметна её ярко-жёлтая шкурка.

Чуть только выбежала она из сарая, за ней погнался Чёрный Кот. Она убежала от него в переулок, но там её сразу увидели школьники.



— Жёлтая мышка! — закричали они. — Жёлтая, жёлтая, жёлтая мышка!

И они погнались за нею и стали кидать в неё камнями. На углу к ним присоединились собаки.

Жёлтых мышей никто никогда не видал, и потому всякому хотелось поймать эту необыкновенную мышь.

— Держи! Держи! — кричали у неё за спиной.

Усталая, измученная, она еле спаслась от погони. Но вот её родной дом. Здесь живёт её мать. Здесь ей будет хорошо, в родной норе.

— Здравствуй, мама! — сказала она.

Мать посмотрела на неё и закричала сердито:

— Кто ты такая? Чего тебе нужно? Уходи, уходи отсюда!

— Мама! Мама! Не гони меня. Я твоя дочь. Я Белянка.

— Какая же ты Белянка, если ты — жёлтая! Моя Белянка была белее снега, а ты жёлтая, как ромашка, как желток, как цыплёнок. Такой дочери у меня никогда не бывало! Ты не моя дочь. Ступай отсюда!

— Mamочка, поверь, это я. Выслушай меня, и я расскажу тебе всё.

Но тут прибежали её братья и сёстры и стали выталкивать её из норы. Они не догадывались, что она их родная сестра, и царапали, и били, и кусали её.

— Ступай, откуда пришла! Мы тебя не знаем, ты чужая! Ты совсем не Белянка, ты — жёлтая!

Что было делать? Со слезами ушла от них бедная мышка, крадучись вдоль заборов, на каждом шагу обжигаясь крапивой. Вскоре она очутилась на морском берегу:

— Скорее отмыть эту ужасную краску!

6. ЖЕЛТАЯ МЫШКА И ДОКТОР

Ни минуты не медля, она бросилась в воду, и ныряла, и плавала, и скребла свою шкурку когтями, и тёрла песком, но напрасно: проклятая краска не хотела сходить. Шкурка оставалась такая же жёлтая.

Дрожа от холода, выползла несчастная на берег, села и заплакала. Что ей делать? Куда идти?

Скоро взойдёт солнце. Все увидят её и опять побегут за нею, и опять будут кидать в неё камнями и палками, и опять будут кричать у неё за спиной:

— Ловите, держите её!

— Нет, я этого больше не вынесу. Не лучше ли вернуться в неволю, в ту самую клетку, из которой я когда-то убежала? Что же делать, если на воле мне жить невозможно, если даже родная мать обижает и гонит меня?

И, печально понутив голову, поплелась она к тому дому, где жил мальчик Пента.

По дороге она встретила странную мышь. Мышь была больная и чахлая, еле-еле передвигала ногами. На хвосте у неё был красиво завязанный бант.

Белянка спросила её:

— Скажите, пожалуйста, что это у вас за бант на хвосте?

— Это не бант,— ответила незнакомая мышь.— Это такая повязка. Я иду от доктора Айболита, и он перевязал мою рану. Я, видите ли, попала вчера в мышеловку, и мышеловка больно прищемила мне хвост. Я вырвалась из мышеловки и — сразу же к доктору. Он смазал мне хвост какой-то замечательной мазью, и я выздоровела. Спасибо ему. Ах, какой это хороший, добрый доктор! И знаете, он умеет говорить по-мышиному: отлично понимает мышиный язык.

— Где он живёт?—спросила у неё жёлтая мышка.

— Здесь за углом, на горке. Неужели вы не знае-





те, где живёт Айболит? Все звери знают его: к нему то и дело приходят больные собаки, больные лошади, больные зайцы,— и всех он умеет лечить.

Жёлтая мышка не дослушала и пустилась бежать. Она прибежала к доктору. Позвонила у дверей. Ей сейчас же отворила Авва.

У доктора было много больных: какая-то хромая коза, две черепахи, тюлень, петух с перевязанным горлом и ворона с перешибленным крылом.

Когда мышка рассказала доктору, что она хотела бы сделаться опять белой, доктор засмеялся и сказал:

— Не стану тебя лечить! Оставайся жёлтой навсегда! Мне нравится твоя жёлтая шерсть. Она такая золотистая, красивая.

— Но ведь эта шерсть меня погубит! — со слезами вскричала мышка. — Стоит мне выйти на улицу, и меня разорвут собаки или растерзает Чёрный Кот.

— Пустяки! — сказал доктор. — Живи у меня, и тебя никто здесь не тронет. Незачем тебе гулять по улицам. Вот тебе и домик в буфете: здесь живут два зайца и старая беззубая белка. У меня будет тебе хорошо, и мы будем звать тебя Фиджа. Это значит: золотая мышка.

— Ладно, — сказала она, — я согласна.

И она осталась жить у доктора, а все звери полюбили её: и собака Авва, и утка Кика, и попугай Карудо, и обезьяна Чичи. И вскоре она научилась распевать вместе с ними их весёлую песню:

Шита рита, тита дрита!
Шивандада, шиванда!
Мы родного Айболита
Не покинем никогда!





СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ

П О В Е С Т Ъ



ТЕЛЕФОН



Зуев высыпал из ранца дюжину мелких иконок — медных, жестяных, деревянных, бумажных, — разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.

Зуев молился не даром: через три или четыре минуты в нашем классе начнётся диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней.

Одиннадцать дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошёл наш директор Бургмейстер (Ше-стиглазый, как мы звали его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим строгим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятель-

ство граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки.

Теперь этот день наступил.

Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.

— Тимоша... погоди... я придумал!

В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи верёвочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:

— Привяжи к ноге... да покрепче!

И, покуда он возится с узлами хвоста, говорю:

— Дёрну раз — запятая. Два — восклицательный. Три — вопросительный. Четыре — двоеточие. Понял?

Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово. Но он заика, и изо рта у него вылетают только два-три звука и брызги слюны.

Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, курдючный и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.

Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек! Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.

Блохин достаёт из кармана бечёвку и протягивает

её от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет её к своей правой ноге.

Рядом с Бугаем — Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус.

Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.

За Зюзей Козельским, на «камчатке», у самой стены, сидят знаменитые на всю гимназию губошлёпы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним.

— Не забудьте же, — повторяет Блохин, — раз — запятая, два — восклицательный, три — вопросительный, четыре — двоеточие. Поняли?

А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза всё время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.

В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.

По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятёрка, хотя и случалось, что тут же, по соседству с пятёркой, мне ставили в тетрадку единицу — за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после

каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.

Но вот распахнулась дверь. В класс вошёл не Бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннадцать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом. И немедленно начал диктовать нам диктовку.

Пришлось поработать моей правой ногой! Всё время, пока длилась диктовка, я дёргал, и дёргал, и дёргал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело.

Диктовка была такая (я запомнил её от слова до слова):

В тот день (дёрг!), когда доблестный Игорь (дёрг!), ведущий войска из лесов и болот (дёрг!), увидел (дёрг!), что в поле (дёрг!), где стояли враги (дёрг!), поднялось зловещее облако пыли (дёрг!), он сказал (дёрг! дёрг! дёрг! дёрг!): «Как сладко умереть за отчизну!» (дёрг! дёрг!)

Наши парты дрожали, как в судороге. Я без усталости передавал свои сигналы Зуеву, Тимоше и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня — Козельскому и братьям Бабенчиковым.

По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом взял наши тетради и унёс неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.

И благодарила же меня вся спасённая мною ше-

стёрка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы — полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.

Через неделю в класс деревянной походкой снова вошёл незнакомец в сопровождении нашего наставника Флёрова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь...

Незнакомец порылся в тетрадях.

— Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф... Нельзя ли пригласить их к доске?

Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.

Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:

*В тот день когда: доблестный Игорь ведущий?
войска из лесов и болот увидел что в поле где? стоя-
ли, враги поднялось!? зловещее облако пыли?*

— Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому Иосифу нуль, равно как и Григорию Зуеву.

Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:

— Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы... Бабенчиков Александр написал свою диктовку так:

В тот день когда доблестный Игорь ведущий войска из лесов и болот уви,дел что в поле где стоя,ли враги поднялось зловещее облако пы?ли он сказал как слад,ко умереть: за от,чизну.

Беда произошла оттого, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей — быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвёртое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.

После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть — так болели у меня рёбра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.

Вернулся я в гимназию лишь на четвёртые сутки. Молва о телефоне гудела и в коридоре и в классах. Но Шестиглазый предпочёл притвориться, будто ничего не слышал: иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью.

Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через два года, в пятом классе, случилась со мной новая беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понёс такое наказание, какого не забуду до конца моих дней.

Виновником этой беды был наш гимназический поп.



«ДА-ДА-ДА!»



вали попа Мелетий. Он очень старался быть добрым. Только это плохо удавалось ему, потому что он был очень обидчивый. Заведёт тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны нежно любить и друзей и врагов, и вдруг позеленеет от злости:

— Как вы смеете смеяться надо мной! Бондарчук, почему ты хихикаешь?

— Батюшка, я не хихикаю!

— Нет, ты хи-хи-каешь! Все вы там сзади хи-хи-каете! Вот Лобода не хи-хи-кает! Зуев не хи-хи-кает! Косяков не хи-хи-кает! А вы хи-хи-каете! Почему вы хи-хи-каете?

— Батюшка, мы не хи-хи-каем!

На уроках он всегда был какой-то рассеянный.

Соберёт всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно:

— Да-да-да-да-да-да!

Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит невпопад, поддакивая своим собственным мыслям:

— Да-да-да!

Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесёт это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот: «30... 40... 48... 53... 60...»

Моим соседом был Гришка Зуев. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты.

Понемногу мы оба приходим в азарт.

Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит своё «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш.

Но вскоре я с негодованием вижу, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную: 212.

Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью.

Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Мелетия:

— Зуев... и ты... как тебя? Ну-кася, повторите, о чём я сейчас говорил.

Странное дело: нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив. Для того чтобы не пропустить ни одного «да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Мелетия. Но, кроме «да-да-да», мы, оказывается, ничего не слышали. Потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу.

Мы стояли растерянные и бормотали несвязное. Зуеву повезло: его большая, круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжёлая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удручённого грешника, переживающего муки раскаяния.

Попу Мелетию его покаянная поза понравилась: поп Мелетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картиной. И благосклонно произнёс:

— Да-да-да!

— Четыреста двенадцать,— еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях.

— Врёшь! — возразил я запальчиво.— Не четыреста двенадцать, а двести четырнадцать!

Голос у меня был визгливый, и моё «врёшь» прозвучало как выстрел.

Мелетий взлохматил бороду.

— Сейчас же ступай к доске,— сказал он,— и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля.

И прибавил внушительно:

— Да!

Это новое «да» особенно рассмешило меня.

— Хи-хи-каешь! — рассердился Мелетий.— Радуюешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Григория Зуева!

Тут уж засмеялся весь класс. «Благочестивый» Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель.

Желая показать отцу Мелетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать «благочестивого» Гришку Зуева, я решил открыть ему всю правду.

— У вас, батюшка,— сказал я любезно и вкрадчиво,— есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока...

Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из неё волоски.

Это всегда выражало у него высшую степень гнева: чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из неё два или три волоска.

Теперь он вырывал не меньше десятка и, вырвав, сложил их рядком, один к другому, на чёрном переплёте классного журнала, дунул на них что есть силы и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным го-

лосом (в минуты гнева голос его всегда опускался до шёпота).

Он говорил, что он служитель алтаря — да-да-да! — и не допустит — да-да-да! — чтобы всякий мо-локосос — да-да-да!..

Говорил он долго и тем же шёпотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса.

Я вышел из класса и встал у дверей...

Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то *онагром*. Что такое *онагр*, я в то время не знал и тихонько отодвинулся от двери.

Близилась большая перемена.

В конце коридора зазвякали стаканы и блюда.

Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, застланном грязноватою скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды.

В кармане у меня оказались четыре копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот — динь-дилень! — зазвонил колокольчик, и из всех дверей стали выбегать гимназисты.

Вот и поп Мелетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, шествует крупными шагами в учительскую.

Я бегу к нему и говорю:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Но рот у меня набит пирожком, и у меня получается:

— Баюа, поие, поауа!

Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг его чахлые, тонкие губы искажаются ужасом.

— Ты... ты... ты!.. — говорит он, задыхаясь от ярости, и хватает меня за плечо.

Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь-то мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно великим постом, мы, христиане, и думать не смели о мясе, ибо господь бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели господу богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот! Но Мелетий уверял нас, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня (в пятницу!) дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком — нарочно, чтобы поиздеваться над ним, да-да-да!

Непрожёванный кусок этой преступной еды так и застрял у меня в горле.

Я понял, что мне прощения нет и не будет, но всё же лепетал механически:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Мне самому его прощение было не нужно, но на Рыбной улице во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для неё большим несчастьем.

Всякий раз, когда в гимназии со мной случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что у неё

будет болеть голова и что целые сутки она — моя мама — будет лежать без движения, полумёртвая, с почернелыми веками.

Я готов был сделать всё на свете, лишь бы голова у неё перестала болеть.

И вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:

— Батюшка, простите меня!

Но по его насупленным белёсым бровям, по вздёрнутому крохотному носику, по искривлённой нижней губе я вижу, что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить.

— Как христианин,— сказал он,— я прощаю тебя. Как твой духовный отец, я молюсь за тебя. Но как законоучитель, я обязан тебя покарать... ради твоего же спасения.

Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Мелетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое, мясистое, бабье лицо лоснилось от куриного жира.

Вдруг Мелетий заулыбался, закланялся: к нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошёл Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своём шутовском языке:

— Слышал, слышал о ваших художествах! Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне... сюда... в рыдальню?



ЗЮЗЯ



Директор был немец: Бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенно русском языке и любил такие слова, как *галдѣж*, *невтерпѣж*, *фу-ты*, *ну-ты*, *намедни*, *давеча*, *вестимо*, *ай-люли*.

Этим языком он владел превосходно, но почему-то этот язык вызывал во мне тошноту.

Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей.

Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один «рыдалец». Это был распухший от слѣз, испуганный Зюзя Козельский.

Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием.

— Смею ли я верить глазам? — декламировал он, отступая на шаг и помахивая в такт своей речи какой-то измятой тетрадью. — Не обманывает ли меня моё зрение? Не мираж ли предо мною? Не призрак ли? Неужели это ты, Козельский, тот самый Иосиф Козельский, который ещё в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев, опорой семьи?..

В этом стиле он мог говорить без конца, подражая величайшим ораторам древности. Не меньше получаса терзал он Козельского, и только к концу этого получаса я понял, в чём заключается преступление Зюзи.

Преступление было немалое.

Началось с того, что Зюзя получил на этой неделе целых две единицы — по каким предметам, не помню. Эти единицы были проставлены классным наставником Флёровым в его школьный дневник. И он должен был показать их отцу, чтобы тот подписался под ними. Но так как Зюзин отец, владелец ресторана у Воронцовского сада, грозился избить его за первую худую отметку, он, по совету своего товарища Тюнтина, переделал у себя в дневнике обе единицы на четвёрки. Дело было нетрудное. Отец Козельского не заметил

обмана и подписался под фальшивыми четвёрками с большим удовольствием.

Но Зюзя был малоопытный жулик: когда ему пришлось превращать четвёрки «назад» в единицы (для предъявления классному наставнику), он так неумело стёр лишние чёрточки перочинным ножом, что вместо них образовались две дырки.

Что было делать? Если классный наставник увидит ужасные дырки, лучше Зюзе не возвращаться домой. Нужно было скрыть следы преступления.

И вот вчера вечером, по совету того же Тюнтинна, Зюзя решил похоронить свои единицы в глубокой могиле, из которой они не могли бы воскреснуть. Пробрался тайком в наш гимназический сад, выкопал под акацией ямку, не очень глубокую, так как почва была жёсткая, кремнистая, и закопал там навеки свой многострадальный дневник.

Он был уверен (и в этом убедил его Тюнтин), что, чуть он заявит о пропаже своего дневника, ему тотчас же выдадут новый, без единиц и двоек, без замечаний и клякс, и тогда он начнёт новую, светлую, прекрасную жизнь.

Был лишь один свидетель этих тайных похорон дневника: пёс Эсхил ньюфаундлендской породы. Эсхил принадлежал Шестиглазому. Шестиглазый каждое воскресенье прогуливался с Эсхилом по приморской аллее с незажжённой сигарой во рту. У Эсхила были добрые, человечьи глаза. Они глядели на Зюзю с братским сочувствием.

И этот-то ласковый пёс, так приветливо вилявший

своим добрым хвостом, предал Зюзю, как последний подлец.

Чуть только Зюзина работа была кончена и Зюзя удалился счастливый, собака разрыла своими добрыми лапами могильную насыпь, схватила зубами похороненный под нею дневник и, не понимая всей безнравственности своего поведения, побежала прямо к Шестиглазому, замахала добрым хвостом и положила добычу к ногам повелителя.

Теперь этот дневник находился в левой руке Шестиглазого, вымазанный землёю, измятый и рваный. Шестиглазый изящно помахивал им перед носом Козельского, угрожая преступнику чуть ли не Сибирью.

Я так глубоко задумался о собственных своих злоключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушёл. Я знал, что мне предстоит такая же мучительная пытка: целый час прижиматься к стене и слушать монологи Шестиглазого.

Но дело обернулось ещё хуже.

Он сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями.

Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева, устраиваю десятки снастей для сигнализации во время диктовки (вот когда он вспомнил о моём телефоне) и нарочно даю неверные сигналы товарищам, чтобы они получали нули...

— Нарочно?!

— Нарочно! Нарочно! И ты думаешь, я не знаю,— вскричал Шестиглазый, надвигаясь на меня ещё ближе,— что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четвёрки и зарыть под деревом дневник?

— Я?!

Словно кто ударил меня кнутом по глазам.

Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что всё это ложь, ложь, ложь, и, когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды.

Шестиглазый схватил меня за руки и стал отдирать их от моих ушей, но я сопротивлялся отчаянно.

В конце концов ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда, уже без всяких фиоритур красноречия, что о моём буйстве он доложит совету, а пока, до того как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на две недели, и пусть завтра, в субботу... или нет, в понедельник... придёт к нему моя мать, которая... которая... Впрочем, он лично побеседует с нею... и пусть она пеняет на себя, что так плохо воспитала меня.



НЕВЕСЕЛАЯ ДОРОГА



Измученный шёл я в этот день из гимназии домой. Помню, подбежал ко мне Лёня Алигераки, соседский мальчишка, и стал показывать большую стеклянную банку с какой-то усатой рыбиной песочного цвета, которую поймал он руками, и я еле сдержался, чтобы не хватить эту банку о камни.

Когда я повернул на Канатную улицу, мимо проехал воз, доверху гружённый камышом.

Ещё не встречалось мне камышиного воза, из которого я не выдернул бы себе камышинки.

Всякая камышинка была для меня настоящим богатством. Из неё можно было сделать косматую пику и сражаться на заднем дворе с армией Васьки Печёнкина. Из неё можно было смастерить дудку и

дудеть под окнами у сумасшедшего Беньки, пока да Бенька не выскочит и не закричит: «Скандибóббe-ром!»

Из неё можно было сделать раму для бумажного змея и запустить его так высоко, чтобы тебе позавидовал сам Печёнкин, хромоногий кузнец, знаменитейший змеепускатель нашей улицы.

Но сегодня я даже не сделал попытки подойти к этому возу поближе, хотя улица была пустынна и я свободно мог выдернуть не одну камышинку.

На углу Канатной и Рыбной под ноги мне попала жестянка — круглая, лёгкая, звонкая.

В другое время я непременно ткнул бы её носком сапога, она помчалась бы, громыхая, по камням мостовой, я побежал бы за ней и гнал бы её до самых ворот, а потом припрятал бы где-нибудь в мусорной куче, чтобы гнать её завтра назад по дороге в гимназию: это было одно из самых любимых моих развлечений. Но теперь я угрюмо отшвырнул её в сторону и согнулся ещё больше, чем всегда, потому что в детстве был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался, как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня «гандрыбатым».

Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче. Но она не скажет ни слова, она только свалится в постель, и лицо у неё станет жёлтое, и веки у неё потемнеют, и голова у неё будет болеть, и жизнь для неё прекратится на несколько дней... И что сделается с нею в понедельник, когда она, изнурённая, встанет с постели и, еле передвигая ногами, пойдёт к Шести-

глазому, а тот, вымотав у неё жилы своим красноречием, скажет ей торжественным голосом, что её сын негодяй и что одна ему дорога — в босяки?

Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у неё есть только один страх: как бы не исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти.

Ужасно не хочется возвращаться домой. Я останавливаюсь перед большим магазином «Гастрономическая торговля братьев В. И. и М. И. Сарафановых» и рассматриваю колбасы, маслины, икру, балыки, сыры.

Этот магазин кажется мне великолепным дворцом. Здесь и я бываю покупателем. Всякий раз, когда у мамы бывают деньги, я прибегаю сюда, зажав в кулаке полтинник, и чувствую себя важной персоной и говорю надменному приказчику:

— Четверть фунта ветчины и четверть фунта масла!

И надменный приказчик почтительно спрашивает:

— Что ещё прикажете?

И я важно говорю:

— Ничего!

— Пожалуйста в кассу! — говорит надменный приказчик.

Хотелось бы мне когда-нибудь отведать икры. Говорят, она замечательно вкусная, но такая дорогая, что едят её только генералы с министрами. Или такие богачи, как мадам Шершеневич. Интересно: ест ли икру Шестиглазый? Конечно, ест. И огромными ложками.

Обычно перед магазином меня охватывает бурный аппетит. Так, кажется, и проглотил бы всю витрину. Но сегодня даже икра не привлекает меня, хотя за весь день я только и съел, что этот проклятый мясной пирожок.

Я иду дальше и всё сильнее сгибаюсь, будто в ранце у меня кирпичи. Мимо проходит белобрысый и безбровый гимназист, которого мы все называем Спиноза. Это восьмиклассник Людвиг Мейер из нашей гимназии. Лоб у него нахмуренный, глаза без улыбки, одутловатое лицо неподвижно. У самого подбородка он держит раскрытую книгу и читает её на ходу. Мальчишки, выбежавшие из кузницы Васьки Печёнкина, кидают ему под ноги всякую дрянь, чтобы он споткнулся и выронил книгу.

Но и спотыкаясь, он продолжает читать. Он читает всегда и везде, в самых неподходящих местах: в булочной, в купальне, на кладбище, и потому кажется мне самым учёным и самым умным человеком на свете.

В другое время я непременно погнался бы за злыми мальчишками, но сегодня я тотчас же забываю о них и иду дальше, растравляя в себе своё горе.

Поверит ли мама, что я ни в чём, ни в чём не виноват?.. А если виноват, то чуть-чуть... И дёрнуло меня связаться с Мелетием!.. Но можно ли за это выгонять из гимназии?..

Вот и дом мадам Шершеневич, трёхэтажный, с балкончиками и с облупленными лепными фигурами, а вот и мадам Шершеневич гуляет со своими бо-

лонками. И сама она похожа на болонку: вертялая, с кудряшками, маленькая. В ушах у неё серьги, круглые и большие, как бублики.

— Здравствуйте! — кричит она мне. — Что вы так согнулись? Вам же не семьдесят лет!

До меня ей нет ни малейшего дела, а кричит она так игриво и звонко лишь потому, что на той стороне, у ворот длинного одноэтажного здания казармы, толпятся юнкера и поручики, ради которых она и совершает здесь свои рейсы с болонками. Юнкера и поручики кричат ей через дорогу любезности, восхищаются её красотой, приглашают её танцевать, а она заливчато и лукаво смеётся, глядя не на них, а на болонок.



ЦИНДИЛИНДЕР



а, мама у меня очень бесстрашная. Кроме Шестиглазого, она, кажется, никого не боится. Как расправилась она с этим грабителем, который забрался ночью в квартиру мадам Шершеневич! Ведь мама была одна и он мог бы избить её до смерти.

Это случилось три года назад. Мадам Шершеневич тогда не было дома. Она с мужем уехала в Киев, и её квартира стояла пустая. Охранять эту пустую квартиру она попросила маму. Мама поселилась там на летние месяцы вместе со мной и Марусей (Маруся — моя старшая сестра).

Болонки жили с нами. Им требовались особые кушанья, и ради этого нужно было очень часто ходить на базар. Нужно было ухаживать за всеми

цветами — а цветов у мадам Шершеневич было великое множество, — поливать их утром и вечером. Нужно было уничтожать целые батальоны клопов, которые гнездились у мадам Шершеневич повсюду: в диванах, за обоями, в кушетках, даже в зеркалах и картинах. Эта работа отнимала у мамы все дни.

И вот однажды душною лунною ночью маму разбудил собачий лай. В столовой, выходявшей на улицу, таякали все четыре болонки мадам Шершеневич. Мама вбежала туда полуодетая и увидела, что на подоконнике, в самом ярком свете, стоит среди фуксий, олеандров и фикусов какая-то мужская фигура. Мама всмотрелась: замухрышный оборванец лет семнадцати, а может, и меньше, растрёпанный, весь дрожащий, без шапки, взобрался на второй этаж (должно быть, по водосточной трубе) и завяз в самой гуще растений. Болонки выстроились перед ним полукругом, тоже освещённые луною, и так ретиво защищают владения мадам Шершеневич, что уже охрипли от лая.

Увидев маму, замухрышка схватил с подоконника горшок с каким-то цветком и, выругавшись простуженным голосом, кинул его, как бомбу, в болонок. Те взвизгнули, завыли, заплакали и на минуту разбежались кто куда. Но тотчас же снова сомкнулись и затаивали с новым азартом.

Мама негромко и спокойно сказала ему:

— Дурень ты, дурень! Кто же ходит воровать при луне? И зачем ты кричишь на всю улицу? Хочешь, чтоб тебя скорее сцапали?

Вор ответил нехорошею руганью и, схватив с подоконника самый крупный горшок, со всего размаха запустил им в маму. Мама легко нагнулась, и горшок попал в пустой аквариум, который стоял у неё за спиной.

Весь этот трезвон разбудил меня. Я вбежал в комнату, схватив на всякий случай чугунный подсвечник, которым вчера перед сном разбивал на пороге орехи. В это время мама говорила грабителю ровным, бесстрастным голосом, словно читала ему какую-то книгу:

— Вот какой ты ледащо¹, даже красть не умеешь. Пришёл бы ко мне как хороший, я дала бы тебе и сала и хлеба.

Тут только сообразил я, что делать, и кинулся чёрным ходом за дворником. Дворницкая была заперта. Я стучал в неё кулаком и подсвечником.

Из соседней квартиры на мои стуки выбежал денщик генеральши Ельцовой, человек усатый и громадный. Он побежал за городовым и за сторожем.

Мама встретила этих людей неприветливо:

— Опоздали. Он уже вон оно где...— и указала в сторону Старо-Портофранковской улицы.

Они убежали, стуча сапогами, и вскоре мы услышали:

— Держи-и!

Такие крики в ту пору слышались каждую ночь.

Прошло минут пять. Вдруг мама сказала негромко:

¹ Л е д а щ о (укр.) — лентяй, беспутный, никчёмный человек.

— А теперь вылезай.

Из длинной корзины с бельём, что стояла в прихожей, вылез наш замухрышный грабитель.

Он должен был бы упасть перед мамой на колени и сказать ей растроганным голосом: «Благодарю вас, великодушная дама, за то, что вы спасли мою жизнь». Но он только сплюнул, поправил причёску и снова отвратительно выругался.

Мама посмотрела на него с жалостью, как на калеку, и поспешила в столовую, к поломанным, измятым цветам, которые лежали среди черепков на полу.

Вор тупо глядел на неё, следя за её быстрой работой.

— Как же тебя зовут? — спросила мама, после того как начисто вытерла испачканный пол.

Вор помолчал и угрюмо ответил:

— Циндилиндер.

Мама несколько не удивилась такому странному имени.

— Ну, Циндилиндер, там у меня от обеда вареники.

Вор накинулся на мамину еду с жадностью голодного зверёныша. После этого в нашей семье долго ещё держалась поговорка, обращённая к тем, кто глотал не жуя: «Что это ты ешь, как Циндилиндер?»

Насытившись, он хотел поскорее уйти, но мама оставила его ночевать тут же в коридоре, на корзине, потому что боялась, как бы не схватили его в подворотне.

Утром Циндилиндер ушёл, и мы долго не видали его.

Месяца через три — уже у себя дома — я заболел скарлатиной. Скарлатина была тяжёлая. Доктор Копп приходил каждый день и за каждые три визита получал два рубля — грандиозные деньги! А сколько ушло на лекарства да на два медицинских консилиума!

К зиме мы совсем обнищали. И мамина брошка из слоновой кости, и золотая браслетка с бонбончиками, и самовар, и медные кастрюли, и перламутровые круглые запонки, и даже чёрненькие Марусины часики — всё уплыло в ломбард. Взамен мы получили зелёно-лиловые квитанции, красивые, приятно хрустящие, с какими-то гербами и узорами. Восемь великолепных квитанций, которые я, выздоравливая, перебирал у себя в постели и рассматривал по целым часам.

И вот, когда мама стояла однажды в ломбарде у стойки, держа в руках последнюю нашу роскошь — шкатулку из карельской берёзы, — она в очереди увидела вдруг Циндилиндера.

Циндилиндер засмеялся:

— Гы-гы! — и хитро подмигнул ей.

Под мышкой у него был востроносый турецкий кофейник причудливой формы, должно быть похищенный летом у зазевавшихся дачников.

— Уй, какая же вы стали сухая тараня! — сказал он ей с любезной улыбкой, будто говорил комплимент. — На вас прямо-таки гадко смотреть!

Тарань — это такая сушёная рыба.

По маминому исхудалому лицу и по той ничтожной шкатулке, которую она принесла заложить, он увидел, что с нею беда. Мама рассказала ему о моей скарлатине. Он проводил маму до самых ворот, а вечером явился к нам, как давнишний приятель, и, ни слова не говоря, щедрым жестом положил перед мамой перевязанную верёвочкой аккуратную пачку рублёвок.

— Спрячь сейчас же, — сказала мама, — или я позову Симоненко.

Симоненко был седой околоточный, который жил в нашем доме и каждый вечер уныло учился играть на трубе. И сейчас его труба издавала отрывистые, монотонные, безнадёжные звуки.

Циндилиндер засмеялся:

— Гы-гы. Не позовёте. Я знаю.

Мама разгневалась и выгнала Циндилиндера вон.

Вскоре он явился опять, и как-то незаметно получилось, что он сделался у нас в семье своим человеком.

«Мамин вор» — звала его Маруся.

Придёт в потёмках кошачьей походкой, и под его бесшумными воровскими ногами не звякнет даже тот железный заржавленный лист, который прикрывает нашу помойную яму. Яма вырыта неподалёку от наших окон. Всякий, кто идёт к нам с улицы, непременно наступает на лист, лист ударяется о чугунную решётку, на которой он неплотно лежит, и тогда раздаётся бряцание, заменяющее нам звон колокольчика.

Один только Циндилиндер умеет так ловко наступить на этот лист, что не слышится ни малейшего звука.

Ни с кем не здороваясь, он проходит на кухню, берёт с табурета ведро и идёт за водой — налить нашу опустелую бочку.

Так как мама вечно возится со стиркой, с лоханкой, воды ей требуется всегда очень много, а крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я должны добывать воду на далёких задворках одного из соседних домов, чтобы налить доверху ненасытную бочку, высасывающую все наши силы.

Принесёшь четыре ведра, и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести пятое, шестое, седьмое, иначе придётся идти за водою маме, а от этого мы хотим избавиться её — я и Маруся.

И вот теперь Циндилиндер сделался главным наполнителем бочки.

Оказалось, он совсем не такое «ледащо», каким мама сочла его в первое время.

Рысью бегают он к далёкому «кранту» с нашим зелёным ведром, не делая ни одной передышки, и лишь тогда останавливается, когда не только бочка наполнена доверху, но и маленькая кадка в прихожей, и жестянка для кипячения белья (которая стоит на плите), и чёрное ведро, и даже лейка для поливания цветов.

Вообще он как-то сразу вошёл во все хозяйственные интересы нашей семьи, и, когда по воскресным дням мама посылает его со мной на базар за селёдка-

ми, помидорами, баклажанами, грушами, «пшенками» (то есть кукурузными початками), он так бешено торгуется из-за каждой копейки, что мне становится совестно, и я краснею перед базарными торговками...

Задумавшись о Циндилиндере, о своём горе, о маме, я не заметил, как дошёл до нашего двора, как наступил на гулкое железо, прикрывающее нашу полойную яму (обычно я старался обрушиться на него всей своей тяжестью, чтобы оно прогремело погромче), и, сгорбленный, готовый заплакать, поднялся по трём деревянным ступеням и вошёл в нашу единственную комнату, которую мама называла «гостиной».



МАМА.— ДЯДЯ ФОМА



Мама стояла у гладильной доски, набирала в рот воды из медной кружки, так что щёки у неё надувались, а потом делала губами: пфр! пфр! пфр!

И изо рта у неё вылетали мельчайшие брызги на белую мужскую сорочку, распростёртую перед ней на доске. Потом она быстро хватала с опрокинутой самоварной конфорки чёрный тяжёлый утюг, и утюг как-то особенно весело начинал танцевать по сорочке, словно ему было приятно, что им управляют такие умелые руки.

Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо её, красивое и правильное, кое-где было тронута оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью.

Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл

мою маму прачкой, и очень удивился бы, если б услышал. Между тем в ту зиму она не разгибая спины стирала чужое бельё, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, её единственным заработком.

Держала она себя гордо, с достоинством. Ни с кем из соседей не водила знакомства. По праздникам, уходя со двора, надевала кружевные перчатки и стеклярусную чёрную шляпку, а узлы с бельём приносила ей на дом Маланка, дочка соседнего дворника, тоже чуть-чуть рябоватая. Маланка же и вывешивала бельё на «горище» (так назывался чердак), а порой во дворе, перед нашим окном, протянув верёвку между сараем и двумя вербами, которые росли неподалёку. Маланка называла маму «барыней». А торговки, которые приносили к нашему крылечку груши, яблоки, кабачки, огурцы, называли её «мадам».

Стирала она только по ночам, тайно от всех, а целыми днями стояла у гладильной доски с утюгом. Я даже и представить себе не могу нашу комнату без этой гладильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и всё это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу.

Три некрашенные ветхие ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу «шарувала» мочалкой с мылом, а однажды при луне я видел из окна, как моет она во дворе гладкие широкие плиты, которыми была выложена площадка перед нашим крыльцом. А самовар! А подсвечники! А медная ступка! Мама

чистила их даже тогда, когда они были совсем ещё чистые. В ночь спала она два-три часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха, если ей вдруг придёт в голову выбелить извёсткою погреб, выкопанный под нашей квартирой.

С каким презрением говорила она про мадам Шершеневич:

«Серьги золотые, а шея немытая!»

Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у неё под диваном оказалась пыль или за шкафом — паутина. А уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чём не просила. И походка у неё была величавая.

Говорила она по-южному, певуче и мягко, наполовину по-украински, наполовину по-русски. Маруся часто поправляла её:

— Так не говорят!

Но мне почему-то нравилось, когда вместо «шея» она говорила «шыя», вместо «умойся» — «умыйся», вместо «грязный» — «замурзанный», вместо «воробей» — «горобец».

— Ах, мама, ты опять сказала «цибуля»! Надо говорить не цибуля, а лук! — поучала её Маруся.

И мама так стеснялась своей прекрасной украинской речи, что при посторонних предпочитала молчать.

Была она очень доверчива. Перед тем как купить у захожей торговки груши, яблоки или, скажем, черешни, она простодушно спрашивала:

— А они хорошие?

— Хорошие, мадамочка, хорошие! — неизменно

отвечала торговка, отмахивая привычным движением руки кружащихся над её корзиною мух.

Узнав у торговки цену, мама задавала ей новый вопрос:

— А это не дорого?

— Не дорого, мадамочка, не дорого!

Когда же торговка отвешивала маме товар на своих сомнительных весах, мама спрашивала:

— А весы у вас верные?

— Верные, мадамочка, верные!

Мама вполне удовлетворялась такими ответами и была убеждена, что очень удачно купила хорошие и дешёвые фрукты.

Впрочем, если бы она и видела, что её надувают, она, по своей деликатности, вряд ли сказала бы об этом тем, кто надувает её.

Ночью, когда она мыла наш погреб или белила кухню короткой мочальной кистью, она сама для себя, в такт работе, напевала грудным, низким голосом: «Ой, за гаем, гаем», «Ой, пид вишнею, пид черешнею», и я очень любил слушать сквозь сон эти чудесные песни, доносившиеся ко мне издалека. Но в другое время она не пела почти никогда. И умолкала на полуслове, едва замечала, что её слушает хоть один человек.

Была она очень смешлива и, когда мы читали ей Гоголя или Квитка-Основьяненко¹, хохотала так, что было странно смотреть. Но я никогда не видел, чтобы

¹ Г. Ф. Квитка-Основьяненко — украинский писатель, автор юмористического романа «Пан Халявский».

она смеялась на людях или хоть раз улыбнулась, проходя мимо соседей по двору. Вообще с людьми она была очень сурова, ни к кому не ходила ни на именины, ни на свадьбы, ни в гости. И всякий раз, когда оставалась одна, на лице у неё застывало выражение глубокой печали.

А сегодня мама так весела, словно никакого горя и нет в её жизни. Глядит на меня задорно и молодо, еле сдерживается, чтобы не рассказать мне о каком-то весёлом событии.

— Где это ты пропадал? — говорит она мне без упрёка.

Ещё на улице, по дороге домой, я решил сразу объявить ей всю правду. Я даже составил готовую фразу, которую нужно сказать ей, чуть только я взойду на порог: «Мама, не пугайся, пожалуйста... Всё будет отлично... Даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня из гимназии».

Но не могу же я навалить на неё такое тяжёлое горе как раз теперь, когда она так весела!

Лучше я скажу ей потом... вечером... или завтра за чаем. Завтра, завтра, в половине восьмого... А сегодня незачем её огорчать.

Эта отсрочка страшно обрадовала меня — такой уж был у меня лёгкий характер. Я сразу повеселел и как ни в чём не бывало стал допрашивать маму, что такое случилось сегодня и отчего с дивана снят чехол.

Мама не ответила, но засмеялась негромко и указала подбородком в прихожую. Я бросился туда и

сейчас же увидел висящий на гвоздике кнут. Как это я прежде не заметил его! Я с восторгом схватил этот кнут (помню и сейчас чуть кривое его кнутовище, гладко отполированное ладонью владельца) и закричал вне себя:

— Дядя Фома приехал! Приехал дядя Фома!

От моих горестей почти ничего не осталось. Всё вокруг меня сделалось прекрасным и сказочным. Я бегу на кухню и щёлкаю, щёлкаю великолепным кнутом, но дяди Фомы там нет. Я заглядываю в погреб, в сарай. Я ищу его под кроватью, за бочками, и мне кажется, что, чуть я найду его, горе моё испарится совсем. И я опять бегу к маме и спрашиваю: «Где же дядя Фома?», но мама только смеётся загадочно и говорит, что он уехал к какому-то Фурнику, — ждал меня, ждал и уехал один далеко, на Пересыпь, к Фурнику, и неизвестно, вернётся ли. Но я чую милый его запах: дёгтя, мёда, деревенского хлеба и ещё чего-то уютного, поэтичного.

— Он здесь! — кричу я. — Он здесь!

И правда, он здесь, в двух шагах. Я распахиваю дверцы кладовой: вот он стоит не дыша, притаившись, чернобровый красавец в белой холщовой рубаше, и смотрит на меня без малейшей улыбки. А мама смеётся до слёз — она любит такие сюрпризы. И я тотчас начинаю кричать:

— Пўканцы! Пўканцы!

Потому что всякий раз, когда приезжает дядя Фома, он привозит с собой кукурузные зёрна в мешочке из белой холстины, и не простые зёрна, а диковинные.

Они кажутся нам заколдованными. Помочи их в воде, брось в духовку, и они начинают стрелять (только и слышно: пых! пых!) и прыгают как живые; и, чуть они прыгнут, скорее хватай их, чтобы они не сгорели, и смотри: из жёлтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы. Я готов стоять у раскалённой духовки весь день и бросать туда всё новые и новые зёрна и набивать пұканцами живот до отвала.

И мне даже самому удивительно: как это я, переживая такое тяжёлое горе, могу в то же время легко-мысленно радоваться каждому выстрелу кукурузного пұканца.

Впрочем, горе ушло от меня не совсем, я чувствую его даже тогда, когда выбегаю во двор в барашковой дядиной шапке и прыгаю, как дикарь, на помойке и щёлкаю звонким кнутом, а мальчишки глядят на меня и завидуют.

— У меня есть ёжик! — кричу я мальчишкам. — Мне привёз его дядя Фома!

И те, изнывая от зависти, бегут за мною по лестнице в погреб и смотрят на ёжика с таким восхищением, будто он кенгуру или слон.

В первую минуту, едва только я стал обладателем ёжика, я обрадовался ему, как родному. Я угощал его бураками, капустой и даже кусочками брынзы, которую дала мне к обеду Маруся, я хвастался им перед всеми мальчишками. Но вот мальчишки ушли, я остался один вместе с ёжиком в погребе, и глаза мои набухли слезами. Если бы он знал, этот ёжик, какая беда отодвинута мною на завтра и что ждёт

меня через несколько дней, он сразу подружился бы со мною, он прижался бы ко мне всеми своими колючками и замурлыкал бы, как ласковый кот. Но он даже не глядит на меня. Он свернулся в комок и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у него ноги и где голова.

Это кажется мне очень обидным. Я сердито швыряю в него остатки капусты и бегу по лестнице к дяде Фоме. Пусть расскажет мне сказку про хитрого шевчика (то есть сапожника). Я знаю её наизусть, но люблю слушать её ещё и ещё:

Сыдыть шевчик на стильци,
На кумови постыльци,
Накладае латы.
А тут двери в синцях скрып,
А там дали в хати рып,
Шелеп кум у хату.

Но дядя Фома занят труднейшим и серьёзнейшим делом: он сидит в «гостиной» вместе с мамой и, мрачно нахмурив свои чёрные брови, чинно и чопорно пьёт из стакана чай.

Удивительные у него сложились отношения с мамой. Он её единственный брат, она любит его всей душой, а он боится её как огня и чувствует себя рядом с ней словно скованный. Она говорит ему «ты», он ей «вы». Она ему — Фома, а он ей — Катерина Осиповна. Он совестится перед нею всех своих деревенских привычек; она, прачка, кажется ему важною барынею, а её убогая квартира — хоромами. Ни на секунду не забывает он, что он в городе, где надо го-

ворить по-городскому и ходить иначе, чем в деревне. Пить чай из стакана для него пытка; вилка, положенная возле тарелки с колбасой и таранью, до такой степени пугает его, что он и не берётся за еду.

Я тоже ни на секунду не забываю, что он деревенский. В деревне я не был ни разу, и потому «человек из деревни» для меня всё равно что краснокожий индеец, или пират, или капитан корабля. Я ложусь на гладильную доску и жду. Я знаю, что, когда чаепитие кончится, дядя Фома схватит свою деревенскую шапку и побежит в сарай к своей деревенской коняге,— и я побегу вслед за ним: там, в сарае, начнутся чудеса и забавы, откуда-то вынырнет шкалик — и дядя Фома вдруг окажется говорливым весельчаком, остроумцем, и все биндюжники вокруг него будут хохотать, «как скажённые», над каждым его словом, потому что, насколько я теперь понимаю, у него был талант юмориста.

Всякого человека умел он изобразить в смешном виде: и нашего домохозяина Спиридо́на Макри, и старика Исаака Мордухая, державшего кабак за углом, и мадам Шершеневич, и меня, и Марусю, и Маланку, и даже свою жену Ганну Дмитриевну: как она боится грозы и, увидев молнию, лезет в сундук.

Выпучив глаза, надует щёки, как-то странно уменьшится в росте, сунет себе в рот большой палец — и вот уж он другой человек: весь до последнего волоска превратился в седого усача Симоненка, который учится играть на трубе.

— А теперь Абрашку! Абрашку!

— Мотю! Мотю!

Мотя была кухаркой биндюжников, великанша с мужскими усами, вечно ругавшаяся рокочущим басом. Дядя Фома не то что передразнивал её, а прямо-таки превращался в неё: вот она стоит у плиты, воровски озираясь, и, вытащив из большого котла огненно-горячий кусок сала, прячет его на своей необъятной груди.

И хотя в руках у дяди Фомы — ничего, но видишь это мягкое, разваренное, горячее сало, от которого идёт белый пар, как оно обжигает ей руки и грудь, как она швыряет его обратно в котёл.

Зрители расслабили от смеха. Уже не хохочут, а стонут. Их набирается всё больше. Слышатся восторженные отзывы:

— Ну ж и холера, волдырей ему в голову!

Но, если в дверях позади показывалась хоть на мгновение мама, дядя Фома умолкал и даже закрывал себе шапкой лицо, а потом уходил в глубь сарая и начинал неуклюже возиться с каким-нибудь колесом или шкворнем. Это всегда удивляло меня, так как мама рада была бы поохотать вместе с ним.

Но дядя Фома робеет перед ней до безъязычия. Чинно и чопорно сидит он сейчас на диване и обжигает себе рот горячим чаем, не смея прикоснуться к колбасе, и молчит целый час, как немой. Мама заговаривает с ним на всевозможные темы, но он только «да» или «нет».

Впрочем, я не знаю, чем кончился их разговор, так как я глубоко заснул тут же, на гладильной доске.



СНОВА В ГИМНАЗИИ



а другое утро я проснулся чуть свет и хотел тотчас же броситься к маме, чтобы сказать ей ту фразу, которую приготовил вчера: «Мама, не пугайся, пожалуйста. Всё будет отлично, даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня из гимназии». Но тут мне пришла в голову дерзкая мысль: взять ранец и пойти в гимназию как ни в чём не бывало. Попроюсь туда тихонько, раньше всех. Сяду за свою парту и буду сидеть притаясь. Может быть, Шестиглазый не увидит меня: он ведь такой близорукий. А если и увидит — кто знает? — может быть, ему станет жалко меня, он махнёт своей маленькой ручкой и скажет: «Ладно, оставайся, но помни...»

А может быть, он забыл о вчерашнем, мало ли у него дел и забот! Пригрозил сгоряча, а потом и за-

был. Забыл, забыл! Он ведь и сам говорит, что из-за нас у него «мозги набекрень». Где же ему помнить о таких пустяках!

Мне так хочется верить в это, что через две-три минуты я начинаю воображать, будто и в самом деле никакой особенной беды не случилось, торопливо хватаю фуражку и выбегаю на безлюдную улицу, пристёгивая ранец на ходу.

В окне у часовщика на Канатной без четверти семь. Пахнет пылью и весенним дождём. В гимназии ещё нет никого. Приду до начала уроков и сяду тихонько повторять географию. Хорошо бы получить по географии пять. И по истории тоже. Вот даю себе честное слово здесь, на перекрёстке Канатной и Рыбной, что с нынешнего дня, если только я останусь в гимназии, я буду учиться как чёрт и сделаюсь по всем предметам первым, даже лучше Адриана Сандагурского, первого ученика во всей гимназии.

Справа, в переулке за Андреевской церковью, вся в утренних светло-вишнёвых лучах, видна белоснежная, окружённая садом женская гимназия Кроль. Там учатся Рита Вадзинская, Лёка Курындина и Тимошина сестра Лизавета. Я вглядываюсь в глубину переулка, исчерченного длинными тенями деревьев, и мне страшно хочется, чтобы там появилась Вадзинская. Мне даже кажется, я вижу её. Вот она идёт под деревьями, а солнечные блики и тени полосами пробегают по ней. Нет, это не она. Я ошибся.

Я влюблён в неё ещё с прошлого года. Стоит мне завидеть её издалека, и сердце моё холодеет, как

мятная лепёшка во рту. Мне становится так трудно идти, словно я иду по канату, протянутому высоко над домами. Никакие силы не могут заставить меня посмотреть ей в лицо. Она ещё далеко, за десять — двенадцать шагов, а шея у меня становится словно чугуная, и я от растерянности готов буквально провалиться сквозь землю.

И как мне странно, что все остальные нисколько не робеют перед нею, а разговаривают, как с самой обыкновенной девчонкой! И что отец её просто-напросто владелец «Соборной аптеки», у которого во всякое время вы можете купить мозольный пластырь. Объявления о его мозольном пластыре расклеены во всём городе на каждой стене.

Нас, гимназистов, в гимназию Кроль не пускают. Нам даже запрещают останавливаться возле гимназии Кроль. И всё же мы трое — Муня, Тимоша Макаров и я — в течение этой зимы умудрялись выручать гимназисток, когда на каком-нибудь уроке им приходилось особенно туго.

Мы придумали верный способ оказывать им дружескую помощь.

Не беда, что гимназистки сидят запертые в стенах своих классов, за две улицы от нашей гимназии. Всё же мы наладили с ними крепкую почтовую связь, которой могла бы позавидовать и настоящая почта.

В качестве почтальонов работали у нас учителя: Иван Митрофаныч и поп, причём они даже не подозревали об этом, потому что почтовыми ящиками, как

ни странно сказать, служили нам их же калоши — мелкие калоши Ивана Митрофаныха и глубокие калоши попа.

И тот и другой преподавали не только у нас, но и в гимназии Кроль. Каждый день и тот и другой путешествовали в строго определённое время из женской гимназии в мужскую и потом, через час, через два, снова шагали в женскую.

Раздевались они в общей шинельной, у сторожа Филиппа Моисейча, там же оставляли калоши. И уходили в учительскую.

Едва только они уходили, мы вбегали в шинельную и, озираясь как воры, совали руки в самую глубину их калош. Достав оттуда записочку, мы в течение ближайшего часа писали гимназисткам ответ и клали наше послание в ту же калошу.

Ничего не подозревавший учитель, хлюпая по грязи калошами, нёс это послание в гимназию Кроль, где его нетерпеливо поджидали кудлатая Симочка Глазер или тонконогая Ася Бонецкая.

Но теперь весна, улицы обсохли по-южному, и никто уже не ходит в калошах.

Вот и гимназия. Тяжёлая дубовая дверь. Никого ещё нет. Я захожу в вестибюль, оставляю на вешалке фуражку, пробираюсь в класс, сажусь за парту и начинаю из ранца учебники. «География» Георгия Янчина. Реки Сибири. Отлично! Раскрываю атлас и начинаю зубрить:

— Лена. Обь. Енисей. Колыма. Ангара...

Не проходит и четверти часа, как все реки Сиби-

ри в каком угодно порядке, враздробь и с конца, выучены мною назубок. Чудесные реки, многоводные, богатые рыбой! И какие звучные у них имена: Хатанга, Индигирка, Анадырь!

Теперь, когда меня каждую минуту могут выгнать из класса на улицу, всё здешнее кажется мне замечательным.

Вот пришли полотёры с окаменелыми лицами и, танцуя, натирают пол в коридоре. До сих пор мне не слишком-то нравился запах полотёрной мастики, а сегодня я с удовольствием вдыхаю его, потому что это — запах гимназии.

Вот поплёлся в учительскую, расчёсывая поломанным гребнем обвислые свои бакенбарды, учитель рисования Галикин (кличка — Барбос), он же надзиратель старших классов. Это хмурый, морщинистый, сердитый старик с осипшим голосом и пустыми глазами.

Он совершенно похож на дворнягу и даже кашляет, как простуженный пёс.

Но нынче мне мил и он, то есть не то чтобы мил, а жалок. Говорят, у него какая-то болезнь — катар. Жидкие его бакенбарды сегодня свисают как-то особенно грустно. Бедный, старый, облезлый Барбос! Легко ли ему злиться с утра до вечера!

А вот и учитель географии Волков Василий Никитич, благодушный чудак, для которого я и вызубрил нынче Хатангу, Ангару, Индигирку, Лену, Обь, Колыму, Енисей.

Но где же его друг и приятель, наш историк Иван

Митрофаныч, которого мы зовем Финти-Монти? Как я рад, что увижу сегодня его крупную, стриженую, круглую, лобастую голову!

Финти-Монти — человек не без странностей, и первая его странность такая: стоит ему рассердиться, он выпаливает, как пулемёт, целую обойму ругательств, без передышки, одно за другим. И всегда в одном и том же порядке:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-Монти! Жуки на заборе!

Все эти дикие слова вылетают из него единым духом. Их порядка он не нарушает никогда.

Вторая его странность такая: если вы не знаете урока, он подзовёт вас к себе, словно хочет приласкать и обрадовать:

— Ближе... Ещё... ещё...

Вы подходите вплотную к самой кафедре, и он говорит, улыбаясь приветливо:

— Возьмите, пожалуйста, пёрышко. Макните в чернила и поставьте себе в эту клеточку... нет, не сюда, а сюда... единицу.

Поставить себе единицу — всё равно что ударить себя по щеке. Вы ставите тоненькую, еле заметную.

— Но зачем такую тощую? Жирнее. Не стесняйтесь, пожалуйста.

Отчего он это делает, не знаю. Но к его чудачеству мы уже успели привыкнуть, и, так как единицы у Ивана Митрофаныча редкость, так как он ставит их только в том случае, если вы их заслужили вполне, эта процедура давно не вызывает обид.

Зато его уроки для всякого радость. Неужели меня выгонят отсюда и я больше никогда не услышу, как своим сиповатым голосом, медленно и сонно, как будто скучая, он изображает перед нами и самозванцев, и Грозного, и свержение татарского ига, и Владимира Мономаха, и Минина? От него мы впервые слышали имена Радищева, Рылеева, братьев Бестужевых, Петрашевского, Герцена, о которых в нашем казённом учебнике по русской истории не сказано ни единого слова, будто эти люди никогда не существовали на свете. Все его рассказы такие занятные, что даже пучеглазые братья Бабенчиковы слушают его разинув рот.

А вот и они. До чего краснощёки и счастливы! Идут к своей парте и громко сосут по дороге какую-то шоколадную сладость, утирая коричневую слюну рукавами.

Почему их, губошлёпов и лодырей, которые не интересуются ничем, кроме пакостных анекдотов и карт (я уверен, что и сейчас у них в ранцах есть истрёпанные игральные карты), почему этих скудоумцев, несмотря ни на что, награждают четвёрками, переводят из класса в класс и через три года сделают студентами в красивых мундирах, а я... Страшно подумать, что будет со мною.

Впрочем, что же мне жаловаться? Я ещё сижу за своей партией, как сидел вчера и неделю назад, и никто меня не гонит, всё отлично, и вокруг меня те же товарищи, с которыми я под одним потолком пробыл неразлучно пять лет.

Вот и Зуев. Идёт, семена по-старушечьи ножками, опустив на грудь свою тяжёлую голову.

Мне даже запах его издавна знаком: старушечий запах кофея, церковного ладана, уксуса, кошек и каких-то противных лекарств, вроде валерьяновых капель.

Сейчас, я знаю, начнёт он крестить по порядку мелкими и быстрыми крестами свою чернильницу, свои тетради, свою ручку с пером. А потом посмотрит на висящую в классе икону бородатого и лысого пророка Наума, перекрестится и скажет по-старушечьи:

Святой пророк Наум,
Наставь меня на ум!

Я ведь знаю его наизусть, знаю даже, что нынче с утра по случаю субботнего дня, ещё до начала уроков, он, вместо того чтобы повторять «Географию» Янчина, бегал по церквям и часовням и усердно молился о том, чтобы все учителя, за исключением двух-трёх, заболели холерой и умерли.

Вот и наш финансовый гений Аристид Окуджалла, маленький, юркий, как мышь. Уже два года он занимается в классе очень прибыльной и остроумной коммерцией: страхует нас от единиц и двоек. Перед каждым особенно страшным уроком — перед письменной алгеброй или устной латынью — вы идёте к Окуджалле и вносите в его кассу пятак. Если вы получите удовлетворительный балл, ваш пятак остаётся в кассе; если же кол или двойку, Окуджалла сразу облегчит ваше горе, ибо его касса тотчас же вы-

даст вам пять или шесть пятаков. Если вас не вызывали, ваш пятак пропадает.

В свою пользу Окуджалла удерживает очень скромный процент. Вообще он ведёт своё предприятие честно, не зарится на большие доходы, и фирма его процветает. Нет, если я останусь в гимназии, Окуджалла больше не получит от меня ни копейки. Я буду первый ученик во всём классе, и мне не нужно будет страховаться от двоек!

— Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма...

А вот исплаканный, несчастный Козельский. Сегодня и завтра ему предстоит просидеть в карцере по четыре часа «за подделку отметок и сокрытие своего дневника». Хорошо ещё, что отец его уехал в Тирасполь и тем избавил его от кулачной расправы. Отчего же он плачет, чужак? Я был бы рад просидеть в нашем карцере двадцать часов — нет, не двадцать, а двести, — лишь бы Шестиглазый оставил меня на этой скамье.

Вот и Муня Блохин. Запыхался, вспотел. Боялся опоздать и бежал всю дорогу. А живёт он далеко, на Молдаванке. И, как нарочно, он сегодня дежурный.

— Здравствуй, Муня!

— Пфа!.. Ты здесь?

Он смотрит на меня с удивлением и присаживается на край моей скамьи:

— А я слышал, что тебя...

Он делает жест кулаком, показывающий, как выталкивают человека за дверь.

— Муня, ведь и правда меня выгнали,— говорю я и хочу улыбнуться, но чуть только я выражаю моё горе словами, я впервые с необыкновенною силою чувствую всю отчаянность моего положения.

Мне становится так жалко себя, что у меня начинает дрожать подбородок. Я слышу, как мои редкие слёзы падают на «Географию» Янчина, орошая и без того многоводные реки Сибири: Хатангу, Индигирку, Анадырь.

— Меня выгнали... И всё же я пришёл... потому что...

Он понимающе кивает головой.

— Я пришёл и сижу... Как всегда... И думаю: а вдруг не заметят, забудут... Я пришёл и сижу, потому что...

Я стараюсь плакать беззвучно. И плачу до икоты, до бульканья в горле.

Он с сомнением чмокает губами:

— Ты думаешь, не заметят? Ой-ой!.. А впрочем, откуда мы знаем? Посмотрим. И... садись-ка ты лучше сюда. Ты — на моё место, а я — на твоё. Раздвину локти, и вот тебе ширма.

Это очень ничтожная помощь, но другой оказать он не в силах. Я хватаюсь и за эту соломинку.

К счастью, мною никто не интересуется, хотя теперь без трёх минут половина десятого, когда надзор особенно силён. В это время по коридору всегда проносится, как летучая мышь, Шестиглазый, заглядывая по порядку в каждый класс, и в каждом говорит одно и то же:

— Прекратите — немедленно — этот — безобразный — галдёж.

И проходит на цыпочках дальше какой-то чрезвычайно затейливой и хлопотливой походкой.

Тут же расхаживает между классами наш красноносый инспектор Прохор Евгеньевич. Он суёт голову в каждую дверь и говорит своё обычное:

— Пш!..

Прохор Евгеньевич (или попросту Прошка) ещё хуже Барбоса. Вечно он подкарауливает, подслушивает, подглядывает, ходит на мягких подошвах, охотится за каждым гимназистом. Это кляузник и соглядатай, ненавистный нам всем. Если ты вышел на улицу после семи часов вечера, если ранец у тебя не пристёгнут на оба крючка, если ты, обходя лужу, зазевался и не снял фуражки перед каким-нибудь отставным генералом, Прошка запишет тебя в зелёную книжечку, и завтра же тебя посадят в карцер после занятий на час или два.



ЗА СПИНОЮ У МУНИ



Позвонил звонок, и в комнату впорхнул м-сье Лян, учитель французского, вытирая свой крохотный лобик концом тёмно-лилового шарфа. М-сье Лян мне несколько не страшен. Хотя он приехал в Россию давно, но всё ещё не понимает по-русски.

М-сье Лян кажется человеком, упавшим с луны: не знает в лицо ни одного гимназиста, никогда не соображает, в каком он находится классе, и в течение нескольких лет не научил нас ни единому французскому слову. Впрочем, нет: одно французское слово мы все знаем твёрдо. А именно: что Лян (l'âne) — это осёл.

Меня и теперь удивляет, почему у него такая фамилия. Осёл ли он, я сказать не могу, потому что ни

разу не разговаривал с ним. В классе есть семь или восемь счастливицев, которые чуть не с пелёнок знают французский язык. С теми он болтает самым дружеским образом и часто во время разговора смеётся, всякий раз поднимая палец, перед тем как состричь. На остальных он не обращает внимания. Кажется, если бы вместо меня посадили на мою парту Циндилиндера или Ваську Печёнкина, и тогда м-сье Лян ничего не заметил бы.

Но всё же в нём есть что-то милое. Нынче я вижу это особенно ясно. Даже его достопримечательный шарф не вызывает во мне обычной насмешки. В сущности, чем же он плох, этот шарф? М-сье Лян не только обматывает им свою тощую, зябкую шею, но и чистит им туфли, и стирает им мел с доски. В него же он часто и гулко сморкается.

«Если я останусь в гимназии, я в два-три месяца непременно выучу французский язык», — говорю я себе, глядя не без зависти, как бойко разговаривают с Ляном Сандагурский, Сабуров и другие «аристократы» нашего класса. «А шарф можно выстирать, и он опять будет чистый».

Но вот загремел звонок. Все выбежали в коридор — на перемену. Я же продолжаю сидеть притаясь. Так как дежурный — Муня, никто не тревожит меня.

Муня открывает в классе форточку и бежит в канцелярию за бутылкой чернил, но сейчас же возвращается взволнованный:

— Идут! Шестиглазый и Прошка!

Я бегаю в испуге по классу. Где спрятаться? За печкой? Под кафедрой? Но пугаться было нечего: Шестиглазый и Прошка проходят мимо и направляются в соседний класс — в шестой.

Как мы узнали потом, в этом классе произошло небольшое событие: в ящик для мела под классной доской кто-то с самого утра сунул кошку.

И вот теперь Шестиглазый и Прохор нагрянули на место преступления с Василием Афанасьевичем, Барбосом и Пыжиковым (надзирателем младших классов, помещавшихся на нижнем этаже) и чинят там суд и расправу. Значит, я могу ничего не бояться по крайней мере полчаса или час. Следующий урок — геометрия — тоже миновал благополучно.

И так как в шестом классе всё ещё не кончилось «дело о кошке» (нет сомнения, что Шестиглазый произносит там вдохновенную речь), я пользуюсь этим вовсю: выбегаю во время второй перемены из класса и мчусь по всему коридору — от стены, где висят часы, до стены, где висят иконы (стена огорожена деревянной решёткой, и за этой изгородью Шестиглазый устроил небольшую молельню, как бы специально для Зуева, который, даже пробегая в уборную, останавливается здесь покреститься).

Я неудержимо ношусь взад-вперёд, скользя, как по льду, по вощёному полу, и заглядываю вместе со всеми в стеклянные двери шестого класса: гимназисты всё ещё стоят, как солдаты, навтыжку, а Бургмейстер по-прежнему пилит их деревянной пилой своего красноречия.

Звонок. Пробегая к парте, я издали вижу обрадованные глаза моего друга Тимоши. Должно быть, он всё время тревожился, не зная, куда я пропал. Я усаживаюсь поскорее на место и открываю учебник по русской истории. Царствование Екатерины Второй. Параграф восьмой и девятый. Сейчас войдёт сюда Иван Митрофанович, и я опять услышу его милую, безобидную ругань: «Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-Монти! Жуки на заборе!»

Но вошёл не Иван Митрофанович, вошёл Шестиглазый, а вслед за ним какой-то высокий, кудрявый, могуче сложенный мужчина с широкой холеной, волнистой бородой.

Шестиглазый надел пенсне сверх своих обычных очков (оттого и называли его Шестиглазым), выступил вперёд и сказал:

— Я пришёл, чтобы познакомить вас с вашим новым учителем, Игорем Леонидовичем Гудима-Карчевским, и сказать вам, что вы должны быть благодарны судьбе за то, что она посылает вам такого наставника. Те исконно русские начала государственной власти...

Дальше пошли непонятные и нудные фразы, но одно стало ясно после первых же слов: Иван Митрофанович ушёл из гимназии и уже никогда не вернётся.

Вскоре Шестиглазый исчез. Новый учитель вдруг, к нашему изумлению, трижды перекрестился на икону пророка Наума, потом поднял могучие плечи, будто приготовился к бою, и крупным, уверенным шагом пошёл по рядам.

— Что вам задано? — воинственно обратился он к Тюнтину.

— Екатерина Вторая, параграф восьмой и девятый.

— Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы!

— Нам задана Екатерина Великая, параграф восьмой и девятый.

— Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы!

Кого бы он ни спрашивал, все отвечали ему одинаково, и каждого он заставлял «стоять столбом». Таких «столбов» набралось уже больше десятка. С отворачиванием посмотрел он на них, как смотрят на мокриц или жаб, и наконец проговорил расслабленным, обиженным, страдальческим голосом, очень медленно отчеканивая каждый слог:

— Не Екатерина, а им-пе-ра-три-ца Екатерина Великая. Екатериной вы можете называть вашу дворничиху... Но го-су-да-ры-ня им-пе-ра-три-ца... Она исправляла нравы, насаждала науки, осчастливила нашу отчизну завоеванием новых земель...

Было похоже, что он сию минуту заплачет.

— И вообще предупреждаю, что всякий из вас, — продолжал он тем же детским, обиженным голосом, который так не шёл к его огромному росту, — кто на уроке истории скажет мне о каком-нибудь из самодержавных им-пе-ра-то-ров русских просто Павел, или просто Николай, или Иван получит от меня (тут лицо его засияло, как солнце)... е-ди-ни-цу.

Уже прозвенел звонок и началась большая перемена, а он всё ещё продолжал говорить.

Блохин повернулся ко мне и сказал:

— Это же чёрт знает что: из-за такого шпендрика прогнать Финти-Монти!

— А разве Финти-Монти прогнали?

— Пфа! Ещё на прошлой неделе. В субботу.

— Откуда ты знаешь?

— Пфа!

Блохин жил на квартире у нашего географа Волкова и знал от него много гимназических тайн.

Кто же прогнал Финти-Монти? И за что? За какие грехи? Не было в нашей гимназии учителя, к которому мы, гимназисты, питали бы более нежные чувства. Это был наш верный союзник и друг.

Помню, к нам на экзамен, когда мы переходили из третьего класса в четвёртый, неожиданно приехал в роскошной карете главный начальник всех церквей и священников — преосвященный архиерей Диомид. Его встретили на лестнице специальным приветственным гимном. Шестиглазый и другие педагоги сгруппировались в прихожей, чтобы поцеловать ему руку, а мы, гимназисты, сидели в своём классе, дрожа и холодея от страха, ибо в присутствии такого большого начальства нам на экзаменах не будет поблажки. Закон божий считался тогда важнейшим и труднейшим предметом — нужно было знать наизусть десятки всевозможных молитв и евангельских текстов, — и провалиться на этом экзамене было бы для каждого из нас великим несчастьем.

Но вот, покуда Шестиглазый и вся его свита суетились в прихожей, в класс вошёл Финти-Монти, и в

какие-нибудь две-три минуты все мы были спасены от грозящей нам гибели.

Молча, не говоря ни единого слова, Финти-Монти приблизился своей тяжёлой и спокойной походкой к столу, застланному синим сукном, взял с самого края семь или восемь билетов, по которым нам предстояло отвечать на экзамене, и стал медленно показывать их изумлённому классу — достаточно медленно, чтобы мы успели запомнить, в каком порядке они лежат на столе. Потом проделал то же самое с другими билетами, и к тому времени, как архиерей, почтительно поддерживаемый с обеих сторон Мелетием, Шестиглазым, Барбосом и Прошкой, был водворён наконец на своё почётное место за экзаменационным столом, каждому из нас было твёрдо известно, где, на каком именно участке стола, находится наиболее желанный билет. Из всех билетов я, например, лучше всего вызубрил 24-й. Заприметив, что он лежит возле чернильницы справа, я, когда пришла моя очередь, уверенно протянул к нему руку и отбарабанил свой ответ без запинки. Слушая меня, преосвященный благосклонно кивал головой и поставил мне круглое пять.

Таких же пятёрок почти поголовно удостоились и другие мои одноклассники. И всё это благодаря Финти-Монти, который, как узнал я впоследствии, был ярым противником попов и поповщины.

Кроме того, каким-то инстинктом мы чувствовали, что он, как и мы, ненавидит Шестиглазого и всех его «архангелов», как он выражался, и что они ненавидят его.

Наконец-то новый учитель Гудима-Карчевский направился к двери. Все с рёвом и топотом, свистя и толкая друг друга, помчались вслед за ним в коридор.

Выбежал вместе со всеми и я, стараясь, по возможности, держаться в самой гуще толпы, чтобы меня не заметили ни Прошка, ни Барбос, ни Бургмейстер. Только бы прошла большая перемена! А потом уж нечего бояться!

Следующий урок после большой перемены — латынь. Мои товарищи её терпеть не могут. Я же с самого первого класса полюбил этот язык, как родной. Всякое латинское слово кажется мне драгоценностью: оно такое красивое, простое, благородное, гордое, звучное, что я рад повторять его множество раз, как повторяют любимую песню. И я знаю, что, если Игнатий Иванович Кавун, наш латинский учитель, вызовет меня сегодня к доске, он будет после каждого ответа кивать мне румяной своей головой и приговаривать «бене» («бене» — по-латыни «хорошо»). Кавуну мне бояться нечего. Кавун всегда и везде за меня.

А потом география. Тоже не страшно. Многоводные реки Сибири — Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма.

А потом домой, к себе на Рыбную!.. А дома — дядя Фома! А завтра — воскресенье! А в погребке — ёж! А ко мне придёт мой любимый Тимоша, самый закадычный мой друг!



«НИ В ПАРАДНЫЙ, НИ В ЧЁРНЫЙ!»



Мы подружились с Тимошей ещё в первом классе, на девятом году нашей жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию.

Помню, тогда в коридоре возле нашего класса полыхнуло из печки пламя; кто-то сказал: «Пожар!» Это испугало Тимошу, и он пожаловался, сильно заикаясь:

— У м-м-меня инда сердце трепещет.

И даже не «трепещет», а «тряпещет». Многие из нас, несмотря на испуг, засмеялись: таким необычным показалось нам это «инда» и это «тряпещет». Тимоша только что приехал из Архангельска, и его северная русская речь, без всяких примесей нашего южного говора, показалась большинству диковатой.

Никому из нас он тогда не понравился: веснушчатый, с большими ушами, заика. Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней стал его терпеливым и снисходительным слушателем.

Сначала я слушал его только из жалости, чтобы не обидеть его. Но вскоре произошла очень странная вещь, которой я и до сих пор не могу объяснить: разговаривая со мною, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался по-прежнему, но, когда мы оставались вдвоём, речь его становилась текучей и гладкой, как у всякого другого мальчишки. На том чудесном северном наречии, которое он привёз с собою с Белого моря к Чёрному, он рассказывал мне о Синдбаде-Мореходе, о птице Рох, о лампе Аладдина, о волшебных пещерах, наполненных золотыми сосудами, о подземных садах, где копошатся чудовища, и, главное, о контрабандистах и весёлых разбойниках, которых он будто бы видел своими глазами.

Его отец был начальник морской таможни и ловил контрабандистов десятками,—так, по крайней мере, говорил мне Тимоша.

Потом я понял, что его рассказы о контрабандистах — фантазия, но тогда я верил им и они волновали меня.

Контрабандисты в этих рассказах были все как на подбор смельчаки, великаны, с длинными пистолетами в белых зубах, но Тимошин отец был смелее

их всех: он в страшную бурю выезжал на таможенном катере один против всех и, смеясь над их выстрелами, брал их в плен, как Гулливер лилипутов.

Я очень удивился потом, увидев его отца: этот грозный сокрушитель пиратов оказался самым обыкновенным чиновником — лысоватый, с землистым лицом, в тёплых валенках, которые он носил даже летом, потому что страдал ревматизмом.

Может быть, Тимоша оттого и выдумал себе другого отца, что его подлинный отец был такой чахлый и скучный.

О подвигах этого выдуманного отца Тимоша рассказывал мне чаще всего на задворках нашего дома. Там стояли «каламашки» — некрашенные полукруглые ящики, похожие на глубокие большие корыта, в них вывозили накопившийся мусор и снег. В свободные часы мы с Тимошей любили забираться в каламашку, ложились на её занозистое, корявое дно и шептали друг другу всякие небылицы и выдумки. Это у нас называлось почему-то «говорить про Багдад».

Позже, когда мы перешли в третий класс и стали читать из недели в неделю бурнопламенный журнал «Вокруг света», который выписывала Тимошина мать, мы стали в той же каламашке рассказывать друг другу истории о следопытах, людоедах, ковбоях, огнедышащих горах и африканских миражах.

Замечательно, что, едва только попадали мы на дно каламашки и, качаясь, как в лодке, начинали говорить «про Багдад», мы словно переселялись в другую страну и сами становились другими, не такими,

какими были за минуту до этого, когда дразнили на улице козла Филимона или воевали с ордою печёнкинцев.

Там же, в каламашке, уже будучи в пятом классе, я открыл Тимоше две важные тайны, которых не открывал никому: что я влюблён в Риту Вадзинскую и что я сочиняю стихи. Об этом я говорил ему только в каламашке. Едва мы вылезали оттуда наружу, все подобные разговоры у нас прекращались, и Тимоша страшно удивился бы, если бы в классе или на улице я сказал хоть одно слово о том, о чём мы говорили в каламашке.

Сейчас Тимоша подбегает ко мне возбуждённый и радостный:

— Вот как хорошо обошлось! Теперь уж тебе нечего бояться! Видать, Шестиглазому и самому стало стыдно, что он зря на тебя наклепал.

Он хлопает меня по плечу, и у меня сразу отлегает от сердца. В самом деле гроза миновала. Все мои тревоги рассеиваются, и я чувствую дьявольский голод. Вернее, только теперь замечаю, как сильно проголодался с утра. Ведь утром я не ел ничего, убежал спозаранку и не захватил с собою ни денег, ни завтрака.

Как раз в это время толпа гимназистов штурмует в коридоре покрытый грязноватою скатертью стол, на который навалена груда съестного: колбаса, ветчина, бутерброды. Попрошу Пушкина, чтобы продал мне в долг бублик «семитати» или французскую булку.

Пушкин смотрит на меня недоверчиво, но всё же после небольших колебаний достаёт из корзины сморщенную вчерашнюю булку и безрадостно сует её мне. Ой, какая маленькая! Мне бы таких пять или шесть!

— Пушкин, нельзя ли ещё?

Но тут я слышу у себя за спиной:

— Па-азвольте! Па-азвольте! Па-дождите минутку!

Оглядываюсь — Прощка.

Жёлтые тараканьи усы. Помятое лицо. В голубых глазёнках удовольствие.

— Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?

Я растерянно гляжу на него и почему-то показываю ему французскую булку:

— Вот... Я купил... То есть не то что купил, но... Я завтра отдам... А сегодня...

— Здесь вам не булочная, уважаемый сэр, — говорит он громко, на всю залу. — Или вы не заметили — на дверях у нас вывесочка: «Посторонним вход строго воспрещается».

Гимназисты окружают нас молчаливой толпой. Их не меньше ста, а откуда-то мчатся ещё и ещё. Двое или трое — со скрипками; должно быть, у них только что кончилась музыка.

— Здесь вам не булочная, — повторяет Прощка язвительным голосом, глядя не на меня, а на публику. Он потирает руки, он выпятил грудь. Он похож на актёра, который дорвался наконец до любимой выигрышной роли и собирается сыграть её под аплодисменты восторженных зрителей.

— Прохор Евгеньич, — лепечу я бессвязно, — я ни в чём... Спросите у Козельского... у Зюзи. Зюзя, отчего ты молчишь? Ведь ты знаешь, что я даже не видел твоего дневника. Честное слово, не видел. Все мои товарищи скажут. Вот и Тюнтин... спросите у Тюнтина.

— Нет-с! Извините! Ваши товарищи — вон они!

И Прошка указывает рукою в окно. Там на панели под мартовским солнцем, у железной решётки монастырского сада, сгрудились оборванные бездомные дети, которых в нашем городе называют «босьянками».

— Не прикажете ли пригласить этих джентльменов сюда? — спрашивает Прошка насмешливым голосом. — «Садитесь, дорогие, за парты, мы научим вас алгебре, химии, всем языкам».

Это любимая Прошкина тема. В течение многих лет он не раз повторял, что гимназии существуют для избранных.

Сегодня он говорит об этом особенно красноречиво и долго. И тут только я замечаю, что справа, у двери в «рыдальню», тихо стоит Шестиглазый и, зажавшись, кивает головою.

Прошка — его обезьяна: подражает ему во всех своих жестах и произносит такие же цветистые речи. И даже щурится близоруко, совсем как Бургмейстер, хотя зрение у него очень хорошее.

Я слушаю его как в тумане. Прямо против меня стоит взволнованный, бледный Тимоша, и в его зелёных глазах — пламенная ненависть к Прохору. Щёки его дёргаются в судороге, губы непрерывно шевелятся. Он силится что-то сказать, но не может, потому

что он заика; при малейшем душевном волнении у него отнимается язык, и он только мычит от натуги.

Тут же стоит Людвиг Мейер, восьмиклассник, и смотрит на меня с явным сочувствием.

— Будьте же любезны удалиться! — обращается ко мне Прошка с преувеличенной вежливостью. — И как это он ловко прокрался сюда! — говорит он совсем другим голосом, обращаясь к молодому служителю Косте. — «Я, Прохор Евгеньич, за булочкой!»

— Да он тут с утра! — кричит Тюттин.

— С утра?.. Угу-гу! Ты, Костя, гляди и помни: чуть увидишь этого синьора — ни в парадный, ни в чёрный. В прихожую — и то воспрещается... По-жалуйте, молодой человек!

— Прохор Евгеньич! — кричит издали Муня Блохин, протискиваясь к нему сквозь толпу. — Прохор Евгеньич, вы, должно быть, не знаете... Я сейчас вам скажу...

Прошка глядит на Блохина тем зловещим и многозначительным взглядом, каким обычно глядит Шестиглазый на самых закоренелых «рыдальцев», и, не ответив ни слова, обращается ко мне с той же насмешливой вежливостью:

— Берите, молодой человек, ваши вещи, если они у вас есть, и пожалуйста за мной... Вот сюда-с!

Он показывает мне дорогу — «направо-с», «налево-с», как будто я здесь никогда не бывал, и ведёт меня к выходу, как полицейский своего арестанта: он — впереди, сбоку — Костя.

— Погодите, пожалуйста! — кричит Муня Блохин,

затёртый толпой первоклассников, хлынувшей из нижних коридоров.

Я иду опустив глаза. Почему-то мне так стыдно перед идущими вслед за мною товарищами, словно я пойманный вор.

Наконец Муне удаётся протиснуться к Прохору:

— Прохор Евгеньич, его только на две недели... Только до постановления совета. Я слышал. Мне сказали... Вы, должно быть, не знаете...

— Совет уже заседал вчера вечером. Экстренно. И постановил: исключить. Его и ещё двоих.

Услышав эти страшные слова, я не грохнулся на пол, не завопил, не заплакал. Для нового горя во мне уже как будто нет места.

Тимоша что-то говорит мне, но что — я не понимаю, не слышу. Я как будто онемел и оглох.

Мы начинаем спускаться в шинельную. Здесь я знаю каждую ступеньку, каждое пятно на стене. Какими испуганно круглыми, большими глазами глядят на меня первоклассники, девятилетние мальчишки, толпящиеся внизу, в вестибюле! Должно быть, им кажется, что я самый настоящий разбойник, который, если вырвется, наделает бед.

Сгорбленный и несчастный, я спускаюсь по лестнице.

В шинельной я вижу Мелетия. Он стоит перед зеркалом и старательно приглаживает маленькой щёткой свои жидкие белёсые брови. Я кланяюсь ему в зеркало, по старой привычке. Он смотрит на меня, как на забор или дерево.

Прошка звонко кричит Моисеичу:

— Подайте молодому человеку фуражечку!

Подавать гимназистам фуражки — такого обычая у нас не бывало.

Я хочу шагнуть к своей вешалке (знакомая вешалка — номер одиннадцатый, первая слева), но Прошка удерживает меня за плечо:

— Не трудитесь, пожалуйста. Вам сейчас подадут.

И, перехватив мою фуражку — недавно купленную, с белыми кантиками, — он делает ужасную вещь: выламывает из неё мой гимназический герб и отдает её мне — без герба! В отчаянии я выбегаю в этой опозоренной фуражке на улицу, а губы мои сами собой повторяют:

— Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма...



БИТВА И ПОБЕДА



Герб у меня на фуражке был такой: два дубовых листочка, между ними две буквы и цифра — название нашей гимназии.

Был он сделан из белого металла «фраже» и потому назывался серебряным. Цена гербу — тридцать копеек, но мама готова отдать за него несколько лет своей жизни, лишь бы он блестел у меня на фуражке.

Мама знает, что тот, у кого на фуражке есть герб, может сделаться важным адвокатом, или доктором, или знаменитым профессором. А тот, у кого на фуражке нет этих белых дубовых листочков, может во всякое время пойти в босяки и сгнуться в морозную ночь под эстакадой в порту.

Конечно, хорошо было бы стать матросом Добровольного флота или кузнецом вроде Васьки Печёнкина, но для этого нужна богатырская сила — вон какие у Васьки Печёнкина могучие мускулы! Я как раз подхожу к его кузнице на углу Канатной и Базарной и останавливаюсь под проржавленной вывеской, на которой намалёваны большая подкова и маленькая красная двуногая лошадь. Он гол до пояса и чёрен, как негр. Тело его лоснится от пота. Одною рукою поднимает он молот, какого я не подниму и двумя, и, будто балуясь, бьёт молотом по раскалённой болванке, которую вертит щипцами, как лёгкую трость. И кажется, что вся его цель — выбить оттуда возможно больше взлетающих красными фонтанами искр. Нет, я слаб и неловок, не гожусь в кузнецы.

— Хатанга, Ангара, Индигирка...

Вот и дом Макри, вот и наша помойная яма, прикрытая железным листом. Страшно воротиться домой без герба! Но — счастье! — мамы нет дома. Мама и дядя Фома ушли на кладбище, на могилу моей тётки Елены, которой я никогда не видал; она умерла от холеры. А кладбище далеко, за вокзалом, за Чумкой. Вернутся они часам к десяти, даже позже. Значит, мама и сегодня не узнает о нашей беде. Я расскажу ей обо всём завтра вечером, когда уедет дядя Фома. Или лучше послезавтра утром, в понедельник. А послезавтра — это так далеко, впереди ещё тридцать семь или тридцать восемь часов! Мало ли что может случиться за эти тридцать восемь часов!

Конечно, я хорошо понимаю: радость моя безумна и надеяться не на что. Я знаю: тридцать восемь часов — ужасно короткое время, которое пролетит как минута. И всё же мне очень приятно, что в квартире одна Маруся.

Охваченный легкомысленной радостью, я выбегаю во двор и, добежав до ворот, взбираюсь по канату на горище, где среди всякого хлама есть у меня небольшой закуток, носящий индейское имя «Вигвам». Кроме Тимоши, об этом «Вигваме» не знает ни один человек, вход в него забаррикадирован пустыми бочонками с надписью «Портландский цемент», и нам приходится под самым потолком протискиваться в него, как в ущелье. В «Вигваме» у меня очень чисто, уютно и тихо. Пол вымыт (по-маминому) мочалкой и мылом — легко ли было протискивать сюда вёдра с водой! — стены оклеены страницами журнала «Будильник», который подарил мне усач Симоненко. На полу — охапка прошлогоднего колкого сена, все ещё пахнущего ромашкой, полынью и мятой. На стенах развешано моё боевое оружие: рогатка, стреляющая на тридцать шагов, и полукруглый железный, ярко размалёванный щит, сделанный дядей Фомой.

Здесь, в «Вигваме», прошедшим летом я сочинил свою «Гимназиаду», поэму о разных событиях нашей гимназической жизни. Поэма написана в трёхкопеечной школьной тетради, а тетрадь засунута за потолочную балку — там её никому не найти.

Чтобы добраться до потолка, нужно стать на бо-

чонок, а бочонок ветхий и шаткий. Но всё же я вскарабкиваюсь на него кое-как и сую за балку ещё одну вещь — мою бедную, опозоренную Прошкиными руками фуражку — фуражку, из которой выломан герб.

Мне сразу становится легче, и я спешу воротиться домой.

Маруся, сгорбившись, сидит на диване. Глаза её вонзились в библиотечную книгу. Книга называется так: «О чём щебетала ласточка». Маруся читает её чуть не двенадцатый раз.

— Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, пожалуйста, не мешай мне читать, — говорит она, не отрываясь от «Ласточки». Голос у неё сухой и отчётливый, будто она диктует диктант.

Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь её больше, чем маму. Она первая ученица в гимназии и уже зарабатывает ежемесячно четыре рубля, так как даёт уроки племяннице мадам Шершеневич. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьёзная, и попрекают меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, и для неё это большая обида.

Мне очень хочется быть таким же серьёзным, как Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она пробовала воспитывать меня на свой лад и в конце концов махнула рукой. Года три назад она сказала мне каким-то неожиданным, мальчишеским голосом:

— Хочешь играть в путешествия?

Я ответил:

— Ещё бы!

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять узеньких листочков бумаги, написала на них старательным почерком «Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» и приколола их булавками в разных концах нашего большого двора. Кухня для биндюжников оказалась Америкой, крыльцо усаха Симоненко — Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала:

— В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны такие-то, климат такой-то, растения такие-то.

А потом сказала:

— Повтори.

Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! Путешествовать — значило для меня мчаться по прериям, умирать от жёлтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров, и вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к бумажке и заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий! Марусе эта игра была по сердцу — полезная игра, поучительная. Я убежал от неё со слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался в «Вигваме» на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что я лег-

комысленный лодырь, и говорит со мною, как с жалким ничтожеством. Когда я кончил обед и вымыл посуду, она позвала меня и негромко сказала:

— На твоём месте я принесла бы воды, потому что обе бочки абсолютно пустые!

Она любит слово «абсолютно» и другие книжные слова, каких кругом никто не говорит: «с точки зрения», «интеллект», «индивидуум».

— Есть! — говорю я со смехом и сам удивляюсь: откуда у меня этот смех? Будто и не было со мною несчастья!

Я беру зелёное ведро и быстро выбегаю на улицу.

Кран — в доме Петрокино, на далёких задворках, где тоже волы, биндюги и биндюжники. Биндюги — это особые телеги, длинные и очень тяжёлые. В каждую такую телегу впрягается пара волов, и рано-рано, ещё до рассвета, два-три десятка телег медленно тянутся в гавань — выгружать и нагружать пароходы. Рядом с волами шагают биндюжники — могуче сложенные загорелые люди в изодранных линялых рубашках. Весь день под жестоким солнцем они бегают по сходням с семипудовыми мешками коринки, ванили, канифоли, зернового зелёного кофе, красного перца, винных ягод, маслин, миндаля. Запахами этих товаров они пропахли насквозь — запахами Турции, Греции, Малой Азии, Африки. Биндюжники любят меня (хоть и зовут «гандрыбатым») и зачастую насыпают мне полную жменю¹ подсолнухов или сладких рожков.

¹ Ж м е н я (укр.) — горсть.

Сегодня, впрочем, биндюжников нет. По случаю субботы они в бане. Через минуту я уже с полным ведром снова шагаю по Рыбной.

Возле дома Вагнера я останавливаюсь отдышаться, ставлю ведро на панель, хоть и знаю, что мне угрожает опасность, потому что дом Вагнера — особенный дом. В нём живут мои враги. Я никогда не решился бы войти в этот дом, так как твёрдо уверен, что там выкололи бы мне глаза, вырвали бы язык, отрубили бы уши.

Дом набит озорными мальчишками, которые с древних времён ведут с нашим домом войну.

Их предводитель — кузнец и жестянщик Печёнкин, и мы всех их называем «печёнкинцами».

Когда кто-нибудь из нашего двора проходит мимо печёнкинцев с ведром воды, они стараются плюнуть в ведро или набросать туда дряни.

Мы, жители дома Макри (они зовут нас «макряхами»), тоже не даём им проходу и пытаемся напасть как только можем. У младшего хозяйского сына Кириака (или Киры) Макри есть рогатка, и из неё он поражает печёнкинцев, которые, проходя мимо нас, показывают нам язык или кукиш.

Я страстно ненавижу их всех и не поверил бы, если бы мне сказали в ту пору, что они такие же люди, как мы, жители дома Макри.

Особенно я ненавижу Фичаса, мальчишку лет четырнадцати, с длинной и узкой, как огурец, головой. Вот он притаился за уступом стены в воротах и подстерегает меня, выпатив рыхлое брюхо.

Я останавливаюсь в пяти шагах и жду, чтобы на улице показались прохожие, которые защитили бы меня от него. Но улица пуста. Я перехожу на другую сторону — туда, где казарма. Из окна казармы глядит на меня офицер, равнодушный, как чугунная тумба. Я бегу что есть силы. Но вода выплёскивается из ведра, и нужно замедлить шаг. В руке у Фичаса кизяк — круглый, чёрный, засохший воловий навоз.

— Опа-пá! — кричит Фичас, как краснокожий индеец, и скачет через улицу ко мне.

Я отбегаю к воротам казармы. Из ведра выплёскивается ещё больше воды. Я ставлю ведро у стены. Фичас снова кричит «опа-пá» и с разбегу ударяет меня головою в живот. Я отлетаю к стене и с отчаянием вижу, как он дважды плюет в ведро и швыряет туда весь свой кизяк. Слюна у него белая, как лошадиная пена.

Я взвизгиваю и хочу вцепиться в его щёки. Но он опять отбрасывает меня к той же стене и победоносно кричит:

— Опа-пá!

Из окошка равнодушно глядит офицер.

И вдруг — о радость! — ко мне на помощь приходит могучий союзник; он выскакивает из казармы и налетает на врага, как паровоз.

Это солдатский козёл Филимон, знаменитый на всю улицу забияка и пьяница.

Если люди ведут себя смирно, Филимон никогда не вмешивается в их разговоры, но сто́ит кому-ни-

будь затеять хотя бы лёгкую драку, Филимон из козла превращается в тигра: налетает с разбегу на одного из дерущихся и бьёт его сзади под коленки (не рогами, а лбом) с такой бешеной силой и, главное, с такой неожиданностью, что несчастный падает в ту же секунду.

Пьянствует Филимон лишь по праздникам. Замечет, что биндюжники идут мимо казармы в кабак, увяжется за ними, и его не отогнать никакими дубинами. Биндюжники с удовольствием поят его водкой, а иногда макают в водку хлеб и кормят его этим проspirтованным хлебом, который он глотает с жадностью. Возвращаясь домой, он шатается из стороны в сторону, задевает за столбы, за фонари, как подгулявший биндюжник. И голова у него бессильно свисает к земле, и борода волочится по мостовой, как метла. Мальчишки из соседних домов дразнят его, тормозят, хватают за рога и толкают, но он не обороняется, он кроток и тих, как ягнёнок; добредёт до казармы и сейчас же завалится спать на конюшне у ног полкового коня Черемиса.

К счастью, сегодня он трезвый, и Фичасу не будет пощады от ударов его крепкого лба. Фичас падает ничком на панель, а козёл стоит над ним и трясёт бородой, как Мелетий, и ехидно смеётся:

«Мм-ме!»

Фичас пытается встать, но Филимон опять бодает его под коленки, и он опять растягивается во всю длину на панели.

Я счастлив. Я прыгаю вокруг как дикарь, а по-

том хватаю ведро и, закричав «опа-пá» (это наш воинственный клич), с восторгом выливаю всю грязную воду на голову лежащего передо мною Фичаса.

Фичас фыркает, дёргает ногами, захлёбывается, потом поворачивает ко мне мокрое, красное, отчаянно злое лицо и, трусливо глядя на своего победителя, пытается встать в третий раз. Но я нахлобучиваю пустое ведро на его дурацкую длинную голову и барабаню что есть силы по ведру кулаками:

— Опа-пá! Опа-пá! Опа-пá!

Фичас начинает реветь на всю улицу.

— Что ты делаешь, байструк! Оставь ребёнка! — кричит мне из окна его мать.

Я еле удерживаюсь, чтобы не показать ей язык, хватаю ведро и бегу.

Победа наполняет меня торжеством. Стыдно сказать, но, когда в ту ночь я засыпаю на складной моей койке, так и не дождавшись возвращения мамы, я думаю не об ужасном несчастье, случившемся сегодня со мною, а только о победе над Фичасом. И о том, как я буду хвастать этой великой победой перед всеми мальчишками нашего дома. И о том, что сделать, чтобы завтра, в воскресенье, нам, макрюхам, разгромить печёнкинцев в открытом бою и взять в плен их предводителя Ваську Печёнкина.

Это давнишняя наша мечта — отомстить кузнецу за все обиды и злодейства.

Странное дело: мы пылко ненавидим его, но только по праздникам, а в будни мы готовы часами стоять неподвижно у порога его крохотной кузницы

на углу Канатной и Базарной и с почтительным любопытством следить за всяким движением его проеденных копотью рук. Особенно интересно смотреть, как подковывает он лошадей или натягивает шины на колёса. В это время мы даже любим его. Но в праздники, когда, смыв с себя копоть, он припомадит волосы, наденет лимонного цвета рубаху и, набросив на широкие плечи голубой пиджачок, который называется «твинчик», выйдет за ворота погулять со своими печёнкинцами, он сразу становится нашим врагом, точно это другой человек: прищуренные, узкие глазки, хитроватая кривая усмешка и зловещая молчаливость пирата. На нас, макрюх, он никогда не глядит, никогда не разговаривает с нами и от этого кажется нам ещё страшнее. Печёнкинцы — его верная армия.

В городе его считают юродивым, потому что он играет только в детские игры и водится только с мальчишками. Поглядели бы вы, как во время дождя он плещется в лужах босыми ногами, как он пускает в этих лужах кораблики, сделанные из папиросных коробок, как дразнит индюка, живущего во дворе у мадам Шершеневич!

Печёнкинцы за него — в огонь и в воду. Любят его больше, чем своих матерей и отцов. Фичасом называется самый воинственный из них, придурковатый Игнашка, потому что, когда его зовут домой пить чай или ужинать, он кричит в ответ не «сейчас», а «фичас». Любимое занятие Васьки Печёнкина — пускание змея. Из этого мирного занятия он сделал

себе разбойничий промысел. Когда его змей пущен в небо, Васька чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним наши бедные змеи всё равно что воробьи перед коршуном.

Горе тому смельчаку, который решится запустить в то же самое время свой слабосильный змей. Змей Печёнкина могуч и огромен. Он с размаху налетает на бедную жертву, и там, в высоте, закипает отчаянный бой, после которого змей смельчака, оторванный от своей тоненькой ниточки, падает широкими зигзагами вниз, а его бывший владелец с неистовым рёвом бежит по ближайшим улицам, спасая уцелевшую нитку и даже не пытаясь добежать до своего побеждённого змея, упавшего где-нибудь в парке или у самого моря.

Теперь, засыпая, я думаю о том, о чём думал уже тысячу раз: как было бы хорошо, если бы мне удалось (вместе с Лёнькой Алигераки и Муней) соорудить такой сильный змей, который схватился бы в небе с врагом и победил его. Был бы у меня английский шпагат — ого-го, показал бы я Ваське Печёнкину! С этой мечтой я заснул.



«ПО-ХРИСТИАНСКИ,
ПО-БРАТСКИ»

В воскресенье я просыпаюсь печальный. Великая победа над Фичасом кажется мне далёким, неинтересным событием. Зато до подробностей вспоминается вчерашняя катастрофа в гимназии. Вскакиваю с постели и мчусь, не умываясь, во двор, подальше от мамы, чтобы она по моему жалкому виду не догадалась о нашей беде. Под квартирой погреб. Я приподнимаю его тяжёлую дверь.

— Куда? — кричит Маруся, не отрываясь от книги.

— К ёжику.

Но ёжика я даже не ищу. Я сейчас же забываю о нём, сажусь на поломанный ящик и начинаю стонать, как больной. Какое горе! Какое ужасное горе!

Мне кажется, что нет на всей земле человека несчащнее меня, что никогда в жизни я уже не буду смеяться, что я с охотою сейчас же лёг бы в гроб, лишь бы не испытывать такого мучения.

Этот гроб представляется мне с необыкновенной ясностью. Он стоит на коротеньких ножках в «гостиной», наискосок от окна, белый, с золотыми кистями, а кругом венки и цветы и атласные ленты. И на лентах надписи красивыми буквами:

«Незабвенному товарищу от пятиклассников Пятой гимназии».

«Безвременно погибшему брату».

«Лучшему другу от Риты Вадзинской».

Я лежу в гробу с замученным лицом, и все любовно глядят на меня.

«Отчего он умер?» — спрашивает Марусю мадам Шершеневич.

«Ах, — отвечает она, — он был такой гордый, такой благородный, а мы были *абсолютно* несправедливы к нему».

И она прижимает к глазам мокрый от слёз платок. Только теперь ей становится ясно, какой у неё был замечательный брат.

Сзади всех, сгорбившись и приподняв воротники, точно воры, стоят Шестиглазый и Прошка. Носы у них разбухли от слёз, щёки стали серыми, как глина, волосы всклокочены, губы дрожат.

«Они, они виновны в его смерти!» — грозно кричит, заикаясь, Тимоша.

Все с негодованием смотрят на них.

Они горбятся ещё сильнее и глядят исподлобья. Глаза у них виновато-испуганные, как у нашкодившей собаки, которую собираются бить.

«И я, и я повинен в его гибели!» — говорит с тоскою поп Мелетий, вырывая у себя из бороды целый клоч.

Но кто это хнычет над моим изголовьем? Зюзя Козельский! Слёзы льются ко мне в гроб и обильно поливают мои мёртвые щёки.

«Меня,— всхлипывает он,— подучил Валька Тюнтин, а свалили всё на него, на покойного... А он ни в чём, ни в чём не виноват!»

Зрелище собственной смерти доставляет мне большое удовольствие. Я мало-помалу успокаиваюсь.

«Ещё не всё потеряно! — говорю я себе.— Я пойду к Зюзе и к Тюнтину, пусть они сейчас же заявят Бургмейстеру, что меня исключили неправильно, что во всём виноваты они. Бургмейстер ошибается, Бургмейстер не знает, Бургмейстеру кажется, что на всю гимназию я самый большой негодяй. Но негодяи они, а не я, и нужно вывести их на чистую воду... Вот это будет здорово!» — говорю я себе.

Слёзы мои мигом высыхают.

«Вот это будет здорово, честное слово!»

Я вскакиваю и начинаю шагать в темноте. Погреб заканчивается длинной пещерой, ведущей неизвестно куда. Пещера усеяна осколками угля, которые тускло блестят под ногами.

Как только Бургмейстер узнает, что ему нужно гневаться не на меня, а на Тюнтина, он пойдёт ко

мне красноносого Прошку, и Прошка, пьяненький, придёт ко мне и скажет:

«Возвращайтесь, милорд, в гимназию... и позвольте мне на минуточку вашу фуражечку...»

И вденет в неё новый гимназический герб.

Мне становится так весело, будто всё это произошло на самом деле. Я поднимаю с пола осколки угля и со всего размаху бросаю их в пещеру один за другим. Там что-то звякает: не то стекло, не то жёсть. Где-то сзади, за ящиками, фыркает ёж.

Да, я пойду к Тюнтину, к Зюзе Козельскому, я уговорю их сказать Шестиглазому правду, и тогда я снова гимназист! Приду и сяду на свою скамью, рядом с Зуевым, и буду учиться как чёрт. Они согласятся, ещё бы! Ведь не захотят же они, чтобы я пропал из-за них! Это будет чудесно, и мама ничего не узнает, и голова у неё не будет болеть! Я скажу ей как-нибудь утром за завтраком, месяца через два, уже во время каникул: «Знаешь, мама, меня по ошибке хотели исключить из гимназии. Но теперь эта ошибка исправлена. Я тогда не говорил тебе об этом, чтобы ты не волновалась понапрасну».

Сердце моё прыгает от радости. Я бросаю в пещеру целые пригоршни осколков угля.

Через минуту я выбегаю из погреба и по дороге к воротам что есть силы ударяю двумя каблуками по железному листу нашей ямы.

Лист звенит на весь двор.

— Куда ты? — кричит Маруся.

— Я недалеко. Я сейчас.

Скорее к Тюнтину, к Зюзе Козельскому! Мимо дома Вагнера мне не пройти: там меня подстерегают печёнкинцы, жаждущие отомстить за Фичаса. Нужно пробираться обходными путями, по Старо-Порто-франковской улице. Я бегу как на пожар, и мне кажется, что всё моё спасение в том, чтобы добежать поскорее до Тюнтина.

Вот и его дом, трёхэтажный, ярко-голубой, на Приморском бульваре. Над воротами — новая, жёлтая, как цыплёнок, табличка:

«Дом вдовы подполковника Аглаи Семёновны Тюнтиной».

Я взбегаю по каменной лестнице, только что окрашенной под мрамор, и дёргаю за ручку колокольчика.

Тюнтин ещё не вставал. Очень красивая горничная с надменным и печальным лицом, которое всё перекошено флюсом, вводит меня в крохотную комнатку. Там в высокой клетке на медном кольце сидит невзрачный и плешивый попугай и смотрит на меня со стариковским презрением. Через открытую балконную дверь видно далёкое море.

Я нетерпеливо шагаю по комнатке взад и вперёд, и меня окружают Тюнтины: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин с матерью, Тюнтин с собакой — десятка два фотографических карточек, изображающих Тюнтина.

«Куда столько Тюнтиных!» — думаю я с удивлением.

Но тут вбегает низенькая женщина в красивом шёлковом японском капоте, расшитом золотыми павлинами. Бровей у неё нет, всё лицо в бородавках.

Это мать Тюнтина, хорошо известная всем гимнастам пылкой влюблённостью в сына. Она постоянно провожает его до самой гимназии и крестит и целует его на прощанье, так что прохожие смеются над нею, а Валентин угрюмо буркает ей злые слова и скорее убегает в подворотню. Ему совестно, что она его мать, что она такая толстая, что у неё бородавки, что она зовёт его «бэби» и «солнышко».

«Он у меня хрупкий!» — говорит она каждому, а он здоровый, сонный, тупой и надутый.

Самое имя его «Валентин» она произносит особенным голосом, на французский манер: «Валэнтэн».

— Валэнтэн ещё спит. Я его не бужу. Пусть хоть в воскресенье подремлет. Он у меня такой неврастеник (она говорит «нэврастэник»).

В её голосе слышится гордость. Как будто быть «нэврастэником» — большая заслуга.

Я хочу сказать ей, зачем я пришёл, но она подбегает к висящим на стене фотографиям и, как экскурсовод в музее, рассказывает о каждой из них:

— Вот это Валэнтэн в Ай-Тодоре, в Крыму, под своим любимым кипарисом. Посмотрите, какой у него классический профиль. А это в ванночке, голенький, когда ему было одиннадцать месяцев. А это на ёлке у графа Капниста... А это отец Валэнтэна, мой муж, когда он был полицмейстером в Риге. Вылитый Тургенев, не правда ли?

Я мрачно молчу и жду, когда мадам Тюнтина хоть на секунду умолкнет, чтобы я мог сказать ей, зачем я пришёл. Но она неожиданно спрашивает:

— А ваш отец... скажите... он тоже военный?

— Отца у меня нет,— говорю я краснея.

— То есть как это так: нет отца?

Я ещё сильнее конфужусь и виновато молчу. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивает меня об отце, я испытываю отчаянный стыд.

— Где же ваш папа? Умер?

— Нет, он жив... Только мама... Только я... Я его ни разу не видел.

Она хмурит напудренный лоб, и глаза её теряют свою сладость.

— То есть как это так: ни разу не видели?

Я беру со столика тяжёлую чугунную пепельницу и в смущении верчу её в руках.

— Так, так, так! — многозначительно говорит мадам Тюнтина и, взяв у меня из рук чугунную пепельницу, ставит её со стуком обратно на стол.— Что же вам нужно от моего Валэнтэна?

— Видите ли,— говорю я волнуясь,— Шестиглазый... то есть наш директор, ну, Бургмейстер... выгнал меня вчера из гимназии за то, что я будто бы подучил одного... вы его не знаете... Зюзю Козельского... подделать отметки и закопать свой дневник. А я тут ни при чём. Его подучил Валя Тюнтин... ваш сын... Валентин... Вот я и хочу, чтобы он завтра сказал Шестиглазому... то есть Бургмейстеру, что меня исключили неправильно...

Мадам Тюнтина вскакивает, словно её укусила гадюка.

— Валэнтэн! — зовёт она. — Валэнтэн! Валэнтэн!

Из всех моих слов она поняла лишь одно: что я угрожаю её Валэнтэну каким-то несчастьем.

В дверях появляется Тюнтин, надутый и сонный. Его лицо выражает беспредельную скуку.

— Тюнтин! Тюнтин! — говорю я ему. — Твоя мама не знает, но ты ей скажи... Ты скажи Бургмейстеру и всем. Ведь я из-за тебя... Ведь это ты... Ведь не я же это сделал, а ты... А если ты не скажешь, Валя Тюнтин...

Он спокойно глядит на меня, как я размазываю по щекам свои слёзы грязными от угля кулаками, бормочет мне невнятные слова и скучающей, неторопливой походкой уходит в соседнюю комнату. За ним семенит его мать. Из комнаты доносится её взволнованный шёпот.

Наконец оба возвращаются, и у обоих такие ласковые, добрые лица! Мадам Тюнтина порывисто подходит ко мне, согревая меня тёплой улыбкой, и гладит меня по рукаву моей куртки.

— Перестаньте же.. ну перестаньте же плакать... Ну перестаньте же... ну не надо, ну не надо, пожалуйста! Всё будет хорошо... Вы увидите...

Я смотрю на неё, и в душе у меня снова загорается надежда.

— О, Валэнтэн... Вы его не знаете... он такой... как это говорится... отзывчивый... И вот мы решили по-христиански, по-братски...

И внезапно, разжав мой кулак, она суёт туда скомканную пачку бумажек. По всем её бородавкам разливается нежность.

Я оторопело гляжу на бумажки. Это рублёвки. Их семь или восемь.

— Бери, пригодятся! — покровительственно говорит Валентин, чувствуя себя моим благодетелем.

— Как пригодятся? Куда?

— Видите ли, мой дорогёй, — медовым голосом лепечет мадам Тюнтина, — у вас начинается новая жизнь. Теперь, когда вы ушли из гимназии...

— То есть как это — ушёл из гимназии! Ведь если Тюнтин, если Валентин, если он... мой товарищ...

— Товарищ? — широко улыбается Тюнтина. — Извините, но какой же вы товарищ моему Валэнтэну? Он будет великобританским послом, вы увидите... У него такие связи, такие возможности! А ваша мамаша — мне сейчас говорил Валэнтэн — стирает сорочки для мадам Шершеневич...

Меня охватывает бешенство. Мне хочется ударом ноги опрокинуть на неё мраморный столик, так, чтобы она отлетела к самой дальней стене, и больно отхлестать Валентина по его сонным щекам.

В ожидании пощёчины он прикрывает свой «классический профиль» руками. Мадам Тюнтина бросается ко мне, чтобы защитить своего Валэнтэна, но я отталкиваю его и её и, кинув комок рублёвок в попугайную клетку, выбегаю из комнаты, не переставая твердить:

— Ах ты мурло! Ах ты мурло тупорылое!



ИЗ ДОМА В ДОМ



щё не всё потеряно. К Козельскому!» — говорю я себе, но куда девалась моя недавняя бодрость! Согнувшись в три погибели, еле передвигая ногами, я безнадёжно бреду к Воронцовскому саду.

Козельские живут в двух шагах от своего ресторана. Их окна выходят во двор. Двор старинный: тихий и тенистый, вымощен плитами лавы. Во дворе — тополя и фонтан: статуя голого мальчика с лебедем. Перед окнами — небольшой палисадник. В палисаднике среди стриженных лавровых кустов весело толпится народ и заглядывает в комнаты, будто там свадьба.

Я подхожу к окну, и первое, что я вижу, — глаза. Выпученные, налитые кровью. Страшные глаза,

словно два револьвера. Глаза направлены на Зюзю Козельского, который скрючился за спинкой большого дивана, отодвинутого наискось от стены. Зюзиного лица мне не видно, но даже его затылок выражает испуг. Глаза принадлежат его отцу, Сигизмунду Козельскому. Это приземистый гном, лысый, багровый, без шеи.

Вся мебель сдвинута с места, перевернута, как во время землетрясения. Можно в первую минуту подумать, что у отца с сыном происходит игра: отец гоняется за сыном по комнатам, а тот, убегая, подставляет ему в шутку то столик, то ширму, то этажерку, то стул. Издали это могло бы показаться цирковым представлением, если бы отец не был так разъярён, а сын не был так ужасно испуган. Теперь их обоих разделяет последняя баррикада: диван. Всякий раз, когда отец хочет обойти её справа, сын, не спуская с него насторожённых глаз, ускользает вдоль дивана влево. Стоит отцу ринуться влево, сын оказывается на правом конце. Это повторяется раз двадцать подряд в глубоком молчании.

— От хробоба! Не хочет уважить отцу! — негодуют в толпе на Зюзю.

Отец всем своим туловищем — плечами и грудью — налегает на спинку дивана, диван надвигается прямо на Зюзю и гонит его в угол. Зюзя пятится и попадает в западню. Он пробует прошмыгнуть под диваном, но отец хватает его за штаны и выволакивает на середину комнаты, как тряпичную куклу. Мне становится страшно, я закрываю глаза. Толпа

ещё теснее придвигается к окнам. Я убегаю в подворотню и вижу белобородого дворника, который сидит на завалинке и ласково гладит большого кота, мурлыкающего у него на коленях.

Я очень застенчив: боюсь заговаривать с дворниками. Дворники, почтальоны, швейцары, городовые и даже кондуктора конки кажутся мне вроде начальства и внушают мне непобедимую робость. Но этот дворник с такой нежностью гладит кота, что я осмеливаюсь попросить его, чтобы он поскорее пошёл за полицией.

— Тут полиции не требуется,— возражает он ласковым голосом.— Батько лупцуе дытыну, щоб була розумнийше. Какая ж тут полиция? На то он и батько.

Глаза у старика безмятежные. Кот сладко мурлычет у него под рукой.

Я медленно выхожу на Соборную площадь. Мне жалко Зюзю, но ещё больше мне жалко себя. Значит, моё дело пропащее. Не пойдёт Зюзя завтра к директору и не скажет ему правды о Тюнтине. Теперь он запуган до смерти, теперь от него уже ничего не добьёшься: три дня он будет плакать и дрожать по-собачьи. Что же мне делать? Куда мне идти? С кем посоветоваться? Бедная моя мама! А эта мадам Тюнтина в павлиньем капоте... Какие противные у неё бородавки!

Часы на соборе показывают без четверти час. Значит, мне осталось всего семнадцать часов. Что же можно сделать за семнадцать часов?

И вдруг передо мной возникает встревоженная физиономия Тимоши. С какой ненавистью глядел он вчера на смеющегося Прохора Евгеньича, когда тот выламывал у меня из фуражки мой герб! Ведь мы с первого класса друзья-неразлучники. Сколько раз он бледнел от волнения, когда меня вызывали к доске, и весь расцветал тихой радостью, если меня хвалили за удачный ответ!

И как это я мог позабыть о Тимоше! Нужно было пойти к нему раньше всего, а потом уже к Зюзе и к Тютину. Пусть он бессилён помочь, но я знаю, он разделит со мной моё горе и мне станет легче, ещё бы! Вчера он что-то говорил мне там, в гимназии, но я не разобрал его слов. Может быть, он звал меня к себе? И тут только я вспоминаю, что поп Мелетий и Тимошин отец — земляки, оба северяне, из Архангельска, и начинаю серьёзнейшим образом верить, что, если Тимошин отец замолвит обо мне доброе слово Мелетию, Мелетий пожалеет меня, и я — опять за гимназической партой!

Тимоша живёт у моря, возле самой таможни. Идти к нему по переулкам и улицам долго. Но существует другая дорога — глинистый, очень крутой, заросший бурьяном откос. Добираюсь через парк до откоса и скатываюсь с него (кое-где кувырком) чуть не к самому зданию таможни.

Должно быть, недавно шёл дождь, но я не заметил его. Вот и море, полосатое от пены. С моря сразу ударяет в меня свистящий и режущий ветер.

Дом, в котором живёт Тимоша, больше похож на

пароход, чем на дом. Узкий и длинный, с высокой «кормой», он вдаётся своим корпусом в море, и кажется, вот-вот поплывёт. У него есть и палуба — широкий балкон, окружающий весь его корпус. Всегда над ним носятся чайки и хлопает невидимый флаг. Сейчас дом сотрясается от прибоя и ветра.

Дверь не заперта. Я спускаюсь в кухню по лестнице, похожей на трап корабля. На кухне обычно хозяйничает тётка Тимоши, вся в кудряшках, в скрипучем корсете, с таким выражением лица, словно только что выпила стакан уксуса. Но теперь — это так неожиданно! — кухня встречает меня шумом и смехом. На кухне две девочки — Лёка Курындина и сестра Тимоши, «разноцветная» Лиза. Разноцветной её зовут потому, что у неё в золотистых кудрях растёт возле самого лба тёмная каштановая прядь. В руках у них белые туфли, которые они натирают зубным порошком. Тут же на столе горит лампа. В лампу вставлены щипцы для завивки. Щипцы, очевидно, уже были пущены в ход, так как в кухне чувствуется запах спалённых волос.

Девочки мгновенно тушат лампу и с визгом уносятся куда-то щипцы.

— Где Тимоша? — спрашиваю я.

— Ушёл, — отвечает Лиза сквозь зубы, так как во рту у неё несколько шпилек, при помощи которых она пытается справиться с пышными локонами.

Оказывается, и тётка и Тимошин отец уехали куда-то на хутор, и, пользуясь отсутствием взрослых, девочки похитили у тётки щипцы для завивки, пуд-

ру, помаду, румяна, духи и с самого утра завиваются, румянятся, пудрятся, хотя обе даже чересчур краснощёки и волосы у обеих кудрявые без всякой завивки.

Весь этот маскарад доставляет им величайшую радость, они поминутно шушукаются, взвизгивают и прыскают со смеху. Мне всегда было ужасно любопытно, о чём эти девчонки постоянно шушукаются и над чем они столько смеются. Но теперь мне даже трудно понять, как это люди могут веселиться и радоваться, если у меня такое тяжёлое горе.

— Где Тимоша? — спрашиваю я.

— Не знаю! Ушёл... Кажется, к Финти-Монти, — отвечает небрежно Лиза. Потом вглядывается в меня и снова раздражается смехом: — Где это ты так перепачкался? Как это тебя угораздило?

Тут только я замечаю, что и моя куртка и брюки густо измазаны глиной.

— Как же я выйду на улицу?

Лиза смеётся и ведёт меня к зеркалу в комнату тётки:

— Погляди, какое ты страшидло!

С отчаянием я гляжу на свой грязный костюм, весь в пятнах коричневой глины.

— Как же я выйду на улицу? — повторяю я с горьким отчаянием.

Девочки тащат меня обратно на кухню, вооружаются двумя колючими мокрыми щётками и начинают счищать с меня глину в четыре руки.

Покуда они теребят, тормозят и терзают меня,

я неотступно думаю о том, как бы мне повидаться с Тимошей. Я знаю: он пошёл к Финти-Монти, чтобы поговорить обо мне, рассказать ему о моих злоключениях и посоветоваться с ним, что мне делать!..

Почему же он до сих пор не вернулся домой?

Вдруг сверху раздаётся звонок.

— Ой, это Тимошка! — кричит Лиза и мигом взвивается по лестнице вверх, путаясь в тёткиной юбке...

Она весёлая, шальная, насмешливая; отлично гребёт, купается в любую погоду, заплывает в море дальше всех.

Лёка, над которой она деспотически властвует, гораздо добрее её и относится ко мне с материнским участием.

— Что это ты сегодня какой-то несчастный? — спрашивает она, когда мы остаёмся вдвоём. — И, боже, какой растрёпанный! Дай-ка вон тот гребешок, я тебя сейчас причешу...

Тут вбегает Лиза и сразу хватает какую-то тёткину склянку:

— Постой! Мы подрумяним его!

Но, заметив, что мне не до смеха, говорит потускневшим голосом:

— Тимоша тоже невесёлый сегодня. Даже умываться не стал. Выпил чаю и убежал со двора.

— А кто это звонил? Не Тимоша?

— Нет, это так... Это Рита...

Рита Вадзинская! Кровь ударяет мне в щёки, руки начинают дрожать, и я, словно спасаясь от пожа-

ра, убегаю в кухонную дверь. Девочки смеются мне вслед: они давно уже знают о моей дикой влюблённости в Риту...

Не помню, как добрался я до того небольшого домишка, где проживает Иван Митрофаныч.

Но и здесь меня ждёт неудача! На двери — замок, на обоих окнах — глухие ставни. Под мокрой акацией сидит Людвиг Мейер и читает какую-то книгу близорукими немецкими, голубыми глазами. Я всегда робею перед ним: он такой учёный и важный.

Подождав, когда Мейер дочитает главу, я спрашиваю, не приходил ли к Ивану Митрофанычу Тимоша Макаров из пятого класса... Тимоша Макаров, вот с такими ушами... Но Мейер не слышит и не замечает меня. Он всё ещё во власти прочитанной книги.

Дальше спрашивать его всё равно бесполезно, и я тихо ухожу от него.

Дождь начинает накрапывать снова.



ПРЕМУДРЫЙ СОВЕТ



Меня окружают неизвестные улицы. Я иду сам не знаю куда. А потом сажусь на ступеньку у каких-то дверей, закрываю глаза и прислоняюсь головою к перилам. Как в тумане, проплывают передо мною мутно-лиловые тени, и каждая тень — Тюнтин: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин в черкесской папахе, — все Тюнтины, каких я видел сегодня на фотографических карточках. А потом они сразу исчезают, и я теряю сознание.

В детстве это случалось со мною нередко. Однажды, когда мама вынимала иголкой у меня из ладони занозу, я «сомлел» у неё на руках. В другой раз,

после долгого морского купанья, я пролежал в беспмятстве на раскалённом берегу около четверти часа, и у меня украли незабвенное жестяное ведёрко, по которому я потом тосковал много дней.

Очнулся я среди каких-то птиц. Птицы стояли рядами на полках. Крохотные страусы, не больше мизинца, маленькие журавли без носов, круглоголовые филины.

— А это что за птицы... с такими хвостами?

— Это ибисы, священные, египетские.

Голос был незнакомый, необыкновенно приятный. Я услышал его и опять задремал. Когда я проснулся, в комнате шёл разговор.

— Как же вам не стыдно, папаша! — говорил тот же голос. — Фуй! Это прямо стыд! Ведь вы уже получили четыре куска.

В ответ послышалось виноватое шамканье.

— Фуй, какой стыд! Что сказала бы покойная мамаша? Фуй! Фуй! Мне так стыдно, так стыдно за вас!

Я приоткрыл глаза и увидел древнего старика без бороды и усов, в зелёном колпаке с чёрной кисточкой. Нос у него был длинный и острый. На кончике этого носа понемногу скоплялась светлая, чистая, прозрачная капля и падала старику на колени. Ещё... Ещё... Я долго следил за этими ясными каплями, и на душе у меня сделалось очень спокойно.

— Он проснулся! — произнёс тот же голос, который только что журил старика. — Сестрица Франциска, готово ли?

Тут я почуял упоительный запах фасоли. Запах был такой же приветливый, как и всё в этой комнате. Я вдохнул его полной грудью и, приподнявшись на диване, увидел двух очень румяных старушек, тоненьких и маленьких, как десятилетние девочки. Словно кто насыпал им на голову снега — такие были у них белые волосы.

Где я? Куда я попал?

Заметив, что я не сплю, одна из них подала мне дымящуюся миску похлёбки и чёрствую горбушку сероватого хлеба. Живо расправившись с этой едой, я увидел на дне миски картинку: три пуделя с разноцветными бантами сидят и ухмыляются, как люди, а один из них даже подмигивает, будто знает обо мне что-то смешное.

Вообще обитатели комнаты, очевидно, любят картинки до страсти: даже на одеяле, которым они прикрыли меня, вышиты звёзды и бабочки. Стены сверху донизу покрывают разноцветные коврики с вышитыми тиграми, рыцарями, цветами, якорями и радугами. На диване выстроились по росту подушки всевозможных размеров и цветов, и каждая представляет собою картинку: на одной — розы, на другой — те же самые пудели, которых я только что видел на дне моей миски, на третьей — Робинзон Крузо с длинной бородой и под зонтиком.

Я оглядываю эту весёлую комнату. Комната как будто говорит: «Какой вздор, что на свете бывают несчастья! На свете есть только мягкие коврики, да разноцветные картинки, да подушки».

— Сестрица Мальвина, дайте мне, пожалуйста, коробочку спичек!

Коробочка оказалась в футляре из тёмно-синего бисера, а когда сестрица Франциска, взобравшись на стул, зажгла большую висячую лампу, на стеклянном абажуре этой лампы сейчас же заплясали силуэты китайчат и китайцев. Одна из этих старух была пряткая, быстрая, говорливая, с молодыми движениями, а другая — солиднее, старше, в очках.

Родом (как я узнал впоследствии) они были из Эльзас-Лотарингии: мамзель Франциска и мамзель Мальвина. В нашем городе они жили чуть не с самого детства и вполне правильно говорили по-русски, с очень приятным иностранным акцентом. Только вместо «будто бы» говорили «бúдбето».

— Мы смотрим в окошко, а там *будбето* кто-то лежит. «Ай,— говорю я сестрице Франциске,— он уже *будбето* мёртвый».

Их папа, м-сье Рикке, был когда-то учителем танцев, но теперь ему девяносто шесть лет, и он издавна сидит в своём кресле под тёплым пледом, на котором вышита чёрная летучая мышь на фоне огромной луны. Он уже оглох, плохо видит, он даже охладел к табаку, который охотно нюхал ещё два года назад. Целыми днями не произносит ни слова. Но есть в этой жизни одно, что по-прежнему ему любо и дорого: сахар. И, так как ему мало кусков, которые выдают ему дочери, он ворует у них сахар при всякой возможности. И, так как это доставляет ему удовольствие, дочери нарочно ставят сахарницу у

него под рукой, чтобы ему было удобнее воровать. Уморительно было смотреть, как он, озираясь по сторонам, точно вразправдашний вор, протягивает руку за добычей, которую они сами подставляют ему. Воображая, будто он совершил необыкновенно ловкую кражу, он радуется, точно младенец. Кусок сахара, который он в ту же секунду кладёт себе в рот и начинает со вкусом сосать, кажется ему вдвое вкуснее, оттого что он считает этот кусок уворованным. Особенно ему приятно, если ему говорят: «Фуй, папаша, как же вам не стыдно!»

Тогда ему мерещится, что он в самом деле ужасный хитрец и пройдоха. Это льстит ему, и он самодовольно хмыкает.

Рассказывая мне об этих причудах отца, сёстры в то же время непрестанно работают: перед ними на столе навалены горами лоскутки всевозможных материй, они быстро сшивают их разноцветными нитками, отчего получается узорчатая красно-синезелёная скатерть. Мне кажется, что я век пролежал бы вот так на диване и смотрел бы, как мелькают их быстрые руки. Они рассказывают мне (впрочем, рассказывает одна лишь Франциска, а Мальвина только сочувственно шевелит бровями), что они обе преподают в разных школах рукоделье и музыку и, кроме того, делают из гаруса птиц для продажи.

— Вот посмотрите! — говорит Франциска, берёт ножницы и игральную карту, складывает её вчетверо, вырезает из неё кружок вроде бублика, обматывает его гарусом ярко-жёлтого цвета, позвякивает

вокруг него ножницами — и получается пушистый цыплёнок, будто сейчас из яйца.

— Жалко, нет воска для клюва. Вон сколько у нас журавлей без носов! — говорит, печально вздыхая, Франциска. — Воск ужасно вздорожал!

— Ужасно! — вздыхает Мальвина. — А этот негодный Суббоцкий...

Суббоцкого я знаю. Он живёт у нас во дворе и держит писчебумажную лавчонку наискосок от женской гимназии Кроль. Маленький и юркий, как чиж, он сладко улыбается желторотым своим покупателям, гладит их по голове, зовет «деточками».

— Вот тебе, деточка, промокашечка с ленточкой.

Но при всём при том он отъявленный плут. По словам Франциски и Мальвины, он скупает у них за бесценок их филинов, страусов, цыплят, журавлей и продаёт в магазины, наживая огромный барыш. За каждого цыплёнка он платит им всего только десять копеек, а получает за каждого полтинник. Магазины же продают этих цыплят по рублю, потому, что цыплята Суббоцкого славятся своей красотой. Они так и называются — «цыплята Суббоцкого». Их покупают нарасхват, особенно к пасхе и к ёлке. Между тем материал для приготовления птиц стоит так дорого, что за работу обеим сёстрам остаётся не больше двух с половиной копеек с цыплёнка.

— Я достану вам воску! — говорю я, обрадовавшись, что могу угодить им. — Я скажу дяде Фоме, он привезёт из деревни. У него в деревне мёд и пчёлы. Воску у него целый пуд.

И я рассказываю им про дядю Фому. А потом про маму, про Бургмейстера, про свалившееся на меня горе. Они слушают, кивают головой, и вдруг Мальвина говорит повелительно:

— Вы должны сейчас же пойти и рассказать вашей маме всю правду. Ей будет больно? Пускай. Лучше боль, чем неправда. Лучше даже смерть, чем неправда. Подите расскажите своей маме всю правду, и вы увидите: всё будет хорошо.

Я смутился. Я был не в силах понять, почему же, в таком случае, они обманывают своего отца насчёт сахара, но, чуть только я заикнулся об этом, Франциска перебила меня:

— О, папаша другое дело! Наш папаша сделался *будбето* двухлетний малюточка.

Я вскочил на ноги:

— Хорошо, я пойду и скажу.

— И передайте вашей маме от нас — от Франциски и Мальвины — любовь. И, если можно, вот это.

И она схватила с полки красногрудого дятла, сунула его в бумажный мешочек (мешочек был тоже с картинкой) и подала мне.

Я горячо поблагодарил и её и Мальвину и словно на крыльях помчался домой. Тут только я понял, как тяжело мне было столько времени скрывать от мамы правду.

Но зачем они дали мне этого дятла? Разве может дятел обрадовать маму теперь, когда я буду рассказывать ей о случившемся с нами несчастье?



ПЕРЕДЫШКА



ока я отдыхал у моих новых друзей, дождь прошёл. Небо стало огненно-красным. Лужи казались налитыми кровью.

Мне так хочется рассказать маме о Зюзе, о Тюнтине, о гербе, о Шестиглазом, о Прощке, обо всём, что произошло в эти дни, даже о Фичасе, даже о козле Филимоне, что я готов заплакать от досады, увидев, что в комнате одна лишь Маруся.

Мамы нет ни на кухне, ни в погребе.

Ещё так недавно я избегал её, прятался, а теперь, кажется, отдал бы всё на свете, чтобы прижать к её шершавым рукам своё холодное и мокрое лицо.

Маруся глядит на меня с унылым упреком: существуют же такие жалкие люди, которые целыми днями шатаются бог знает где! Я чувствую, что я

виноват перед нею (это моё привычное чувство), и спрашиваю еле слышно, где мама.

Маруся требует своим отчётливым голосом, чтобы я не притворялся глупцом, так как, говорит она, мне отлично известно, что сегодня в полдень дядя Фома уехал к себе в деревню и что мама провожает его до Аккерманской заставы.

Значит, я и вправду преступник! В семье издавна установился обычай, что всякий раз, когда дядя Фома уезжает из нашего дома, мы с мамой провожаем его до Аккерманской заставы, а потом заходим к Длинной Лизе, и Длинная Лиза всегда говорит мне:

«Ой, как ты вырос, нивроку! ¹»

И убегает в лавчонку и приносит мне серые, засиженные мухами, каменно-твёрдые мятлые пряники, и я, ломая себе челюсти, грызу эти пряники всю дорогу домой.

Длинная Лиза питает к маме благодарные чувства, потому что мама когда-то давно, когда в городе был еврейский погром, спрятала её в нашем погребе в кадке, которую сверху прикрыла капустой,— эта кадка долго ещё существовала у нас и называлась «Лизина кадушка». И вот теперь мама идёт с Аккерманской заставы одна, без меня, и дядя Фома уехал, и я не поцеловал его в усаые губы, пахнувшие хлебом и вишнёвой наливкой, и даже не видел, какие гостинцы купила мама для его жены и детей. Впрочем, гостинцы эти почти всегда одинаковы: полголо-

¹ Нивроку (укр.) — не сглазить бы.

вы сахара, четверть фунта чая, липкие конфеты в бумажках, под названием «Царский букет», и голубой или канареечный ситчик, купленный на распродаже у Пташниковых.

Я стою перед Марусей жестоко сконфуженный.
— Посмотри, Маруся!

Я показываю ей бумажный мешочек с картинкой и вынимаю оттуда пушистого дятла, которого мне подарила Франсиска. Только теперь я вижу, какой он красивый. Из глины кирпичного цвета вылеплен ствол дерева с корой и сучками, и в этот ствол вцепился обеими лапами дятел и, откинув голову далеко назад, долбит его длинным клювом, сделанным из самого лучшего воска.

— Это мне... это для мамы... подарили...

Но Маруся взглядывает на дятла враждебно, будто дятел тоже виноват перед ней, и перед мамой, и перед дядей Фомой.

Я ухожу на кухню. Меня сильно знобит. Я, должно быть, простудился. Хорошо бы выпить горячего чаю. В казарме через дорогу есть «куб» — большой вмазанный в плиту кипяtilьник. Солдат за копейку нальёт мне из куба полный чайник горячей воды. Беру со стола чайник и вдруг вижу: под ним записка.

«Приходи сегодня в десять к Дракондиди. Важное дело! Блохин».

Я выбегаю во двор, пригибаясь под окнами, чтобы меня не увидела Маруся.

Я ни разу не бывал у Дракондиди. Дракондиди — тайный гимназический клуб. Все в гимназии знают о

существовании этого клуба, но говорят о нём шёпотом. Там второгодники Зозуля и Куц пьют водку из бутылок от хлебного кваса. Там пучеглазые братья Бабенчиковы играют в «подкидного осла». Там Стёпа Бугай всякий раз, когда ему удаётся похитить у отца трёхрублёвку, объедается пирожными и мороженым, угощая Зуева и своего брата Володю, второгодника из четвёртого класса. Там прячутся от Барбоса «казёнщики».

«Казённичать», или «править казну», — это значит околачиваться в каком-нибудь месте (чаще всего в парке или на морском берегу), когда тебе полагается сидеть в своём классе.

Ты, например, не приготовил урока по физике, и тебе грозит единица. Ты берёшь ранец и уходишь как будто в гимназию. Но, пройдя две-три улицы, сворачиваешь в сторону и воровски пробираешься в потаённое место, где проводишь всё время учения. А потом приходишь домой дурак дураком и бессовестно лжёшь родным. Те казёнщики, у которых есть деньги, проводят свои дни у Дракондиди. Там они угощаются, играют в карты, в лото, в домино или спят.

И гимназическое начальство ни разу не накрыло их в этом притоне, хотя бывало, что в день какого-нибудь трудного урока там собиралось сразу до десяти человек. Они даже заранее сговаривались — завтра с утра всей оравой пойти к Дракондиди.

А однажды тот же Стёпа Бугай пригласил к Дракондиди весь класс. Случилось это так. Был послед-

ний урок — французский. Нужно было читать молитву после учения:

«Благодарим тебя, создателю, яко сподобил нас еси благодати твоея во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага...»

Стёпа Бугай смело вышел вперед и, пользуясь тем, что м-сье Лян не понимает по-русски, произнёс тем напевом, каким в церкви читают молитвы:

«Аще кто не хочет получить по-гречески кол, да похитит у родителей полтинник и скроется в вертепе Дракон-ди-ди!»

И набожно смотрел на икону и, не переставая, крестился.

Лян, воображая, что это молитва, с благоговением потупил глаза, чтобы показать, как он уважает чужую религию.

О «вертепе» Фемистокла Дракондиди мне много рассказывал Муня Блохин, так как он каждую пятницу играл там в шахматы с горбатым реалистом Иглицким.

Но идти в этот гимназический клуб ещё рано. Сейчас три четверти восьмого, не больше. Не пойти ли мне к Лёньке Алигераки, моему соседу, у которого есть белая крыса и пара новых голубей «вертунов»? Нет, не такое у меня сейчас настроение, чтобы интересоваться голубями и крысами! А может быть, вернуться к сёстрам Рикке в их безмятежный уют и снова услышать их ласковый голос, их милое и забавное *будбето?*

Медленно и нерешительно я выхожу за ворота. Улица безлюдна. Никого. Ах, увидеть бы Риту Вадзинскую! Я иду вправо, потом возвращаюсь и вдруг вижу у нашей калитки расфуфыренного Циндилиндера в ослепительном фиолетовом галстуке. От него так и разит одеколоном. Не здороваясь, он достаёт из кармана коробочку и вынимает оттуда малюсенькое золочёное сердце, пронзённое белой стрелой. В сердце вставлен голубенький камушек.

— Шикарная цацка! — восхищается он. — Ты думаешь, она будет рада?

«Она» — оранжево-рыжая Циля, обёрточница с фабрики «Глузман и Ромм». В эту горластую красивую краснощёкую девушку Циндилиндер около года назад влюбился по самые уши.

С той поры он стал напропалую франтить, и даже походка у него изменилась. Прежде он ступал по-кошачьи, осторожно и мягко, а теперь шагает всё больше вприпрыжку, пританцовывая, как будто под музыку.

Я стараюсь возможно внимательнее вслушиваться в его бессвязную речь. Какое счастье, что я встретился с ним: ведь эта встреча даёт мне возможность хоть на полчаса отодвинуть от себя все мои тревоги и горести. Так невыносима для меня тяжесть беды, свалившейся на мои малолетние плечи, что я от всего сердца благодарен судьбе за ту передышку, которую — пусть на самое короткое время — сулит мне этот разговор с Циндилиндером. Передышка до того мне нужна, что я вдруг начинаю разжигать в себе

горячий интерес к Циндилиндеру и страшно боюсь, как бы тот не ушёл от меня.

Мы садимся на скамью у ворот. Циндилиндер снова достаёт из кармана бомбошку с голубеньким камушком.

— Думаешь, краденая? Вот!

И он показывает мне с торжеством какую-то зелёную бумагу. Это счёт от ювелирного магазина «Бизе и Компания». На бумаге очень чётко написано:

«Серебряная брошь — 3 рубля 48 копеек».

Под этой строкой — круглая печать магазина.

— Видишь, какой штамп, ого-го! И накажи меня бог — настоящий!

Он будто сам удивляется, что бомбошка не похищена им.

Я хорошо знаю, что без этого штампа Циля не возьмёт его подарка. Чуть только они познакомились, она потребовала, чтобы он побожился, что никогда не будет заниматься своей «специальностью». И действительно, с прошлого лета, или, точнее, с июня — да, с седьмого июня 1895 года — он уже никогда ничего не ворует. Мама посоветовала ему «учиться на токаря» в мебельной мастерской А. Э. Кайзера, на углу Канатной и Новой. Теперь он поступил туда в учение, и его стали звать уже не Циндилиндер, но Юзя. Юзя Шток (или, кажется, Штокман). И он обижается, если кто зовёт его, как прежде, Циндилиндер.

Он и раньше уверял меня и маму, что уже давно

перестал воровать, но только теперь мы поверили ему окончательно. Раза два он приводил к нам свою Цилю и был чрезвычайно доволен, когда увидел, что Циля понравилась маме и мне. Каждое воскресенье он по-прежнему приходит к нам с утра, наполняет нашу бочку водой, чистит для мамы к обеду бураки и картошку, развешивает вместе с Маланкой на «горище» бельё, бегаёт для Маруси в городскую библиотеку за книгами.

Милый, дорогой Циндилиндер! Огромное для меня удовольствие ходить с ним спозаранку на базар под утренние перезвоны церквей. На базаре по-южному шумно: кричат торговки, визжат поросята, все запальчиво и страстно торгуются. Мы покупаем живых раков, скумбрию, помидоры, бублики, черешню, халву. Идём, бывало, домой утомлённые, останавливаемся отдохнуть возле дома мадам Шершеневич, и вдруг Циндилиндер говорит, улыбаясь:

— Эти торговки такие раззявы! — и вытряхивает из рукава слипшийся ком чернослива.

Я гляжу на него и не верю глазам.

— Юзя! Ты же говорил! Ты дал слово... и маме и Циле... Как тебе не стыдно, Юзя, Юзя!

— Так разве ж это воровство? — улыбается он и достаёт из-за пазухи горсть мушмулы, мочёное яблоко, огурец, карамельку. — И разве тебе не хочется мочёного яблока?

Мне совестно признаться: украденные Циндилиндером лакомства были для меня так привлекательны, что я охотно соглашался не считать их укра-

денными и съедал без зазрения совести и мушмулу, и чернослив, и мочёное яблоко.

Но оранжево-рыжая Циля оказалась бескорыстнее и строже меня. Когда Циндилиндер похитил для неё на базаре любимые ею каштаны, она отшвырнула их так, словно это были раскалённые уголья, и заявила, что не желает водиться с таким «неизлечимым мазуриком».

С тех пор, прогуливаясь между ларьками в воскресные дни, Циндилиндер перестал похищать даже тыквенные и арбузные семечки у полоумной старухи Марьянки, у которой даже маленькие дети, то и дело налетавшие на неё воробьиными стаями, и те беспрепятственно опустошали всю корзину. Забавно было смотреть, с каким трудом он удерживает свои ловкие руки от похищения плохо лежащих сластей и как, стянув нечаянно огурец или луковицу, он произносит ругательство и кидает их обратно в мешок продавца.

Ругается он тоже меньше прежнего. Мама строгонастрога запретила ему сквернословить. Он обещал. Но беда была в том, что на первых порах он не мог догадаться, какие слова скверные, какие хорошие. Нисколько не стесняясь, произносил он такие слова, от которых дерево и то покраснело бы. А случись ему сказать, например, «штаны», или «наплевать», или «шиш», и он, спохватившись, ужасно конфузился:

— Уй, виноват, извиняюсь!

Но теперь и по этой части всё обстоит у него в полной исправности. Вообще теперь трудно предста-

вить себе, что ещё так недавно его считали «неисправимым мазуриком». Теперь даже у седого трубача Симоненко честность Циндилиндера не вызывает сомнений.

Но, к сожалению, Циндилиндер должен уже уходить. В парке у памятника Александру II его ждёт оранжево-рыжая Циля.

— А я иду к Дракондиди! — говорю я ему и хочу рассказать обо всех своих бедствиях.

Но сейчас ему не до меня, он боится опоздать к своей Цице. Я остаюсь на скамейке один, и снова накатывает на меня моё горе.

В такт моим грустным мыслям завывала, застонала труба Симоненко.

Этот вой надрывает мне сердце. Мне хочется плакать. Что-то ждёт меня в подвале Фемистокла Дракондиди?



ДРАКОНДИДИ



тот подвал помещается при «Заведении искусственных минеральных вод» на Успенской улице, против станции конки.

Издали сверкает сине-белая вывеска, освещённая языками голубовато-жёлтого газа: «Искусственные воды и сиропы Ф. М. Дракондиди». На вывеске нарисован сифон, из которого веером брызжет вода. Я толкаю дверь и вхожу в магазин. Звонок, приколоченный к двери, дребезжит гораздо громче, чем я ожидал.

Первое, что я вижу: синяя лысина и чёрная борода Дракондиди. Борода ассирийская, квадратная, похожа на крашеную. Из её чащи выпячиваются мясистые ярко-пунцовые губы.

Дракондиди стоит за стойкой и чистит мелом оловянные ложки. Перед ним на высоком метал-

лическом стержне стеклянные колонки с сиропами: ананасный сироп, шоколадный сироп, вишнёвый, ванильный, малиновый, апельсиновый и даже почемутю-то тюльпанный. Венчает всю эту разноцветную колоннаду сиропов ярко-красный бумажный букет.

Но где же клуб? Где великолепная тайная комната, о которой так много говорил мне Блохин? За спиной у Дракондиди никакого подобия двери. Гладкая стена. На ней ковёр. На ковре афиша:

<p>ЦИРК МАНУИЛА ГЕРЦОГА <i>Братья Фернандо и Танти Бадини</i></p>

— С сиропом или без? — спрашивает у меня Дракондиди, бросая ложечку в высокий стакан.

— Нет, мне не вода... Я — другое... Меня позвал сюда Муня Блохин.

Дракондиди хмурит роскошные кустистые брови.

— Как вы говорите? Блохин?

— Из пятого класса. Из пятой гимназии. Муня.

— Блохин — это такая фамилия? Может быть, Маразли или Ралли?

(Ралли и Маразли — местные купцы, знаменитые своими богатствами.)

— Нет, не Ралли, не Маразли, а Блохин... Вы его знаете... Муня... Он у вас играет в шахматы с этим... с горбатым... с Иглицким... Я знаю всех, кто бывает у вас: Курца, Зозулю... обоих Бабенчиковых.

Лысина Дракондиди из синей становится красной.

— Вы сумасшедший, накажи меня бог! У меня тут лимонады и сиропы, а он шукает ¹ какого-то Курца с Зозулей!

Должно быть, я ошибся. Блохин рассказывал мне, что всё это «Заведение искусственных минеральных вод» есть лишь одна декорация, а главное — там, за кулисами, в тёмной комнате с закрытыми ставнями.

Я выхожу на улицу, долго стою под акацией и бессмысленно смотрю на ворота, на которых написано мелом:

«Юра любит Раю Глузман».

Рядом с Дракондиди помещается конфетная фабрика «Глузман и Ромм», и там внизу, в подвальном этаже этой фабрики, обычно сидят у решётчатых окон сорок или пятьдесят молчаливых работниц. В страшной тесноте за длинным и липким столом, мерно качаясь вперёд и назад, при свете двух керосиновых лампочек они с быстротой автоматов обвёртывают клейкие карамельки бумажками, на которых написано: «Царская роза. Фабрика Глузман и Ромм».

Здесь-то и работает рыжая Циля, и мне даже странно подумать, что после такого трудного рабочего дня она ещё может задорно смеяться, а иногда и плясать до упаду вместе со своим женихом Циндилндером.

Перегнувшись через жидкие перильца, сделанные из водопроводной трубы, я гляжу в подвальное окно. Но сегодня воскресенье, фабрика «Глузман и

¹ Шукаєт (укр.) — ищет.

Ромм» не работает, за тёмными окнами мрак. Я открываюсь и вижу: Блохин.

— Муня,— говорю я ему,— должно быть, есть другой Дракондиди?

Но Муня ухмыляется, произносит своё любимое «пфа» и ведёт меня обратно в «Заведение искусственных вод», кладёт на стойку два двугривенных — за меня и за себя,— и Дракондиди, к моему удивлению, здоровается с ним, как с приятелем, и, озираясь, приподнимает ковёр, тот самый, к которому прикреплена цирковая афиша, и за ковром я вижу невысокую дверь, обитую рваной клеёнкой.

— Осторожно: ступенька! — говорит Дракондиди, обнажая сахарно-белые зубы, и я, как в яму, проваливаюсь в тёмную полуподвальную комнату, где пахнет дымом, рыбой, уборной, керосином и сыростью.

Когда глаза привыкают к потёмкам, я вижу кудлатого парня с цыганским лицом, который жарит на керосинке бычков. По словам Муни, это брат Дракондиди (я уже слышал о нём), глухонемой водопроводчик или слесарь, по имени Жорка. Справа у стены занавеска. Из-за занавески доносится храп. Где-то поскрипывает жестяной вентилятор. Или, может быть, это льётся из крана вода?

Вот он какой, клуб Дракондиди, о котором рассказывали мне столько чудес! Я почему-то был уверен, что тут позолота и бархат, а тут засаленные столы, шелуха от подсолнухов, грязь и такая вонь!

Мы усаживаемся с Блохиным в дальний угол.

По нашему столу пробегает прусак.

Приглядевшись, я вижу Бабенчиковых. Они сидят на перевёрнутых бочонках справа у самой стены и тасуют карты, ожидая партнёров.

Глухонемой тотчас же подаёт нам на заржавленном чёрном подносе два стакана мутноватого чаю с крошечными солёными бубликами, какие подают обычно к пиву.

— Этот Жорка — артист, ой-ой-ой! — говорит, подмигивая, Муня. — Дать ему три папироски, и он проглотит вон того прусака, даже двух...

— При чём тут прусаки? — говорю я с тоскливым упрёком. — Ты меня звал... Я пришёл... А ты — о прусаках... о папиросах...

Муня смеётся:

— Все будет отлично, не бойся. Мы с Тимошей придумали... То есть придумал Тимоша. Замечательный план!.. Вот увидишь... Сейчас он придёт... Он расскажет.

Но улыбка у Блохина невесёлая. Или, может быть, просто рассеянная? Я всматриваюсь в него и с негодованием вижу, что думает он о другом.

Такой у него непостоянный и суетливый характер: вот уж он подбежал к восьмикласснику Людвигу Мейеру и предлагает ему билет в лотерею:

— Разыгрывается знаменитая книга: «Ожерелье королевы» Александра Дюма! Четыреста двадцать страниц!

Потом подбегает к Зенкевичу, собирателю марок, и меняет у него «Кубу» на «Яву».

Потом останавливается у стены против двери — играть с каким-то черномазым в орлянку.

Потом подходит к столику, где объедаются шоколадной халвой Володька и Стёпка Буган, и, дирижируя бубликом, поёт вместе с ними свирепую песню о нашем надзирателе Галикине (он же Барбос).

Нет такого человека, мимо которого он мог бы пройти, не затеяв с ним игры или дела. Он нужен каждому, и каждый — ему.

Во всей этой толпе только и слышно:

— Мунька! Муня! Блохин! Блоха!

И скоро мне начинает казаться, что в комнате не один Блохин, а пять или шесть.

Но вот к нему подходит Иглицкий, высоколобый горбун, и оба сейчас же садятся за шахматы.

От чада и голода у меня начинает болеть голова. Я не отрываю глаз от той двери, где должен появиться Тимоша. Мне кажется: едва только я увижу его простосердечное, круглое, красноватое от веснушек лицо, голова у меня сразу же перестанет болеть.

С каким видом войдёт он сюда? Весёлый или грустный? И что нового скажет он мне?

Тускло светится в тёмной стене обитая рваною клеёнкою дверь. Я ненавижу каждого входящего в неё человека за то, что этот человек — не Тимоша.

— Шах! — говорит Иглицкий.

— Шах и мат! — говорит Блохин.

И тотчас же вскакивает, так как в эту самую минуту на верхней ступеньке появляется, растерянно щурясь, Тимоша.

Мы бежим к нему, расталкивая всех.

Оказывается, его долго не пускал Дракондиди, и он чуть не силой ворвался в эту дверь. Его крепкозубый рот улыбается мне, как всегда, но глаза его тоскливы и тревожны. Русые волосы потемнели от пота.

Мы садимся у самой занавески на кучу пахнущих рыбой рогож, и Тимоша начинает подробно рассказывать обо всём, что он делал с утра, чтобы выручить меня из беды.

— Раньше всего,— это мне посоветовал Мунька,— я побежал к Эммануилу Жукѹ.

— Боже мой! При чём же здесь Жук?

В нашей гимназии все знают Эммануила Жука. Он солиден и важен, как капитан парохода. У него крупная фигура, отличный костюм и барственный, гордый профиль. Он и в самом деле важная персона: парикмахер «Приморской гостиницы». Но какой же помощи могу я ожидать от него?

— Как — какой? — набрасывается на меня Муня.— Или ты не знаешь, что он каждое утро, зимою и летом, является с бритвой и ножницами на квартиру к Бургмейстеру — побрить и постричь его перед началом уроков?

— Ну так что же?

— А то, что он обладает драгоценной возможностью ежедневно разговаривать с самим Шестиглазым!

Тут Муню прерывает Тимоша и рассказывает с большим изобилием подробностей, как благосклонно

принял его этот важный цирюльник и как охотно взялся похлопотать обо мне.

— Вот и чудесно! — говорю я, обрадованный.

— Нет, ты с-слушай до к-конца! — И нижняя губа у Тимоши вдруг начинает дрожать, словно он хочет заплакать.

Из его дальнейшего рассказа я понял, что этот восхитительный Жук отнюдь не имеет намерения расточать свои благодеяния даром: за свой разговор с Шестиглазым он требует сто рублей — сто рублей за один разговор! — а в случае удачи ещё двести.

Сердце у меня холодеет: бывают же на свете такие бесстыжие люди!

— А ты что думал! — ухмыляется Муня. — На то он и Жук... Тайный агент Шестиглазого... Разве Зуев и Зюзя Козельский могли бы хоть час оставаться в гимназии, если бы их родители не отваливали ему — для Бургмейстера — не двести, не триста, а тысячи!

— К чёрту Жука! — кричу я.

Тимоша смотрит на меня виновато. Ему как будто совестно, что его хлопоты не привели ни к чему. Он уныло и тягуче рассказывает, что от Жука он поплёлся к попу в далёкую Покровскую церковь, выстоял там до конца всю обедню и что поп, едва услышал моё имя, зафыркал на него, словно кот на ежа.

Дальше мне не хочется слушать. Стыдно признаться, но я, как ни дико это звучит, не чувствую к Тимоше никакой благодарности. Человек с утра до вечера, не пивши, не ёвши, бегал по всему городу ради меня, хлопотал, суетился, а я слушаю его рас-

сказы об этом с нетерпеливой досадой, со злостью — и сам сознаю, что неправ, но это ещё сильнее раздражает меня.

— А потом я пошёл к Митрофанычу... к Финти-Монти...

— Знаю, знаю! Не тяни! — говорю я сердито и резко. — Знаю: пошел к Митрофанычу и *не застал его дома.*

— Не застал... — убитым голосом отвечает Тимоша, будто не замечая моего раздражения. — Сначала я пошёл на волнорез, к маяку, где по праздникам он ловит бычков... Оттуда...

— Мне неинтересно, куда ты ходил... Важно, что ты не застал! Не застал! Не застал!

Горе моё так велико, что я чувствую себя вправе быть несправедливым, капризным и грубым. Я хватаю с ближайшего столика чью-то суковатую палку и, стуча ею по столу, кричу каким-то не своим, сварливым, истерическим голосом, отвратительным мне самому:

— К чёрту вас всех! К чёрту! К чёрту!

И вдруг спохватываюсь и начинаю лепетать извинения:

— Не сердись... я понимаю... я знаю... Но что же мне делать? Ведь я...

Слёзы душат меня, и я припадаю лицом к занавеске, — она тоже пропитана запахом рыбы.

— Эх, жаль, — говорит Муня Блохин, — что мы так и не нашли Финти-Монти! Он бы посоветовал, он бы сказал.

И вдруг в эту самую секунду до нас доносятся знакомые, родные слова:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны!..

Мы вскакиваем, точно в комнате разорвался снаряд. Финти-Монти!!! Неужели он здесь, среди нас?!

Мы бросаемся за занавеску.

Да, это он, Финти-Монти: прикорнул на неширокой скамье, прикрылся своей убогой шинелькой, а возле него на сундуке полуштоф и оплывшая тусклая свечка.

Что за чудо! Как очутился он здесь, под землёю, в этой вони и мерзости? Правда, среди гимназистов был слух, что он, как принято было выражаться тогда, топит своё горе в вине, но я так привык видеть его трезвым и важным в классе, на кафедре во время урока, что гляжу на него и буквально не верю глазам. Вот он приподнимается, медленно и грузно садится, гладит свои длинные, как у Тараса Бульбы, усы, словно раздумывая, спать ли ему дальше или проснуться совсем. И, видимо, решает: спать. И тянет кверху свою худую шинель, чтобы опять укрыться с головой.

— Здравствуйте, Иван Митрофаныч! — говорим мы хором, как в гимназии.

— Здорово, богадельня! — отвечает он сонно и хмуро.

Я порывисто бросаюсь к нему:

— Что мне делать, Иван Митрофаныч? Вы ведь знаете: меня исключили. Неужели не простят, не позволят вернуться? Я, честное слово, исправлюсь! Я...

Иван Митрофаныч молчит.

— Ис-клю-чи-ли? — отчеканивает он по складам. — И меня, брат, тоже ис-клю-чи-ли.

И вдруг хватает меня за кушак и притягивает изо всей силы к себе.

— Куриная ты слепота! — говорит он с ласковым упрёком. — Не маленький, пора понимать... Думаешь, тебя прогнали за то, что ты накуролесил с попом или с этим... С Козельским? Вздор и брехня! Не за то тебя турнули, что ты виноват, а за то, что ты чёрная кость. В этом вся твоя вина, понимаешь?

В нашем закоулке вдруг, как из-под земли, вырастает «глухонемой» Дракондиди и начинает слишком уж усердно егозить возле нас.

— Ты думаешь, он и вправду глухой? — говорит громким шёпотом Муня. — Ого-го! Уши у него не хуже твоих! Шныряет тут весь день между столиками, а завтра побежит и донесёт кому следует.

Иван Митрофаныч встаёт, берёт с сундука свою мягкую шляпу, накидывает на плечи крылатку (я подаю ему его суковатую палку, которой я давеча стучал по столу) и направляется к двери.

— Назад! Не сюда! — кричит Муня и ведёт нас в какую-то боковую каморку, из которой мы, словно из гнилого колодца, выбираемся под огромное спокойное синее небо, озарённое круглой луной.

Перед нами деревья, кусты, силуэт голубятни, и через минуту мы в глухом переулке, который тоже до самых краёв переполнен золотом лунного света и чёрными тенями невысоких домов.



ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ



Мне кажется, я никогда не видал такой огромной луны. Она завладела всем городом, наполнила его светом, как музыкой.

Иван Митрофаныч садится на какую-то тумбу в чёрной тени возле дома и, снова притянув меня к себе, повторяет свой грустный упрёк:

— Ты ведь не маленький, пора понимать!

Потом долго молчит и вдруг спрашивает ни с того ни с сего:

— Ты когда-нибудь слышал про Топтыгина Третьего?

— Про какого Топтыгина?

— Про покойного, «в бозе почившего»? Вот он и виноват в твоей беде!

«В бозе почившим» называли тогда царя Александра III, того самого, что скончался два года назад.

Помню, едва только в нашей гимназии узнали, что он «в бозе почил», то есть, говоря попросту, умер, Шестиглазый, Прохор Евгеньич и поп стали взапуски расхваливать его и так часто повторяли, колотя себя в грудь, какой он был хороший, мудрый, благородный, что в конце концов мы, детвора, поверили их похвалам и горячо горевали об умершем царе. На портрете, что висел в нашем зале (его рама была обтянута трауром), он изображён таким добряком, что, глядя на него, было невозможно подумать, будто он способен на какие-нибудь злобные каверзы.

А на самом деле, по словам Финти-Монти, это был настоящий солдафон, держиморда... Вместе со своими министрами он состряпал свирепый приказ о так называемых «кухаркиных детях»: чтобы в гимназии ни за что не допускались дети рабочих, мастеровых, кучеров, судомоек, приказчиков, грузчиков, швей.

— Но какая же радость царю, — спрашиваю я с удивлением, — если все мы останемся неучами?

Иван Митрофаных не успевает ответить — его перебивает Блохин.

— А скажи, пожалуйста, — говорит он насмешливо, — какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая ему будет выгода? Богатые, они не пойдут бунтовать, а которые бедные, да ещё из простых, — ого-го!

— Верно, верно! — говорит Финти-Монти и, тя-

жело опираясь на палку, входит в полосу лунного света.

— Сейчас он будет петь! Вот увидишь! — говорит мне шёпотом Муня Блохин. — Уж я его знаю, пфа!

И действительно, Финти-Монти откашливается и запевает сильным баритоном:

Выдь на Волгу. Чей стон раздаётся
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся...

Но тут же обрывает своё пение и, взяв меня за кушак, начинает втолковывать мне, что я ни в чём, ни в чём не виноват. Кое-что в его словах мне непонятно, но главное я всё же улавливаю. Дело, оказывается, вовсе не в том, подучил ли я Козельского закопать в землю дневник. Всё это вздор, не имеющий никакого значения. Главное в том, что у мамы моей нет ни такого дома, как у «вдовы подполковника Тюнтиной», ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такого ресторана, как у Сигизмунда Козельского, — у неё нет ничего, кроме рук, стёртых до крови от стирки чужого белья. Оттого-то и решено не допускать меня до университетской скамьи.

— Зачем же ты унижаешься, кланчишь и кланяешься! — говорит Иван Митрофаныч сердито. — Ведь дело простое и ясное: Шестиглазому велено изъять из гимназии полдюжины «кухаркиных детей». Вот он и нацелился вышвырнуть семь человек: тебя, Финкельштейна, Яковенко, Христовуло и тех, из

шестого класса. Уж он найдёт у вас болячки, будь покоем! Ему приказывают, он и старается...

Мы выходим из переулка и начинаем шагать мимо каких-то магазинов, домов, палисадников. Знакомая Канатная улица кажется под луною поэтической, загадочной. Ни одного дома невозможно узнать. Словно мы попали на другую планету.

Иван Митрофаныч снова хватает меня за кушак:
— Но недолго этим иродам глумиться над нами!

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси!

Слова Финти-Монти действуют на меня ободряюще. Довольно унижаться и кланяться! Я ни перед кем не виноват! Я так и скажу маме. Я ей всё объясню. Это они передо мной виноваты. И перед нею... Да, да!

По дороге я рассказываю об Эммануиле Жуке.

— Правая рука Шестиглазого, — поясняет Иван Митрофаныч. — Работает у него на процентах.

По словам Ивана Митрофаныча, Шестиглазый самый неистовый, самый бесстрашный хабарник¹ и самый знаменитый из всех. Когда в городе хотят выругать какого-нибудь крупного взяточника, говорят: «Он дерёт, как Бургмейстер».

Торговля отметками — опять-таки по словам Ивана Митрофаныча — поставлена у него на широкую ногу. У него даже существует определённая такса: за тройку столько-то, за четвёрку дороже, за пятёр-

¹ Хабáрник (южн.) — взяточник.

ку ещё дороже. Особенно в последнюю четверть, когда подводятся итоги учебному году.

Иван Митрофаныч обличал его всюду, где мог. Написал о нём для газеты статью, но её запретила цензура. Написал бумагу в министерство, но там ему сказали: не суйся.

— Н-но скажите,— спрашивает, заикаясь, Тимоша,— за что же министру любить Шестиглазого, если Шестиглазый такой людоед?

Иван Митрофаныч утомлённо молчит. Вместо него отвечает Блохин:

— Или ты не видел, как Шестиглазый поёт «Боже, царя храни»? Как он крестится и целует иконы? Как он хлюпает носом, когда говорит о вдовствующей императрице Марии? А министру только это и нужно! За это он простит и не такие грехи!

Лунное сияние по-прежнему ходит голубыми волнами по улицам. Увлечённый разговором с Финти-Монти, я так и не заметил, как мы приблизились к нашим воротам.

— Прощай! — говорит мне Иван Митрофаныч. — И помни: ты пария, ты плебей, но не раб!

Едва только я вхожу в подворотню, навстречу мне бежит Циндилиндер. Он прыгает, машет руками и кричит как сумасшедший на весь двор:

— Пришёл! Пришёл! Воротился! Живой! И даже не думал тонуть!

И вот уже меня окружают и мама, и Маруся, и Маланка, и Длинная Лиза, и Циля и шумно радуются моему возвращению.

Мало-помалу я начинаю понимать, что случилось. Вечером, воротившись домой, мама была страшно обеспокоена: куда я пропал? На кухне она увидела записку, в которой Муня приглашает меня к Дракондиди. Что за Дракондиди, ни мама, ни Маруся не знали. Но вскоре пришёл Циндилиндер, прочитал записку и помчался на Успенскую улицу (он бывал у Дракондиди не раз). Меня уже там не было, и мама взволновалась ещё больше: не утонул ли я в море, как утонули на днях два семинариста, Фюк и Жаров.

Но где же Тимоша? Где Муня Блохин? Я хочу догнать их, сказать им спасибо, но Циндилиндер не пускает меня. Теперь, когда я воротился живой и здоровый, мама раньше всего велит мне хорошенько умыться. Я беру мыло, мочалку, ухожу с Циндилиндером за ближайший сарай, и там он беспощадно окатывает меня холодной водой. Потом мама ставит на стол деревянную миску борща, но я не в силах прикоснуться к еде и, когда чужие уходят, начинаю бессвязно рассказывать маме всё, что я таил от неё.

— Ты не знаешь... Даю тебе честное слово... Это не я... Это Тюнтин... Да ещё Мелетий... да царь... Финти-Монти говорит... ты послушай...

Мама молча глядит на меня с какой-то странной и тихой улыбкой. По всему видно, что она ни о чём не догадывается. Ей и в голову не может прийти, что я обманывал её и вчера и сегодня, что те деньги, которые она платила за моё обучение в гимназии, и за тетради, и за книги, и за ранец с мохнатой покрывкой, и за круглый пенал, и за гимназический мундир

с такими блестящими пуговицами,— что все эти деньги, добытые тяжёлым трудом, пропали без пользы, истрачены зря, всё равно что брошены в огонь.

— Мама, я должен сказать тебе... Шестиглазый... вчера... или нет, третьего дня... впрочем, нет, вчера...

Мама продолжает молчать. И вдруг произносит бесстрастно:

— Знаю... Давно уже знаю.

— Знаешь?

Сердце у меня обрывается.

— Со вчерашнего дня. С утра. Вчера утром пришла из гимназии бумага... Рано утром... В субботу... при дяде Фоме...

Значит, напрасно я убегал от неё, напрасно притворялся, будто ничего не случилось! Как раз в то время, когда я сидел в своём классе и прятался за спиной Блохина, она уже знала, что произошла катастрофа. Но ни слова не сказала ни дяде Фоме, ни Марусе. И теперь так спокойно достаёт из-за припечка аккуратно сложенную большую бумагу и подаёт её мне. Бумага плотная, глянцевиная, белая, и на ней написано красивейшим почерком:

Педагогический Совет Пятой Гимназии такого-то города извещает Вас, Милостивая Государыня, что, по постановлению Совета от такого-то числа, сын Ваш такой-то исключён из пятого класса означенной Гимназии за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся. Благоволите пожаловать такого-то числа в канцелярию Гимназии для получения документов Вашего уволенного сына такого-то.

*Примите, Милостивая Государыня, уверения
в совершенном почтении и преданности.*

Директор А. Бургмейстер.

Эта бумага для мамы и для меня — смертный приговор. А мама (это так странно) спокойна. Не называет меня ни бродягой, ни лодырем, как любит называть меня Маруся. Хоть бы крикнула или заплакала! В её оцепенении есть что-то пугающее. Я хватаю её холодные, точно мёртвые, руки и повторяю с отчаянием:

— Ну не надо!.. Ну пожалуйста! Ну будь так добра! Финти-Монти объяснил мне сегодня..

И я рассказываю ей всё, что говорил мне сейчас под луною на улице Иван Митрофаныч. Потом рассказываю ей о сестрицах Рикке, о Зюзе Козельском, после чего мы оба затихаем и долго сидим на большом кухонном топчане.

Лампочка начинает чадить и мало-помалу гаснет. От этого становится как будто светлее: всю кухню заливают лунный свет.

Мама взволнованным голосом, какого я никогда у неё не слышал, рассказывает мне о себе, о своей жизни, о моём отце, который покинул её в Петербурге вскоре после того, как я появился на свет, и наконец умолкает.

Я только теперь замечаю, что всё лицо моё мокро от слёз. Но мне становится так хорошо, словно в мире никогда не бывало ни Мелетия, ни Шестиглазого, ни Прошки, ни попечителя Люстиха. Я кладу голову маме на колени и, тихо глядя её руки, засыпаю.



ПОНЕДЕЛЬНИК



В понедельник я сплю до полудня и просыпаюсь с таким аппетитом, какого у меня никогда не бывало.

С жадностью набрасываюсь на еду: съедаю и большущий, осыпанный маком калач, и оставшуюся с вечера миску борща, и выпиваю такое количество чаю, что Маруся морщится и произносит брезгливо:

— Ты какой-то ненормальный, ей-богу!

Должно быть, я и в самом деле ненормальный. С тех пор как я понял, что я решительно ни в чём не виноват, что директор со своими «архангелами» взвалил на меня злую напраслину и — главное! — что мне больше не приходится прятаться от мамы и бояться её, на меня нахлынуло восхитительное чувство свободы и лёгкости.

Я выбегаю во двор и через две-три минуты поднимаюсь по канату в свой «Вигвам», вскакиваю на ветхий бочонок и достаю из своего тайника, из-за балки, школьную измятую тетрадь, на синей обёртке которой написано:

ГИМНАЗИАДА
ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА
В ДВЕНАДЦАТИ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ.

И на первой странице красными чернилами в за-
тейливой рамке:

*Посвящается
Рите Вадзинской*

Открываю тетрадь и читаю:

Страховку от дурного балла
Завел на парте Окуджалла,
И пред диктовкой где же тот,
Кто страховаться не пойдёт?

А вот о нашем гимназическом «греке», препода-
вавшем нам древнегреческий синтаксис:

И грек вошёл, и все мы встали,
Как волоса на голове.

А вот про Зюзю Козельского, подлизу и труса:

Как он умел страдать зубами,
Чуть замечал, что алчный грек
Своими хищными очами
Его терзаниям обрек,

Как шуткам Прошкиным смеялся
(Инспектор Прошкой назывался
И был великим шутником,
Зане еврея звал жидом).

А вот про Шестиглазого, про Финти-Монти, про Зуева... А вот про нашего латиниста Павла Ильича Кавуна...

И тут я вспоминаю, что сегодня от часу до двух у нас...—то есть нет, не у нас, а «у них» — мой любимый латинский урок. Я отдал бы всё на свете, чтобы в эту минуту встать перед всем классом у кафедры и прочитать нараспев:

Рэгна sóлис эрât
Сумблймибус áльта колю́мнис,—

и видеть, как Павел Ильич упивается вместе со мною музыкой каждого древнеримского слова и, зажмурившись, кивает мне в такт. И я впервые понимаю теперь со всей ясностью, что этому уже не бывать никогда, и чувствую такое сиротство, словно я один на земле.

К чёрту же всё, что напоминает гимназию! Долой «Гимназиаду»! На что она мне! Я с яростью рву мою бедную рукопись на мельчайшие части, рву сосредоточенно и долго, чтобы нельзя было прочесть ни единого слова, потом спускаюсь вниз, подбегаю к большому, обмазанному дёгтем мусорному ящику, над которым с густым жужжанием носится целое облако мух, и бросаю туда всю эту бумажную рвань.

На душе у меня становится легче, и я бегу задворками домой.

Едва я всхожу на порог, Маруся делает мне знак не шуметь: у мамы с утра мигрень. Она лежит без движения, с потемневшим лицом. Голова её туго обмотана большим полотенцем, которое Маруся каждые двадцать минут погружает в наполненный уксусом таз.

— Мама была в гимназии. Ходила за *твоими* документами! — говорит она укоризненным шёпотом. — Бургмейстер кричал на неё. Да, кричал. И всё из-за *тебя*, из-за *тебя*!

Я стою у маминой постели, и сердце моё ноет от тоски. Потом иду на кухню, чтобы не разреветься при маме. Маруся протягивает мне три пятака:

— Я на твоём месте пошла бы сейчас к Гавриленко, купила бы к ужину хлеба и полфунта перловой крупы.

Лавка Гавриленко за углом, на Старо-Портофранковской улице. Беру деньги и уныло бреду к Гавриленко. И нужно же так случиться, что первый, кого я встречаю, ещё не дойдя до угла, — Валька Тюнтин! Его сонное лицо с подслеповатыми глазками пышет самодовольством и важностью. В руке у него тяжёлая трость, хотя ношение палок, зонтиков, тростей и дубинок строго-настрого запрещено гимнастам. В наших краях Валька бывает почти ежедневно: здесь неподалёку живёт его тётка, вдова какого-то московского барина, занимающая целый этаж в доме мадам Шершеневич.

Больше всего на свете мне сейчас не хотелось бы встретиться именно с Валькой. Но он глядит на меня

так дружелюбно и так широко улыбается мне, словно узнал обо мне что-то очень хорошее и ему не терпится обрадовать и поздравить меня.

— Здравствуй,— говорит он, торжествуя,— какой ты худой и зелёный! Ну уж и ругал тебя сегодня директор... Он назвал тебя паршивой овцой. Пришёл к нам на урок и сказал: «Слава богу, его уже не будет в гимназии!» Так и сказал: «Слава богу! Паршивая овца всё стадо портит». Моя мама говорит то же самое: твоё место не в гимназии, а в прачечной. Ведь твоей маменьке...

— Ах ты, мурло! — кричу я, охваченный единственным желанием: исцарапать, избить, искусать эти наглые, смеющиеся щёки.

В его самодовольной ухмылке воплощается для меня всё жестокое, злое, что терзает меня вот уже несколько дней. Это придаёт мне удесятёрённые силы, и неожиданно для себя самого я набрасываюсь на ошеломлённого Тюнтина, выхватываю его тяжеловесную трость, ломаю её пополам и швыряю ему прямо в лицо.

Ни раньше, ни потом я не мог бы совершить это чудо: трость была крепкая, словно стальная, и в обыкновенное время я не мог бы не только сломать её, но даже согнуть.

Я жду, что Валька завопит от обиды и боли, набросится на меня с кулаками, а кулаки у него сильнее моих. Но на его лице вдруг появляется жалкое выражение испуга, и он с каким-то дрянненьким визгом и хрюканьем трусливо убегает в подворотню.



Я СТАНОВЛЮСЬ ХУДОЖНИКОМ



Проходит ещё несколько дней. Как-то является к нам Циндилиндер и, отведя меня в угол, спрашивает заговорщическим шёпотом:

— Хочешь заработать большой капитал? — и лукаво подмигивает и делает такое движение пальцами правой руки, словно перебирает бумажные деньги.

Я испуганно гляжу на него. Уж не втягивает ли он меня в какое-нибудь тёмное дело? Зачем эти подмигивания, эти странные жесты, этот таинственный шёпот? Но нет, ничего зазорного он не собирается мне предложить. Предлагает он, в сущности, хорошую вещь: живописцу вывесок маляру Анаховичу временно нужен подручный — так вот, не хочу ли я взяться за эту работу по двугривенному в день, на хозяйских харчах.

Трудно даже представить себе, с каким упоением бегу я в тот же вечер к Анаховичу! Его фамилию я знаю отлично, так как он не только маляр, но и создатель многочисленных вывесок для табачных магазинов, парикмахерских, трактиров, прачечных заведений и проч. Каждая его вывеска — величиною с хорошую дверь, и на каждой (в правом углу внизу) он всегда выводит крупными печатными буквами: «Художник Л. Анахович».

Для табачных магазинов он рисует дородного турка в роскошной малиновой феске. Турок сидит по-турецки на турецком диване и с наслаждением курит турецкий табак из длинейшего турецкого кальяна, откуда элегантною спиралью вьётся тоненький турецкий дымок. А какими оказываются на вывесках у него парикмахеры! Молодые, с прелестными усиками, они всегда держат за ушами гребёнку и в изящной позе склоняются над своими клиентами, любовно лелея их волосы большими серебристыми ножницами.

Вообще вывески Анаховича и других таких же мастеров-живописцев — единственная картинная галерея, доступная жителям нашего города. И ещё недавно, когда другой живописец, конкурент Анаховича, Бендель, изготовил для «Северной гостиницы» вывеску, на которой четыре джентльмена с тончайшими талиями играют на изумрудном бильярде, жители сбегались отовсюду поглядеть на это новое произведение искусства, и никого не смущало, что все джентльмены были как две капли воды похожи

один на другого и что руки, державшие кий, были у них выворочены в локтях, как на дыбе.

Поэтому нет ничего удивительного, что, выслушав предложение Циндилиндера, я пришёл в бурный восторг: я был уверен, что стоит Анаховичу увидеть меня, он даст мне все свои кисти и краски, и я сейчас же начну малевать таких же великолепных турок в малиновых фесках и таких же близнецов-джентльменов, цепенеющих над изумрудным бильярдом.

Но Анахович (маленький человечек с кислыми, равнодушными глазками) смотрит на меня апатично и говорит таким голосом, словно ничего хорошего не ждёт от меня:

— Вот там в углу стоит шпатель. И чтоб завтра с утра вы уже были на крыше...

И называет адрес: Садовая, восемь.

Что за шпатель? Какая крыша?

Оказалось, шпателем называется длинная палка с острым скребком на конце. Перед тем как окрасить крышу, с неё чисто-начисто соскребаются шпателем и ржавчина и прошлогодняя краска.

— А кисти?

— А кисти, молодой человек, через год, через два...

С этой минуты я делаюсь шпательщиком.

Шпательщик — это вовсе не то, что шпаклёвщик. Он исполняет самую простую работу, для которой не требуется особых умений. Взберёшься с самого утра по «дробинке» на заржавленную, закопчённую, за-

скорузлую крышу, на которой кое-где сохраняются побуревшие островки старой краски, снимешь куртку, рубаху, ботинки, обмотаешь ноги тряпьем и начнёшь при помощи шпателя превращать всю эту запачканную, безобразно корявую площадь в чистую, без единой пылинки, после чего сюда могут прийти маляры, хорошо зашпаклевать эту крышу и сделать её пунцовой, зелёной или даже огненно-жёлтой, так что дом помолодеет надолго и станет украшением всей улицы.

Шпаклевать я тоже умею недурно: затирать и замазывать особою смесью все царапины, щели и выбоины, чтобы крыша стала ровной, как зеркало,— этому искусству я научился на взморье, когда мне случалось помогать рыбаку Симмелиди красить его челноки и шаланды. Но Анахович не доверяет мне этой работы, и я вполне доволен своим шпателем.

С утра прохладно, веет морской ветерок, работаете легко и приятно, но часам к двенадцати весеннее южное солнце сильно накаляет мою крышу, и я сажусь у трубы отдохнуть.

Почти всегда в это время по «дробинке»¹ на крышу взбирается сын Анаховича, Борис Леопольдович, надсмотрщик над всеми работами, на которые его отец взял подряд. Он очень похож на отца: такого же маленького роста, апатичный и вялый. Постояв у трубы минут пять неизвестно зачем, он достаёт из принесённой им с собою корзины пучок чесноку или

¹ Д р о б и н а — приставная лесенка.

луку, краюху хлеба и бутылку кисловатого кваса. Это и называется у Анаховича «на хозяйских харчах». Рыбаки научили меня, как нужно пить из бутылки: не прикасаясь к горлышку верхней губой.

Около получаса я сижу у трубы и блаженствую. Потом принимаюсь за свой шпатель опять, а потом беру принесённую с собою метлу и сметаю в одну кучу всю дрянь, которую удаётся мне соскрести с моей крыши. И радуюсь, когда этой дряни оказывается особенно много: значит, я поработал не даром!

Да, в моей работе есть немало такого, что по-настоящему нравится мне: из недели в неделю проводить свои дни под открытым небом, на такой высоте; сверху глядеть на тот мир, где копошатся Тюнтины, Барбосы и Прошки; видеть добрый результат своих трудов; знать, что в субботу принесёшь домой заработанный рубль,— всё это вызывает во мне живейшую радость.

Но вначале, на первых порах, когда я, весь измаранный, после работы шагал по тем самым улицам, которые ещё так недавно видели меня гимназистом с серебряным гербом на фуражке, я испытывал непреодолимый конфуз. Чтобы не показать никому, что я чувствую себя отщепенцем, я нарочно напускал на себя гордое презрение к насмешливым взорам, которые бросали на меня окружающие. Это была пустая бравада, потому что в душе я испытывал боль.

Но мало-помалу я свыкся со своим положением. Теперь я совершенно равнодушен к тому, что стоящая на балконе мадам Шершеневич, заведя меня,

отворачивается, будто нюхает цветы или гладит болонку, и уже не кричит мне, как прежде:

«Здравствуйте! Что вы так согнулись? Вам же не семьдесят лет!»

Впрочем, стоит мне взглянуть как-нибудь ненадолго на маму, когда она стирает или шьёт, и меня с новой силой охватывает горькое чувство: мне становится жалко и её и себя. Мама по-прежнему не говорит мне ни слова о постигшей меня катастрофе и даже как будто довольна, что я сразу же взялся за работу. Но она так осунулась и похудела, что мне страшно хочется утешить её. И мне приходит в голову один восхитительный план, который я и сообщаю ей — тайком от Маруси — как величайшее моё изобретение. План очень простой и естественный, но выполнить его не так-то легко.

— Мамочка, я сделаю всё... вот увидишь!

Мама недоверчиво глядит на меня, и тут происходит событие, какого я никогда не забуду: вдруг она притягивает к себе мою голову и крепко целует меня в щёки, в шею, в подбородок, в глаза.

В нашей семье этого обычая не было. Сколько я помню себя, мама никогда не целовала ни меня, ни Марусю. С нами она была неизменно добра, но сурова. Может быть, поэтому её внезапная ласка так потрясает меня. Я вскакиваю и говорю убеждённо:

— Завтра же начну... вот увидишь!

Издали доносятся тоскливые звуки: заиграл на трубе Симоненко. Но теперь в этих звуках мне слышится что-то весёлое, какое-то обещание, призыв.



Я ПРОДОЛЖАЮ УЧИТЬСЯ



С

некоторого времени у меня появилось новое и очень важное занятие, которое сделало мою тогдашнюю жизнь гораздо интереснее, чем прежде.

Взобравшись с утра на крышу, я раньше всего достаю кусок мела и пишу на ней крупными иностранными буквами:

J look. My book. J look at my book.

Ай лук. Май бук. Ай лук эт май бук¹.

И так далее — строчек тридцать или сорок подряд. А потом долго шагаю над этими тарабарскими строчками, пытаюсь затвердить их наизусть. Так перед на-

¹ Я гляжу. Моя книга. Я гляжу на мою книгу (англ.).

чалом работы я изучаю английский язык. Специально для этого я купил за четвертак на толкучке «Самоучитель английского языка», составленный профессором Мейендорфом, — пухлую растрёпанную книгу, из которой (как потом оказалось) было вырвано около десятка страниц.

Этот Мейендорф был, очевидно, большим чудачком. Потому что он то и дело обращался к читателям с такими несуразными вопросами:

«Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?»

«Есть ли у вас одноглазая тётка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?»

И всё же я готов был исписывать каждую крышу, на которой мне приходилось работать, ответами на эти дикие вопросы профессора, так как в своём предисловии к книге он уверял самым категорическим образом, что всякий, кто с надлежащим вниманием отнесётся к его канарейкам и тёткам, в совершенстве овладеет английской речью и будет изъясняться на языке Джорджа Байрона, как уроженец Ливерпуля или Дувра.

Я всем сердцем поверил ему и по его указке ежедневно писал на железных страницах такую несусветную чушь:

«Видит ли этот слепой незнакомец синее дерево глухонемого певца, на котором сидит, улыбаясь, голубая корова?»

И, хотя было невозможно понять, сидит ли эта странная корова на ветках этого синего дерева или

она взгромозилась на слабые плечи певца, всё же при помощи такого сумбура в моё сознание прочно внедрили самые первоосновы английской грамматики.

Словно о высшем блаженстве, мечтал я о том сладостном времени, когда и Шекспир, и Вальтер Скотт, и мой обожаемый Диккенс будут мне доступны, как, скажем, Толстой или Гоголь. Никогда не забуду того сумасшедшего счастья, когда, раздобыв у Людвига Мейера (он же Спиноза) книжку гениального американского писателя Эдгара По, я нашёл там стихотворение «Аннабель Ли» и обнаружил, что понимаю в нём чуть не каждое слово. Я сразу же решил, что Аннабель Ли — это Рита Вадзинская, и громко декламировал его во время работы, даже не подозревая о том, что, если бы мою декламацию чудом услышал какой-нибудь настоящий британец, он ни за что не догадался бы, что слышит английскую речь. Ибо профессор Мейендорф не научил меня (да и не мог научить), как произносятся английские слова, и я коверкал их наивнейшим образом.

Занимался я в ту пору не только английским.

Раздобыв на толкучке кое-какие учебники и программу шестого класса, я стал по вечерам заниматься алгеброй, латынью, историей, и, странное дело, оказалось, что гимназический курс удивительно лёгкий, когда изучаешь его без учителей и наставников, не в стенах гимназии, а в «Вигваме».

Нередко приходил ко мне Тимоша, и мы занимались вдвоём.

Мои занятия обрадовали маму, как великий сюрприз. Целый месяц (после того, как исключили меня из гимназии) она была уверена, что с моим образованием покончено и что в лучшем случае мне суждено сделаться жалким приказчиком в какой-нибудь жалкой лавчонке. И вот она мало-помалу увидела, что заветнейшая мечта её жизни, мечта, которую она считала разрушенной, осуществляется, несмотря ни на что.

Словно к какой-то музыке, прислушивалась она к нашим занятиям с Тимошей. Количество синих баклажан, вареников с вишнями, дынь и «монастырских» арбузов, которыми она угощала Тимошу, не поддается никакому подсчёту. Снова она стала вполголоса петь свои чудесные песни, склоняясь над лоханью или поливая цветы, снова стала смеяться до слёз над «Мёртвыми душами» и «Паном Халявским». Видя, что на сердце у неё посветлело, я ещё пуще старался вникать в «Физику» Краевича и «Латинскую грамматику» Кюнера.

Даже Симоненко стал относиться ко мне благосклоннее.

Как-то в воскресенье я увидел, что он красит ограду своего палисадника. Я сбегал домой за кистями и помог ему в этой весёлой работе. Очень скоро весь его забор стал малиновый. В порыве благодарности добродушный усач стал совать мне в руку серебряный рубль. Я не взял. Тогда он окончательно расстрогался и спросил у меня, не хочется ли мне поступить в полицейский участок помощником писаря.

— Место хорошее, сытное.

Писаря, служившие в полиции, были сплошное жульё и, так как драли с просителей за всякую малость, в самом деле не знали нужды: катались на извозчиках, носили шикарные галстуки, курили сигары и пьянствовали.

У него у самого, у Симоненко, была прибыльная и очень лёгкая служба. Каждое утро он напяливал на себя полицейский засаленный китель и шёл на базарную площадь проверять, не обманывают ли торговцы своих покупателей, не всучивают ли им несвежие овощи и тухлую рыбу? Правильные ли у торговцев весы? Не нужно ли составить протокол о мяснике Лукине, продающем червивое мясо, или о кваснике Чумакове, торгующем беспатентным вином?

Казалось бы, торговцы должны были бояться его и трепетать при его появлении. На самом же деле они приветствовали его как лучшего друга.

С таким светлым лицом проходил он мимо их ларьков и товаров, словно лишь затем и явился сюда, чтобы поздравить их с хорошей погодой.

Весело накладывали они в большую корзину, которую несла за ним его дюжая работница Марья, и рыбу, и сало, и кульки со всевозможной крупой, и маслины, и ветчину, и орехи, и самые отборные фрукты и не требовали с него ни копейки.

И всё это оттого, что по своей «доброте» Симоненко охотно предоставлял им возможность спускать покупателям всякую заваль и гниль. Никогда не проверял их фальшивых весов и не штрафовал за «антисанитарное состояние» их лавок.

Это делалось явно у всех на глазах. И всё же... Как ни напрягаю я память, я не могу вспомнить ни единого случая, чтобы кто-нибудь назвал Симоненко бесчестным хапугой, взяточником. Напротив, все в один голос говорили о нём, что он неплохой человек, и все в нашем доме (кроме Маруси и мамы) относились к нему с уважением, завидовали ему и хвалили его. Если кому из соседок были нужны на короткое время утюги, или ступка, или сито, или кофейная мельница, они шли к Симоненко, и он никогда не отказывал им.

Любил подавать милостыню монахам и нищим.

Целовал ручки у мадам Шершеневич.

Усердно молился по праздникам в Кáсперовской церкви сестёр милосердия (у нас за углом на Старо-Портофранковской улице).

И я хорошо помню ту круглую большую мармеладку, которую он подарил мне однажды, когда мне было лет шесть или семь. Я стоял во дворе и ревел: меня обидели какие-то мальчишки, а он вышел из своего палисадника, взял меня на руки и сунул мне в рот мармеладку. Она пахла табаком и селёдкой, но мгновенно осушила мои слёзы.

Полицейские в нашем городе были такие живодёры, драчуны, грубияны, что добродушный «хабарник» Семён Симоненко казался среди них чуть не праведником.



«АНТИПАТ»



Между тем дела мои становились всё хуже. Работы у Анаховича всё меньше. Малярный сезон кончился.

Тот же Анахович устроил меня в артель по расклейке афиш. В артели работали десятки быстроногих мальчишек, причём каждого посылали в определённый район. Мне досталась дальняя окраина. Я стал бегать по переулкам и улицам с ведром клейстера и малярною кистью, изнемогая под тяжестью разноцветных афиш, которые надлежало возможно скорее расклеить на стенах, на заборах и на специальных колонках, торчавших чуть ли не на каждом углу.

Афиши были такие:

ПРИЕХАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ЗЕВЕНЕ!

УХ, КАК ХОРОШО В БАССЕЙНЕ ИСАКОВИЧА!

КАПИТАН ДЕ ВЕТРИО!!!

*Человек со стальным желудком!
Глотает разбитые бутылки и рюмки!!!
А также лягушек и змей!!!*

**Чревовещатель
ПАНТЕЛЕЙМОН ВАНЮХИН
Со своими говорящими куклами**

Уточкин! Уточкин! Уточкин!!!

Эта работа оказалась мне не под силу. Её сподручнее делать вдвоём — одному и неудобно и тяжело.

Через неделю я бросил её и по рекомендации усаха Симоненко стал давать уроки пожилому военному писарю, которому нужно было усвоить программу четвёртого класса гимназии, чтобы получить повышение по службе. Писарь был робкий, обходительный, скромный, но оказался большим скупердям: так и не доплатил мне двух с половиной рублей. У него была странная фамилия: Головатюк.

Попалась мне и другая работа: каждый вечер от

семи до одиннадцати читать одной престарелой полковнице Евдокии Георгиевне длиннющие романы из журналов «Родина» и «Нива», причём после первой же страницы Евдокия Георгиевна засыпала и мирно храпела всё время, покуда продолжалось моё чтение. Когда же оно подходило к концу, старуха встряхивалась и, делая вид, что не спала ни секунды, горячо восхваляла прочитанное. И за каждый визит платила мне серебряный полтинник.

Эту работу подыскала мне Лёка Курындина через одну из своих школьных подруг. По-прежнему Лёка относилась ко мне с материнской заботливостью: раздобыла для меня с полдесятка учебников, которые были нужны мне, как хлеб, а на пасху подарила мне английский словарь. А сколько холодных котлет приносила она мне в библиотеку-читальню, куда я забегал по воскресеньям после занятий с Тимошей и Муней!

— Опять почему-то мне дали котлеты. Терпеть не могу котлет,— говорила она, морща нос и делая смешную гримасу.— Скушай, пожалуйста, а то придётся выбросить!

Котлеты были жёсткие, сухие, с примесью едкого перца, но я съедал их с большим удовольствием — нужно же было выручить бедную Лёку, и, кроме того, аппетит у меня в ту пору дошёл до обжорства, должно быть потому, что в последние месяцы я рос с необычайной быстротой. Гимназическая моя куртка (из материи «маренго») стала как-то сразу тесна и узка. К счастью, в конце лета я мог наконец сбросить

с себя эту куртку и купить в магазине Ландесмана отличный шевинотовый костюм на скопленные пятнадцать рублей.

Я забыл сказать, что ещё в те времена, когда я работал на крыше, я, как-то возвращаясь домой, увидел издали Риту Вадзинскую.

Сразу меня как кипятком окатил тот восторг, который всякий раз налетал на меня, когда она возникла предо мною на улице,

Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Теперь она стояла с подругой у кадки мороженщика. Тот только что снял с головы эту тяжёлую кадку, обмотанную белым грязноватым холстом, и стал добывать из её глубины холодные золотистые шарики «сливочного». Проходя мимо Риты, я от прилива любви и застенчивости сгорбился ещё сильнее, чем всегда. И вдруг случилась страшная вещь: не прошёл я и двух шагов, как Рита громко засмеялась и сказала мне вслед:

— Боже, какой *антипат*!

А её подруга проговорила насмешливо:

— Был гимназистом, а стал трубочистом!

Эти слова ошеломили меня. Я не поверил ушам. Я готов был заплакать от горя. И не только потому, что Рита оскорбила меня, а и потому главным образом, что она оказалась такая пошлая, дрянная девчонка!

«*Антипат*»! Существует ли на свете более без-

образное, более вульгарное слово! И эту-то кривляку я принял за Аннабель Ли! Ей я посвятил мою «Гимназиаду»!

Зачем не мог я прежде видеть?
Её не стоило любить,
Её не стоит ненавидеть,
О ней не стоит говорить!

Впрочем, не успел я повернуть на свою улицу, как моё горе уже совершенно рассеялось и сменилось необузданной радостью.

Словно я вырвался из каких-то сетей, опутывавших меня по рукам и ногам.

Особенно же я был рад потому, что теперь наконец-то мне открылась возможность влюбиться в милую Лёку Курындину, которая, я уверен, никогда, ни при каких обстоятельствах, не могла ввести в свою речь такое мерзкое слово, как «антипат»!

В звуках трубы усаха Симоненко мне в этот вечер слышалось столько праздничного веселья и радости, что я чуть не затанцевал на железном листе, прикрывающем нашу помойку.



ВСЁ РАЗЛЕТАЕТСЯ В ДРЕБЕЗГИ!



о жалуиста, не думайте, что с этой минуты всё в моей жизни пошло благополучно и гладко.

Ничуть не бывало. Через год у меня появился злейший, коварнейший враг, который чуть было не разрушил все мои планы и замыслы.

Этим врагом был я сам.

Правда, на первых порах я учился усердно: всю премудрость шестого класса одолел настойчивым трудом. Но через год, когда мне предстояло с таким же упорством овладеть программой семиклассников, на меня вдруг напала непреодолимая лень.словно дьявол вселился в меня.

Я забросил учебники, разошёлся с Тимошей и, хотя хорошо сознавал, что каждый день моей празд-

ности ведёт меня к верной гибели, ничего не мог поделать с собою и в конце концов стал отъявленным лодырем.

То была самая постыдная полоса моей жизни.

Началась она очень невинно — с горячего увлечения Уточкиным.

Уточкин в то время ещё не был прославленным лётчиком, да и самолётов тогда ещё не было.

Молодой, по-молодому весёлый, он тогда лишь начинал свою карьеру как чемпион велосипедного спорта, и не существовало на свете такого гонщика — ни иностранца, ни русского, — который мог бы хоть раз обогнать его на нашем городском циклодроме.

Если бы мне в ту пору сказали, что в мировой истории были герои, более достойные поклонения и славы, я счёл бы это клеветою на Уточкина. Целыми часами просиживал я вместе с другими мальчишками под палящим солнцем верхом на высоком заборе, окружавшем тогда циклодром, чтобы в конце концов своими глазами увидеть, как Уточкин на какой-нибудь тридцатой версте вдруг пригнётся к рулю и вырвется вихрем вперёд, оставляя далеко позади одного за другим всех своих злополучных соперников — и Богомазова, и Шапошникова, и Луи Першерона, и Фридриха Блитца, и Захара Копейкина — под неистовые крики толпы, которая радовалась его победе, как собственной.

— Уточкин! Уточкин! Уточкин! — кричал я в иступлении вместе с толпой, чуть не падая с забора вверх тормашками.

Товарищи мои — Муня Блохин, Лобода, Бондарчук — тоже любили Уточкина и тоже посещали циклодром. Но их увлечение никогда не доходило до страсти, я же отдал Уточкину всю свою пылкую душу: не пропускал ни одного из его состязаний с румынскими, бельгийскими, итальянскими гонщиками и был беспрдельно счастлив, когда однажды увидел его в гастрономическом магазине «Братьев В. И. и М. И. Сарафановых», в котором он, как обыкновеннейший смертный, покупал сосиски и вино.

Заметив мой восторженный взгляд, он лениво протянул ко мне руку, взъерошил мне волосы своими рыжими короткими пальцами. Для меня это было великим событием, которым я гордился перед всеми мальчишками. И как они завидовали мне!

Добро бы у меня не было других увлечений! Но нет: с такой же сумасшедшей, бессмысленной страстью я стал увлекаться бумажными змеями.

Вновь меня захватила мечта: создать такой замечательный змей, который мог бы схватиться со змеем Печёнкина и победить его в воздушном бою.

Для этого мною (с великими трудностями!) была добыта чудесная бечёвка, которая называлась у нас «английский шпагат», и огромный лист светло-синей чертёжной бумаги. Все эти сокровища я снёс к Лёньке Алигераки, с которым и решил соорудить сверхмощный, боевой гигант.

— Это будет змеюга, уй-юй-юй! Мы так и назовём его: «Смерть печёнкинцам!»

С этого времени и начинается моя измена маме,

Марусе, самому себе. Каждое утро, вместо того чтобы засесть за учебники, я прихожу к Лёньке в заброшенный старый сарай. Там, насупив свой крохотный лобик, Лёнька, маленький, невероятно длинноносый мальчишка с чёрными маслянистыми глазками, сидит на полу среди кучи всякого тряпья, весь поглощённый изготовлением змея. Увидев меня, он всякий раз говорит:

— Хорошо, что ты пришёл подсоблять!

Но моя помощь ему совсем не нужна. Я необходим ему лишь как почтительный зритель, перед которым он может красоваться и важничать. Мастерит ли он бамбуковую раму для змея, мерит ли камышинкою змеиную «путу», завязывает ли узлы на хвосте, он жаждет одобрений и похвал. А если я забываю его похвалить, он сам принимается восхищаться собою:

«Глазомер у меня — прямо циркуль!»

«Клейстер я сварил — хоть железо приклеивай!»

Через три-четыре дня змей готов — огромный змеюга, величиною с телёнка. Охрой и суриком я маляю на нём пучеглазую рожу, под которой подписываю большущими печатными буквами:

«Смерть печёнкинцам!»

Потом мы перематываем восьмёрками весь английский шпагат на длинную дубовую чурку, прячем змея за яслями под воловым навесом и ждём хорошего ветра, чтобы змей поднялся в небеса и там схватился со змеем Печёнкина.

Но целую неделю стоит штиль. Наконец в воскресенье к полудню бельё, висящее во дворе на верёвке,

начинает шевелиться и дергаться и вдруг, как по команде, вздымается вверх. По небу с моря бегут облака. Ветер, ветер,—и с каждой минутой сильнее. По улицам носится пыль, засоряя прохожим глаза. Девочки, выходя за ворота, визжат и прижимают свои юбки к коленкам. Пора! Я взбираюсь со змеем на крышу и держу его двумя руками за края. Лёнька внизу подо мною долго стоит неподвижно и вдруг кричит мне отчаянным голосом: «Хоп!», бросает на землю пузатый моток и, пропуская нитку через левый кулак, бежит что есть духу по длинному двору к воротам.

Змей, хлестнув меня хвостом по лицу, медленно взлетает над домами, а там его подхватывают весёлые вихри и дружно несут в высоту.

Я прыгаю с сарая во двор и, возбужденный, счастливый, перехватываю у Лёньки конец бечевы:

— Уй-юй-юй, как тянет!

Кажется, что и змей так же счастлив, как мы: весело помахивая длинным хвостом, он не егозит, не суетится, не ёрзает по небу, но гордо и спокойно парит в вышине.

Я выпускаю ещё двадцать или тридцать аршин бечевы, он легко взмывает ещё выше, весь позолоченный солнцем, и теперь уже всякому видно — из далёких и близких кварталов,—какой он силач и красавец!

Отовсюду сбежались мальчишки, и каждый просит, чтобы ему «на секундочку» дали поддержать бечеву. Мне очень хочется порадовать их, но Лёнька

рявкает на них страшным голосом, и они в испуге умолкают.

А что же Печёнкин? Конечно, он понял, что тягаться с нашим гигантом ему не под силу, и, не желая позорить себя, держит свой змей на земле, где-нибудь в тёмном подвале. Воображаю, как он злится и бесится вместе со своими печёнкинцами и как все они завидуют нам!

Так проходит час. Мы блаженствуем. И вдруг из-за невысоких конюшен соседнего дома как-то робко и даже застенчиво выплывает в небо печёнкинский змей! Каким он кажется неказистым и маленьким! На что он годится, этот жалкий малыш? Ведь бечева у нас в тысячу раз крепче печёнкинской, и пусть он только попробует завязать с нами бой — тут ему и будет капут!

Мы заранее торжествуем победу и громко кричим «ура», когда плюгавый печёнкинский змей пытается приблизиться к нашему.

Но тут происходит невероятная вещь: наш гордый, могучий, спокойный гигант начинает суетиться, метаться и, вдруг прочертив в небе огромный зигзаг, падает с высоты как подстреленный куда-то на далёкие улицы, на далёкие деревья или крыши, и в руках у нас остаётся ненужная, слабая нить.

Лёнька дико взвизгивает и в отчаянии садится на землю.

— Негодяй! — кричу я ему, задыхаясь от ярости. — Это ты, это ты, это ты виноват!

И набрасываюсь на него с кулаками.

Мы барахтаемся в пыли и грязи. Он извивается, кусает мне руки, вонзается ногтями в моё ухо и дико ревёт, а из-за невысокой стены слышно, как на соседнем дворе гогочут от восторга печёнкинцы.

В этой катастрофе и правда виноват один Лёнька.

Самонадеянный, самодовольный бахвал, он уверил меня, что тот хвост, который он смастерил для змеюги,— чудесный, замечательный хвост, так как он, Лёнька, собственноручно изготовил его из пёстрых лоскутков и тесёмок, крепко-накрепко связав их между собою узлами. Узлы-то были крепкие, да лоскутки и тесёмки — гнилые. Попадалось среди них и мочало, совсем уж непригодное для такого большого змеюги.

Об этом я сказал ему раньше, но он только сплюнул презрительно. Вообще он был такого высокого мнения о себе, о своём мастерстве, что мало-помалу и я уверовал в его непогрешимость. Всегда как-то веришь самоуверенным людям,— по крайней мере, со мною это бывало всегда.

Но злодей Печёнкин был умнее. Поняв, что нитку нашего змеюги ему никогда не порвать, он зашёл, так сказать, с тыла и одним сильным рывком без особого труда отодрал у воздушного щёголя его пышный, но хилый хвост. А змей без хвоста — словно камень: ни на миг не удержится в небе.

Чтобы спасти хотя бы часть бечевы, нам нужно было, чуть только произошла катастрофа, собрать во дворе уцелевшую нить и тотчас же сломя голову бежать из ворот в те переулки и улицы, близ которых свалился змей. Вместо этого мы с Лёнькой в припадке

бессмысленной злобы долго тузили друг друга, барахтаясь на грязной земле, к великому удовольствию быстроногих печёнкинцев, которые, ни минуты не мешкая, побежали гурьбой в те места, где протянулась драгоценная нить, и мигом расхватили её по клочкам.

Весь в синяках, с подбитым глазом, в изодранной куртке, взъерошенный, несчастный и жалкий, приплёлся я в тот вечер домой. И до чего мне было стыдно садиться вместе с мамой за стол, есть её кашу, её брынзу, её борщ, её хлеб! С каким негодованием смотрела на меня в тот вечер Маруся, и какую я провёл ужасную бессонную ночь! По ночам я с особенной ясностью видел всё постыдное безрассудство своего поведения, столько раз называл себя дармоедом и трутнем, злостным растратчиком своих лучших годов, столько раз давал себе слово исправиться, воротиться к труду и к учению, но наступало утро, и меня снова тянуло на улицу, либо в гавань к пароходам и парусникам, либо на велосипедные гонки, либо на пожар, либо на бой петухов, либо просто гонять голубей усача Симоненко, лишь бы не прикасаться к учебникам, которых я избегал как огня.

Мама за всё это время ни разу не бросила на меня сердитого взгляда, но стоило мне появиться в дверях, как веки и брови у неё начинали дрожать, а румяные губы сжимались.

Однажды, проходя по Новорыбной, я увидел попа Мелетия. Он казался таким добрым и красивым и так ласково отвечал на поклоны прохожих! Но я шарах-

нулся от него, как от буйвола. Я не мог допустить, чтобы он, погубивший меня, мог злорадствовать, увидев, каким я сделался одичалым и жалким.

Разгильдяйство моё продолжалось месяца три, даже больше, и за это время я раз навсегда всем своим сердцем почувствовал, какая смертельная скука с утра до ночи искать развлечений; я увидел, что быть шалопаем — это мучительный труд, что безделье не только позор, но и боль.

Впрочем, этой боли я никому не показывал, а, напротив, щеголял перед всеми своей бесшабашной разнузданностью. Мне и сейчас горько вспомнить, с каким ужасом взглянула на меня Лёка Курындина, когда в ответ на все её упреки и жалобы я, неожиданно для себя самого, произнёс хулиганскую брань, которой устыдился в тот же миг. Жильцы в нашем доме стали сторониться меня, а стряпуха биядюжников Мотя, встречая меня, приговаривала:

— От как худо дитю без батька! Был бы у тебя в доме папаша, не вышла бы из тебя шантрапá.

В июле я окончательно отбился от дома и не видел ни Маруси, ни мамы. Маме ни с того ни с сего я наговорил омерзительных грубостей, о которых мне и теперь очень совестно вспомнить, и в порыве какой-то бессмысленной злобы заявил, что ухожу навсегда. Нечёсанный, без фуражки, в рыжих и рваных ботинках, очень худой и голодный, я слонялся без всякого дела по раскалённому пыльному городу.

Единственной моей компанией стали печёнкинцы. По целым часам я ловил с ними рыбу, охотился за

тарантулами, играл до одурения в орлянку и, если выигрывал две-три копейки, покупал себе хлеба и квасу.

Ещё хорошо, что на Большой Арнаутской в глубоким подвале жила со своим мужем рябая Маланка — та самая, что помогала моей маме возиться с бельём. Когда меня слишком уж мучило от голода, я спускался к Маланке по крутым, осклизлым и кособоким ступенькам, и она кормила меня то помидорами, то мамалыгой, то рыбой. Позже я узнал от неё, что всю эту еду — и мои любимые вареники с вишнями — ей тайком давала для меня моя мама.

Спать я уходил на берег моря. Там в большой шаланде старого рыбака Симмелиди можно было отлично устроиться на ночь. Но вскоре о шаланде проводали и другие мальчишки, такие же бездомные, как я. Они забирались туда ещё с вечера и, едва только я появлялся, швыряли в меня камнями и комьями глины. (Их было трое, и они были старше меня.) Приходилось ложиться на голый песок, который к утру становился невыносимо холодным.

Не знаю, что стало бы со мной, если бы эта праздная, нелепая и горькая жизнь затянулась до зимних морозов. Должно быть, я стал бы бродягой и умер бы где-нибудь под снегом в степи.



ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С НОВА



пасла меня, как это ни странно, инфлюэнца — тяжёлая болезнь, которая теперь чаще называется: грипп.

Эпидемия инфлюэнцы в то время нагрянула на наш город впервые. Тогда эту болезнь не умели лечить, и многие от неё умирали.

Заболел инфлюэнцей и бедный Тимоша. Он долго провалялся в постели и сильно отстал от класса.

Попечитель учебного округа фон Люстих, в виде особой милости, разрешил ему держать экзамены осенью.

Ничего этого я не знал, так как уже несколько месяцев не встречался ни с одним из своих школьных товарищей. Но вот Тимошина сестра, «разноцветная» Лиза, увидела меня как-то в гавани на Новом

молу, где я вместе с одним из печёнкинцев ловил себе на ужин бычков. Она вихрем налетела на меня и потребовала, чтобы я сию же минуту отправился вместе с нею к Тимоше, потому что он болен, скучает и давно уже хочет повидаться со мной.

Я сказал ей с наигранной грубостью, что знать не хочу никакого Тимошу. И всё же на следующий день рано утром меня так потянуло к нему, что, кое-как почистив свою обувь и пригладив непослушные космы, я поплёлся по знакомой дороге к дому-кораблю.

Вот и море, спокойное, бледно-сиреневое, словно оно вылиняло на солнце. Вот и несносные чайки, которые надоедливо кружатся над ним. Вот и узкая корабельная лестница, вот и балкон, а на балконе под тентом — Тимоша, похудевший и слабый: щёки стали серые, а уши торчат, как ещё никогда не торчали. Он сидит среди книг и тетрадей, и тут же аптечные склянки с лиловыми и жёлтыми рецептами.

Увидев меня, он до того взволновался, что не может выговорить ни единого слова.

Я сию нахохлившись и тоже молчу.

Наконец он заговаривает почему-то о чайках: какие они противные, жадные.

Заикается он ещё сильнее, чем прежде, и я вижу, что ему очень стыдно и своей слабости, и своего заикания. Это доставляет мне радость: я ведь думал, что он будет смотреть на меня свысока, с той оскорбительной жалостью, с которой смотрят на меня все окружающие, а он, оказывается, даже завидует мне и сам нуждается в том, чтобы его пожалели.

Едва только я чувствую это, мне и в самом деле становится жалко его, и, когда он показывает мне задачу по алгебре, которую ему не удаётся решить, я, чтобы щегольнуть перед ним, напрягаю все силы ума и, к немалому своему изумлению, безошибочно решаю её. Он показывает вторую задачу, каверзную задачу о двух поездах. Мы долго бьёмся над нею вдвоём, и в конце концов я победоносно решаю её.

Потом мы сделали перевод из «Энеиды» Вергилия, и как-то так само собою вышло, что, уйдя от Тимоши, я не пошёл ни к печёнкинцам, ни на циклодром, ни на похороны генерала Подушкина, а тихонько взобрался на чердак и вытащил из-под сена учебники, провалявшиеся так долго в «Вигваме».

Самой нежной и радостной была моя встреча с «Английским самоучителем» профессора Мейендорфа. Я готов был расцеловать эту книгу и почувствовал себя безмерно счастливым, когда вновь на её страницах предо мной замелькали немые певцы да одноглазые тётки, покупающие в пекарнях канареек и буйволов. Я по сей день благодарен этому чудаку Мейендорфу: если бы не его сумасбродный учебник, я никогда не мог бы читать в подлинниках ни Шекспира, ни Вильяма Блэйка, ни Кольриджа, ни Шелли, ни других величайших английских поэтов, которых полюбил на всю жизнь.

На следующее утро я, после долгих колебаний, с мучительным чувством стыда, вошёл наконец — виноватый и робкий — в прихожую нашей квартиры, откуда так позорно бежал. Мама стояла и гладила.

Я был почему-то уверен, что она встретит меня градом упрёков и что мне придётся плакать перед нею и каяться. Но она взглянула на меня со своей обычной спокойной приветливостью, словно я и не уходил никуда, и сказала самым обыкновенным, но чуть дрогнувшим голосом:

— Борщ — в духовке, а бублики — на столе под салфеткой.

Зато Маруся, сидевшая тут же за книгой, смирла меня уничтожающим взглядом и, видимо, хотела сказать что-то очень язвительное. Но сдержалась и сказала беззлобно:

— Я на твоём месте пошла б и постриглась.

И снова уткнулась в книгу.

С этого дня я опять принялся за работу. Каждое утро, сунув за пазуху заготовленный с вечера большой бутерброд с колбасой или салом (который я съедал на ходу), я спускался по знакомому откосу к Тимоше — одолевать вместе с ним физику, латынь, древнегреческий. Так как мы с Тимошей ещё раньше отлично спелись в совместных трудах над учебниками, дело у нас быстро наладилось, и вскоре у меня возродилась надежда, что я непременно сдержу свою клятву, данную маме в ту лунную ночь. И, когда я возвращался к себе на чердак, я чувствовал, что никакие соблазны уже не собьют меня с прямого пути.

Бесовское наваждение кончилось, и теперь уж никогда в жизни я не поддамся ему.



УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ



В те печальные месяцы, когда, отбившись от дома, я стал вести бессмысленную уличную жизнь бездельника, я почти ничего не читал. Теперь я с жадностью набросился на чтение и стал глотать в необъятном количестве книги и книжки, какие только мне удавалось добыть. Прочитал всего Диккенса, Смайльса, Спенсера, Бокля. Прочитал Лескова и Тургенева. Особенно взбудоражили меня сочинения Писарева, которые дал мне Иван Митрофанович.

— Только, чур, никому не показывай!

Прочтя эти сочинения с горячим восторгом, я сразу почувствовал себя «критически мыслящей личностью» и ни с того ни с сего заявил оторопелой Марусе, что отныне я считаю зловредными и танцы, и музыку, и другие искусства, потому что они, сказал я,

«тормозят человечество на его многотрудной дороге к прогрессу».

Маруся назвала меня жалким *вандалом*, но по её тону я почувствовал, что она втайне любит меня, так как, в сущности, ей очень приятно, что её брат научился свободно орудовать такими словами, как *многотрудная дорога, прогресс, человечество*, и хорошо понимает, что такое *вандал*.

Впрочем, в своём вандализме я оказался не слишком-то твёрд. Не прошло и месяца, как под музыку скрипок, фаготов и флейт я лихо отплясывал кадрили и польки на свадьбе Циндилиндера и Цили, легкомысленно забывая о том, что моя пляска «тормозит человечество на его многотрудной дороге к прогрессу».

А Тимоша настолько поправился, что к концу сентября, после того как он сдал все экзамены, он стал выходить со мной в море на таможенной шлюпке «Тайфун». Грести он не мог: всё ещё был слаб как старик, мешковато сидел на корме и командовал. А гребцами были мы: я и «разноцветная» Лиза.

Однажды мы взяли с собою Лёку Курындину, которая почему-то смертельно боялась морских путешествий. Не думаю, чтобы эта прогулка доставила ей удовольствие: вежливый, деликатный Тимоша становился в море непростительно груб.

Когда Курындина сказала про лодочную скамейку — скамейка, он притворился, что не понимает её. Скамейку надо было называть по-морскому: банка.

А когда я осмелился через две-три минуты на-

звать его судёнышко лодкой, он с негодованием сказал:

— Лодок не б-б-бывает на свете. Это для К-курындиной — лодка. А для моряков это шлюпка. Или баркас. Или шаланда. Или бот. Или ялик. А слово «лодка» это К-курындина выдумала.

Через несколько времени он скомандовал Лёке, чтобы она подала ему вымпел, а она не знала, что вымпел — это маленький белый флажок, и подала ему ковшик, лежавший на дне. Он посмотрел на неё с таким отвращением, что она заплакала, и нам пришлось пришвартоваться к деревянным ступенькам какого-то мола. Когда она вместе с Лизой оставила нас, он долго бубнил о бестолковых девчонках, которые набьются в шаланду, как куры в курятник, и давай визжать:

Нелюдимо наше море! —

а сами не знают, где нос, где корма.

Но чуть только кончилось плавание и мы вступили на таможенную пристань, он снова превратился в Тимошу, добродушного, застенчивого, скромного малого.

С Лёкой я вскоре подружился опять. К осени она достала мне чудесный урок: я должен был заниматься латынью с двумя шустрыми и неглупыми мальчиками. Их отец был молдаванин, капельдинер городского театра, по фамилии Вартан, солидный, представительный мужчина с бритым актёрским лицом. Мало того, что он платил мне огромные деньги — две-

надцать рублей ежемесячно,— он пускал меня бесплатно на галёрку театра, где я впервые слушал (в исполнении Фигнеров, знаменитых певцов) и «Кармен», и «Пиковую даму», и «Гугенотов», и «Евгения Онегина».

К тому времени дела мои сильно поправились: приехал дядя Фома — всё такой же чернобровый красавец — и подарил мне свою деревенскую свитку, правда не новую, даже заплатанную, но это-то и придавало ей особую прелесть. Я раздобыл на толкучке мохнатую облезлую шапку и чувствовал себя в этой одежде отлично.

Наступила весна, пришло лето. Жизнь наша мало-помалу наладилась.

И вдруг случилось страшное событие, которое налетело на меня, как гроза. Даже сейчас, через столько лет, мне больно воскрешать его в памяти.

Началось с того, что мадам Шершеневич, гулявшая со своими болонками мимо нашего дома, вдруг крикнула мне издали:

— Здравствуйте!

Я удивился, так как она давно уже перестала здороваться со мною.

— Здравствуйте, здравствуйте! — повторила она, сияя весёлыми чёрными глазками.— А ваш-то Циндилиндер... или как его?.. Шток или Штосс?.. Вот так артист! Вы подумайте!.. Но я всегда говорила, всегда...

— Юзя Шток? Циндилиндер? Что с ним такое? — спросил я.

— Уж будто не знаете! — засмеялась она. — Это же ваш первый дружок... Вы-то лучше всех должны знать!

И, продолжая смеяться, ушла.

Я встревожился. Чему она рада? Что с ним случилось, с Циндилиндером? Давно я не видел его.

Он живёт на Большой Арнаутской, в том же доме, где теперь поселилась Маланка. Я побежал к нему с каким-то нехорошим предчувствием. Вот и его двор — очень длинный и узкий, сверху донизу набитый жильцами. Таких дворов немало в нашем городе. Все их жильцы копошатся не в комнатах, а тут же во дворе, у своих керосинок, корыт и кастрюль: тут они жарят скумбрию на подсолнечном масле, тут же, не отходя от порога, выливают грязные помои; тут же ссорятся, ругаются, мирятся и непрерывно весь день с утра до вечера кричат на бесчисленных своих малышей, которые тоже кричат, словно дикие.

Когда, бывало, ни войдёшь в этот двор, кажется, что там катастрофа — обрушился дом или кого-нибудь режут, между тем это обыкновеннейший двор, до краёв заселённый южанами, которые просто не способны молчать.

Замолкает этот двор лишь тогда, когда июньское или июльское солнце слишком уж сильно накаляет его. В эти часы всё население двора, спасаясь от беспощадных лучей, прячется за плотными ставнями в своих душных и тесных каморках и мирно дремлет под жужжание бесчисленных мух.

Но едва только появляется во дворе первая пред-

вечерняя тень, все окна распахиваются, люди снова выбегают во двор, и начинается та же крикливая жизнь, которая затихает лишь поздно ночью под великолепными южными звёздами.

По такому двору идёшь как сквозь строй. Десятки любопытных, пронзительных глаз встречают и провожают тебя, и, покуда дойдёшь до конца, к тебе уже приклеено какое-нибудь едкое прозвище, определяющее всю твою суть.

Я подхожу к одной женщине, которая, деловито наклонясь над полулежащей черноволосой соседкой, ищет у неё в голове насекомых:

— Где здесь живёт Юзя Шток?.. Циндилиндер?..

Чуть только я произношу это имя, черноволосая вскакивает и подзывает какого-то лысого в рваной жилетке:

— Он спрашивает Штока-Циндилиндера! — кричит она ему таким звонким и радостным голосом, словно сообщает ему смешной анекдот.

Лысый смотрит на меня с изумлением и, повернувшись к старухе в пунцовом капоте, показывает ей на меня:

— Он спрашивает Штока-Циндилиндера!

И оба смеются. И вместе с ними смеётся весь двор.



ГДЕ ПРАВДА?



с разных концов двора сбегают люди — молодые и старые — и целая орава детей. Они рассматривают меня с любопытством. Наконец один из них, красноносый, с аршином в руке, очевидно портной, говорит мне с преувеличенной вежливостью:

— Вы ищете Циндилиндера-Штока? Если вам так интересно иметь его адрес, пожалуйста, я могу вам сказать. — И он подмигивает кому-то в толпе. — Возьмите карандаш, запишите: Куликово поле, городская тюрьма, номер камеры... там вы узнаете.

Новый взрыв общего дружного смеха. Очевидно, красноносый считается здесь остряком.

Циндилиндер в тюрьме? Что за чушь! Я протискиваюсь сквозь обступившую меня густую толпу и спу-

скаюсь к Маланке в подвал. Она рассказывает странные, невероятные вещи: мой милый Циндилиндер, которого и мама, и я, да и все в нашем доме — даже полицейский усач Симоненко — считали таким честным, таким благородным, которому все мы поверили, что он давно уже отошёл от своей уголовной «профессии», оказался дерзким и бесстыдным грабителем: на прошлой неделе, во вторник, забрался ночью в пустую квартиру мадам Чикуановой и дочиста ограбил её. Вынес оттуда всё самое ценное: шкатулку с дорогими вещами, серебряные ложки, золотые часы и даже зонтик её маленькой внучки, детский зонтик, который ей привезли из Японии...

— Брехня, — говорю я. — Никогда не поверю, что Циндилиндер... что Юзя...

Но тут поднимается с кровати лохматый Савелий, Маланкин муж. Это мрачный косолапый неряха, заросший бородой чуть не до самых бровей. Про него говорили, что вот уже несколько лет он никогда не снимает ни шапки, ни огромных своих сапожищ. До сих пор не могу я понять, почему Маланка, молодая, хорошенькая и неглупая девушка, с мягким голосом и тихой улыбкой, могла выйти за такое чудовище.

Подвал, в котором ютятся они оба с Маланкой, только называется подвалом, а на самом деле это погреб, очень глубокий, без окон. Круглые сутки горит в нём вонючая керосиновая тусклая лампочка и стоит такая ужасная сырость, что хлеб, принесённый из лавки, уже через два-три часа становится тяжёлым и мокрым, словно его долго держали в воде.

— Брехня?! — говорит Савелий и надвигается на меня угрожающе. — Так, значит, я, по-твоему, брехун?

Оказывается, он был понятым, когда полиция делала у Циндилиндера обыск (понятой — это официальный свидетель), и видел своими глазами, как у Циндилиндера под какими-то досками нашли и шкапулку мадам Чикуановой, и её ножницы, и её гребешок, и её носовые платки, и японский зонтик её маленькой внучки. Конечно, Циндилиндер клялся и божился, что не знает, откуда у него эти вещи, но мадам Чикуанова, чуть только увидела их, закричала, что все эти вещи — её, что они украдены у неё из квартиры во вторник, когда она ездила к сыну на дачу. А Циндилиндер во вторник...

Дальше я не слушал. Так вот оно что! Значит, все эти годы Циндилиндер ловко обманывал нас, разыгрывал из себя простака, а на самом деле остался таким же мазуриком, каким моя мама застигла его года четыре назад на подоконнике соседнего дома, когда он швырнул в неё цветочным горшком за то, что она помешала ему воровать. А мы верили ему как лучшему другу, верили, что под нашим влиянием он совсем, совсем переменялся. И Циля — она тоже поверила. Бедная Циля! Ведь она не позволяла ему взять без спросу чужую иголку или коробочку спичек. Как мучится она теперь, когда вдруг обнаружилось, что она связала свою жизнь с грабителем! Но что, если и она... нет... это никак невозможно!

Во рту у меня пересохло. Ноги до того ослабели, что я должен был опуститься на стул.

Между тем Савелий продолжал:

— И Цильку забрали... Как же! Известно: жена. Там из неё вышибут золотые часы, будь покоен... Там подстригут её острые когти.

Оказывается, Циля, когда её во время обыска спрашивали, куда она девала украденные Циндлиндером золотые часы, пришла в такую безумную ярость, что стала царапаться, визжать и кусаться.

— Укусила Карабаша — надзирателя... Антона Игнатича. А у него знаешь какие кулаки... ого-го!

Не помню, как выбрался я из этого мрачного погреба, как попрощался с Маланкой, как добрёл до нашей Новорыбной.

Скорее к Симоненко! Он знает... Ведь он околочный... Он не может не знать.

К счастью, он тут, у себя, в палисаднике. Сидит под шелковицей, благодушный, седой, в белой вышитой украинской рубаше, и, лениво отгоняя назойливых ос, пробует вишнёвую наливку. Лицо у него спокойное, круглое, доброе. Тут же на столе перед ним — его медный корнет-а-пистон, на котором он зудит каждый вечер.

— Что это ты так запыхался?

— У меня к вам дело... очень важное.

— Дело? Садись и рассказывай. Уж не надумал ли идти в писаря?

— Нет! У меня к вам другое...

— погоди! — говорит он. И, не повернув головы, громко кричит в раскрытое окно своей кухни: — Стан-кан!

Марья приносит стакан и со стуком ставит его предо мной. Но мне даже противно подумать о приторной вишнёвой наливке.

— Пей. Холодная! Или, может быть, пива?..

Но я отодвигаю стакан. И тут только вижу, как сильно дрожат мои руки, будто я пронёс на плечах трёхпудовый мешок.

— Циндилиндер...— говорю я, запинаясь.— Вы знаете его... Юзя Шток...

Глаза у Симоненко становятся круглыми.

— Ворюга! Шарлатан! — кричит он.— Не хочет жить честным трудом. Польстился на чужое добро!

Я смотрю на него с удивлением. «Не дико ли,— думаю я,— что этот «хабарник», у которого во всём его доме нет ни одного куска сахара, ни одной крошки хлеба, заработанных честным трудом, с такой искренней ненавистью кричит о «ворюге, польстившемся на чужое добро».

Симоненко между тем успокаивается и говорит своим мягким, доброжелательным голосом:

— По дружбе советую: не суйся ты в это грязное дело. Говорю тебе любя, от души. Потому что... как бы и тебя не притянули к нему... Все знают, что вы с этим... как его?.. Циндилиндером друзья-приятели. Притянут — не вывернешься. Тем более, что ты незаконный... Нет папаша, чтобы за тебя заступиться...

Я, не прощаясь, выбегаю на улицу и сейчас же слышу у себя за спиной тошнотворные звуки трубы.

Нужно спешить на урок, я и так опоздал. Бегу по Базарной, оттуда на Пушкинскую.

«Неужели,— говорю я себе по дороге,— они оба, и Циндилиндер, и Циля, такие гениальные актёры, что могли столько лет притворяться, разыгрывать из себя благородных людей? Стала бы Циля за такие гроши работать с утра до ночи на фабрике «Глузман и Ромм», если бы её муж был грабитель, всегда имеющий возможность раздобыть для неё и роскошные платья и золотые часы?»

Когда я пришёл на урок и рассказал обо всём, что случилось, Вартану, он без всяких колебаний сказал:

— Это часто бывает. Ещё бы! Удалось же такому кровопийце, как Яго,— помните в «Отелло» у Шекспира? — притворяться защитником правды и чести.

Похожий на актёра капельдинер Вартан всегда говорил как на сцене. Он смолоду служил при театре и на своём веку перевидал такое великое множество нъес, что ему было нетрудно припомнить, сколько там выведено лукавых злодеев, скрывающихся под масками честнейших людей.

Да и мне вдруг ни с того ни с сего припомнился матёрый разбойник Джон Сильвер из «Острова сокровищ» Стивенсона, злой и коварный пират, искусно притворявшийся перед своими хозяевами, что он служит им верой и правдой.



СУД



Воротился я домой только к ужину. Мама уже знала от Маланки, что Циндилиндер и его жена арестованы.

— Подумать только, какие они хитрецы! — сказал я, присаживаясь на кухне к столу. — Притворялись такими святошами, а мы, дураки, им поверили.

Мама помолчала немного и сказала медленно, тихо, без всякой запальчивости, словно взвешивая каждое слово:

— Как ты себе хочешь, а я и сейчас всё такая же дура: верю, что они оба невиновны, — и Циля, и он.

— Какая ты странная! — сказала Маруся своим рассудительным и укоризненным голосом, не допу-

скающим никаких возражений.— Подумай сама: разве нашли бы у тебя, например, и зонтик, и шка-тулку... и другие вещи мадам Чикуановой, если бы ты не похитила их? Ведь это *абсолютно* прямые ули-ки, и сомневаться никак невозможно.

— Не знаю, что такое абсолютно,— ответила ма-ма всё так же медлительно,— но знаю, что Циндили-дер — не вор.

Однако тот, похожий на Собакевича, тучный су-дья, пред которым через две-три недели предстали Циндилиндер и Циля, держался другого мнения: он был непоколебимо уверен, что перед ним самые на-стоящие воры.

Напрасно Циндилиндер доказывал, что в ночь, когда была ограблена квартира мадам Чикуановой, он вместе с Цилей гулял на именинах у Цилиной тётки, где они и остались потом ночевать, судья толь-ко усмехнулся презрительно и потребовал от подсу-димых, чтобы они не старались обмануть правосудие, а без обвиняков сообщили суду, куда они девали золотые вещи мадам Чикуановой, её бриллианты, серебро и посуду, оценённые в три тысячи триста рублей.

В ответ на это Циля сказала еле слышным, при-душенным голосом:

— Убейте, зарежьте меня... а я не...

И тихо заплакала.

(Позже я узнал, что её сильно избили в участке.)

Циндилиндер с измученным лицом, с потухшими глазами твердил монотонно и вяло, что ни зонтика,

ни часов, ни шкатулки он и в глаза не видал, но старый судья, очевидно, привык с давних пор не верить таким заявлениям, так как все воры всегда на суде утверждают, будто они не виноваты ни в чём.

Было похоже, что судья очень куда-то спешит, а ему предстояло осудить за сегодня ещё человек десять, не меньше. Он поминутно смотрел на часы и каждому свидетелю отрывисто рывкал:

— Короче, короче!

Одного лишь свидетеля он выслушал с самым серьёзным вниманием. Это был Георг Дракондиди, то есть попросту Жора, которого ещё так недавно все мы считали глухим. Пополневший, в отличном костюме, Георг Дракондиди поведал суду, что подсудимый тогда-то ограбил на базаре ларёк мещанина Корытникова, а тогда-то очистил дачу вдовы титулярного советника Эрлиха и похитил у потомственного почётного гражданина Пантюшкина всё его бельё с чердака.

Этого свидетеля судья выслушал с большим уважением. Потом снова посмотрел на часы и встал, чтобы произнести приговор.

Но тут к нему подошёл секретарь, молодой человек с университетским значком, и стал торопливо шептать какие-то слова и показывать какую-то папку с бумагами. Судья насупился. Но секретарь зашептал ещё более настойчиво, вытащил из папки большую бумагу, после чего судья, не скрывая досады, потребовал, чтобы часовые увели подсудимых, так как дело Иосифа Штока и его жены Цецилии Шток,

обвиняемых по таким-то и таким-то статьям, подлежит подробному исследованию.

Я поспешил на Новорыбную сообщить про сегодняшние события маме, но у неё, как нарочно, разыгралась мигрень.

Мама лежала на диване с изжелта-бледным лицом, с почерневшими веками.

Я начал было рассказывать ей о показаниях Жоры, но Маруся сделала мне знак: «уходи», и я удалился на цыпочках, так как во время мигрени маме было больно от всякого шума.

И должно же было так случиться, что Жору Дракондиди в его великолепном костюме через несколько дней арестовали на Дерибасовской улице в банковской конторе Юнкерса, где он пытался разменять несколько фальшивых сторублёвок. На квартире у него тотчас же сделали обыск и не нашли ничего, но когда в тот же вечер нагрянули к его чернобородому брату в «Заведение искусственных минеральных вод» и хорошенько пошарили в яме, заваленной пустыми бутылками, там на самом дне отыскали целый склад драгоценных вещей, золотых серёжек, колец,— и в том числе часики мадам Чикунановой! Оказалось, что Жора — профессиональный грабитель, а его брат Фемистокл, торгующий содовой водой и сиропом,— укрыватель и скупщик краденого. Кроме часиков мадам Чикунановой, в яме были найдены ордена её покойного мужа, его золочёная табакерка с бриллиантами, её веер из слоновой кости...

Но как, спрашивается, вещи, принадлежавшие

ей, могли появиться в хибарке Циндилиндера на Большой Арнаутской?

Дело в том, что к этой хибарке вели три или четыре ступеньки из трухлявых и занозистых досок. Если приподнять одну ступеньку, самую верхнюю, под нею открывалась дыра, ведущая в подполье хибарки.

Этим-то и воспользовался Жора (он же Георг Дракондиди). Ограбив квартиру мадам Чикунановой, он присвоил себе все наиболее ценные вещи, а шкапулку, и зонтик, и прочую грошовую мелочь подкинул тайком Циндилиндеру (в знойный день, когда жители дома спрятались от солнца за плотными ставнями), после чего сообщил анонимной запиской приставу Ивану Карабашу, что украденные вещи находятся под половицами такой-то квартиры, занимаемой Иосифом Штоком, ограбившим мадам Чикунанову.

Отчего же ему понадобилось губить Циндилиндера? Причина была очень простая. Когда-то Циндилиндер, чуть не с двенадцати лет, принадлежал к той же шайке, что и Георг Дракондиди. Главарём у них был Фемистокл. Циндилиндер «работал» для него три или четыре «сезона», но вдруг, как мы знаем, решил покончить навсегда с воровством и заявил об этом Фемистоклу. Фемистокл был в бешенстве. Он не сомневался, что Циндилиндер рано или поздно сообщит полицейским о его тёмных делах и тогда ему, Дракондиди, может прийтись туговато. Он долго уговаривал Циндилиндера вернуться к воровскому ремеслу, прельщая его большими деньгами.

Но Циндилиндер не соблазнился его обещаниями

и, уходя, заявил, что забросил в море саквояж с полным набором воровских инструментов, который в своё время был дан ему Жорой. Дракондиди ещё пуще разгневался и решил во что бы то ни стало отомстить Циндилиндеру.

Местной полиции он не боялся, так как приставу Карабашу и без того было отлично известно, что происходит в «Заведении искусственных минеральных вод». За ту крупную сумму, которую он получал от Дракондиди ежемесячно из года в год, он охотно притворялся слепым. Вся местная полиция состояла у Дракондиди на жаловании и на все его подвиги смотрела сквозь пальцы.

Но Карабаш был полновластным хозяином только в своём Привокзальном участке. За пределами этого небольшого участка у него не было власти. И был он подчинён полицмейстеру. Нужно было действовать возможно скорее. И Дракондиди сообщил своей шайке, что Циндилиндер порвал с нею всякие связи, женился, поступил на работу. Шайка решила обезвредить его и жестоко расправиться с ним: подбросила ему украденные вещи.

И, конечно, Циндилиндеру никогда не спастись бы, если бы не нашёлся свидетель, горбатый Иглицкий, который жил в том же доме на втором этаже, наискосок от жилья Циндилиндера. Он сидел у своего окна, играл в шахматы с Людвигом Мейером и, глянув случайно во двор, увидел, что у входа в хибарку, возле её трухлявых ступенек, копошится одетый в рабочую блузу «глухонемой водопроводчик»

Жора. Иглицкий не придавал этому никакого значения. Но, когда арестовали Циндилиндера, он вспомнил о странном поступке «водопроводчика» Жоры и каким-то образом, не помню каким (кажется, при помощи влиятельных родственников), добился нового суда над мещанином Иосифом Штокком и мещанкой Цецилией Шток. Вообще я многое забыл. Помню только, что Георг Дракондиди вёл себя на суде с вызывающей наглостью, упорно отрицая какое бы то ни было касательство к этому делу, и что новый судья, молодой, синеглазый, признал его безусловно виновным не только в налёте на квартиру вдовы Чикуановой, но и в преступной попытке взвалить свою тяжкую вину на других, на безукоризненно честных людей.

После чего Циндилиндер и Циля были освобождены из-под стражи, к бурному восторгу всего зала. В публике было немало студентов, приведённых Иглицким, были Цилены подруги и вообще молодежь. Они окружили оправданных, стали поздравлять их, целовать, обнимать.

Один я стоял в стороне от всех, как отверженный, не решаясь подойти к моим бывшим друзьям. Мне было совестно смотреть им обоим в глаза. Как мог я поверить клевете их врагов, рассказам колченогого мужлана Савелия и «благодарного» хапуги Симоненко!

Замученные, но бесконечно счастливые воротились Циля и Циндилиндер домой. Весь двор на Большой Арнаутской встретил их криками радости. Чуть

только они вошли в свою хибарку, вслед за ними вбежали туда их крикливые и пылкие соседи и нанесли им столько помидоров, баклажан, варёных яиц, что хватило бы на две-три недели, если бы они к вечеру не устроили пир, на котором все эти продукты были немедленно съедены. Стулья взяли у тех же соседей, стол сколотили из нескольких ящиков. Красноносый портной вместе со своей маленькой, юркой и говорливой супругой (он так и называл её: «моя супруга») принёс целую гору сушёной тарани. Цилина мать принесла изюму, орехов, халвы, откуда-то взялись бутылки с пивом, и гости, усевшись за стол, стали наперебой поздравлять Циндилиндера, уверяя, что они все, как один человек, всегда верили в его невиновность.

Почётным гостем на этом пиршестве был горбатый Иглицкий, который, в сущности, спас Циндилиндера. Теперь ему выпала нелёгкая участь: по прибытии всякого нового гостя он должен был снова и снова выходить из хибарки во двор, приподнимать трухлявую ступеньку и показывать ту знаменитую дыру, сквозь которую бессовестный Жора подкинул Циндилиндеру вещи мадам Чикуановой.

После этого гости шли к Циле, и каждому она показывала лежащий в коробочке зуб, тот самый, который во время допроса выбил ей пристав Карабаш. Гости рассматривали этот зуб с величайшим вниманием, словно никогда не видали зубов, и в один голос говорили про Карабаша: подлец.

Я сидел недалеко от Циндилиндера и с тоскою

смотрел на него. Какой он сделался худой, ни кровинки в лице! И как изменила его борода, которая выросла у него за то время, что он был в заключении! И Циля тоже сильно подурнела, словно после тяжёлой болезни.

Я попробовал было объяснить Циндилиндеру, по какой идиотской причине я усомнился в его правоте. Но он не дал мне договорить, хлопнул меня слегка по затылку и, взяв со стола грязноватую глыбу халвы, положил её предо мной на газету, заменявшую скатерть.

— Ты же любишь халву...

Его дружеский жест успокоил меня: я понял, что Циндилиндер простил мне моё легкомыслие.

И всё же я до сих пор с горьким чувством вспоминаю о тогдашнем своём поведении — и не прощаю себя. Вся эта история с Циндилиндером дала мне суровый урок: я понял, что не следует верить никаким обвинениям, которыми бесчестные люди ради своих низменных целей так часто пытаются оболгать, очернить, опорочить доброе имя беззащитных людей...

Не прикоснувшись к халве, которую я и вправду любил, я встал из-за стола и тихонько побрел домой, где меня ждала с ужином повеселевшая мама. Она была, как всегда, молчалива и ни слова не сказала о том, что пережила в эти дни.



ПЕРЕМЕНЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ



Мне пришлось повстречаться кое с кем из моих бывших товарищей, и я был поражён переменой, которая произошла почти с каждым из них.

Братья Бабенчиковы ушли из гимназии и превратились в прыщеватых юнкеров, которые назывались тогда длинным словом: «вольноопределяющиеся».

Стёпа Бугай сильно раздался в плечах, возмужал, обзавёлся морской фуражкой и стал курить коротенькую трубку. Даже сплёвывал, как истый моряк.

Муня Блохин, всё такой же худощавый и юркий, вдруг вообразил себя великим актёром, облёкся, несмотря на жару, в чёрную суконную широкую блузу с огромным фиолетовым бантом и стал изводить окружающих, декламируя трагическим голосом:

Я вчера ещё рад был отречься от счастья.

При этом он так картавил, что у него получалось:

Я вчега ещё гад был отгечься от счастья.

Я презгеньем клеймил этих сытых людей...

Валька Тюнтин сделался окончательно похож на разжиревшего борова, и это, очевидно, очень понравилось Рите Вадзинской: куда бы я ни шёл, я постоянно встречал их вдвоём, и по её лицу можно было сразу заметить, что она отнюдь не считает его «антипатом».

И так как я окончательно излечился от своей прежней влюблённости в эту злую и пустую девчонку, я уже не видел в её лице никакой красоты.

Лобода и Бондарчук, самые умные ученики в нашем классе, прочитали на каникулах Дарвина, и оба пришли к убеждению, что бога нет и религия — обман. Гришка Зуев, с которым они вздумали было поспорить о существовании бога, сразу опроверг их учёные доводы одним несокрушимым аргументом: немедленно отправился в Покровскую церковь к отцу Мелетию и рассказал ему про их богохульство. Батюшка, похвалив доносчика, вызвал маловеров к себе и пригрозил им строгими полицейскими карами.

Я тоже изменился не меньше других. На верхней губе у меня неожиданно вырос какой-то несуразный пушок. Я раздобыл себе суковатую палку (такую же, как у Ивана Митрофаныча) и отпустил волосы чуть не до плеч.

Едва только я стал «молодым человеком», а Маруся окончила школу, вся наша жизнь в один год изменилась: мы оба принялись добывать себе пропи-

тание уроками — вдалбливали арифметику, географию, русскую грамматику, алгебру в головы неудачливых школьников, получавших единицы да двойки.

Долго, очень долго мои отношения с Марусей почему-то никак не налаживались. Я был с нею непρο-ститительно груб, хотя втайне уважал её очень. С горьким чувством вспоминаю теперь, как упорно я сопротивлялся её добрым стремлениям сделать из меня благонаправленного мальчика и обогатить меня ценными сведениями. Как-то я сказал за обедом, что сегодня в журнале «Нива» я видел «эксиз» какого-то художника, — не помню какого. Маруся поморщилась и сказала своим педагогическим голосом, что нужно говорить не «эксиз», а «эскиз», и была совершенно права. Такого слова, как «эксиз», не существует. Но так силён во мне был бес противоречия, что я ещё долгое время говорил «эксиз». И это побуждало Марусю всякий раз повторять наставительно:

— Не эксиз, а эскиз.

— Я так и говорю: эксиз.

Вместо слова «скоморох» я нарочно говорил «скоромох», чтобы снова и снова услышать, как Маруся поправляет меня:

— Не скоромох, а скоморох.

— Я и говорю: скоромох.

Это выводило её из себя, но она сдерживалась и повторяла с наружным спокойствием:

— Нет, не скоромох, а скоморох.

Я перечил ей на каждом шагу самым бессовестным образом.

Вздумала она как-то водить меня на прогулку в Александровский парк, где по праздникам беспощадно гремел оглушительный военный оркестр. Нечего было и думать спастись от него: его страшные медные вопли доносились до самых далёких аллей. Дорожки были посыпаны гравием, который неистово скрежетал под ногами, а справа и слева на меня кричали грозные надписи:

«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ХОДИТЬ ПО ТРАВЕ».

«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПОРТИТЬ ГАЗОНЫ!».

«СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВОДИТЬ СОБАК»

и т. д., и т. д.

Маруся и сама утомлялась от этих прогулок среди скучной вереницы людей. Но она была великодушная праведница и верила, что, шагая со мною под музыку и тем самым приучая меня к культурному отдыху, жертвует собой ради меня. Я же и здесь оказался недостойным её благородных забот и, когда мы возвращались домой после третьей или четвёртой прогулки, заявил ей с необузданной резкостью, что мне осточертел этот парк и что я не болонка мадам Шершеневич, чтобы меня водили на цепочке!

Это было несправедливо и дико — за что я оскорбил человека, который по-своему желал мне добра? — и, конечно, я сейчас же раскаялся в своих грубых словах, но всё же оставил Марусю на дороге одну и, не попросив у неё извинения, убежал со всех ног в свой «Вигвам».

Теперь наши отношения сгладились. Моя маль-

чишеская грубость с годами прошла, как проходит скарлатина или корь. Повзрослев, мы сделались с Марусей друзьями. Сблизила нас общая работа: с утра до вечера мы давали уроки всевозможным оболтусам, помогая им выкарабкиваться из омута двоек, где они погрязли с головой. Маруся, педагог по призванию, была так терпелива и неустойчива, что чадолюбивые маменьки стали считать её чуть ли не волшебницей: в три-четыре месяца она превращала в отличников самых отсталых школяров.

Я пытался подражать ей во всём — никогда не улыбаться во время занятий, быть таким же серьёзным и важным, — но у меня ничего не получалось. Уже на втором или третьем уроке я вступал со своими питомцами в длинные разговоры о посторонних вещах — о том, как ловить тарантулов, как делать камышовые стрелы, как играть в пиратов и разбойников, а также о подвигах Уточкина, о «Копях царя Соломона», о приключениях Шерлока Холмса.

Маруся нередко журила меня за панибратство с мальчишками, которые вдвое моложе меня, но, сколько я ни пыжился, мне никак не удавалось напускать на себя солидность и строгость. Не помогали ни длинные волосы, ни толстая суковатая палка, которой во время ходьбы я внушительно стучал по камням тротуара, совсем как Иван Митрофанович. В конце концов Маруся примирилась с моей несолидностью, как и с прочими моими грехами, и всякие распри между мною и ею как-то сами собою затихли. А это опять-таки значило, что мы возмужали.

Заработки наши увеличились так, что мама наконец-то получила возможность отказаться от чёрной работы и принялась за своё любимое дело: вышивание украинских рушников¹ и рубах; в этом искусстве она с детства была мастерицей — вышивала то гладью, то крестиками, никогда не копируя готовых узоров, свободно изобретая всё новые сочетания линий и красок. Сначала она отдавала всё своё рукоделие Суббоцкому, который платил ей гроши и вообще надувал её всячески. Но к концу года у неё появилось так много клиентов, что услуги этого прожжённого плута оказались уже не нужны.

Работала мама с большим увлечением. Все восхищались её чудесными вышивками, больше всех — мамзель Франциска Рикке и её молчаливая сестрица мамзель Мальвина, с которыми в последнее время мама довольно близко сошлась именно благодаря своим вышивкам.

— Артистичная работа! — говорила мамзель Франциска, когда мама показывала ей какую-нибудь новую вышивку. — Ей место не здесь, а в музее. В музее артистичных работ.

Мамзель Мальвина ничего не говорила, но в знак согласия с сестрицей Франциской важно кивала седой головой, на которой сквозь жидкие пряди волос уже просвечивала розовая лысина.

...На Большой Арнаутской, в доме, где жил Циндилиндер, произошли почти одновременно два очень важных события: у Цили родился мальчик Даня, та-

¹ Рушник (укр.) — полотенце.

кой же огненно-рыжий, как Циля. А у Маланки в подвале родились две девочки, которые по ошибке дьячка, записавшего их при крещении в церковную книгу, обе были названы Маланками. А так как Маланкина мать, служившая в нашем доме у одного из жильцов, тоже называлась Маланкой, эта ошибка дьячка ужасно огорчила двух старших Маланок, и они только тогда успокоились, когда, по совету мамы, стали называть одну из маленьких Маланок — Наталкой, а другую — Фросей.

Вскоре после рождения детей Маланка ушла от сонного и злого Савелия, который оказался скаредом, буяном и пьяницей. Захватив Наталку и Фросю, она поселилась у Моти, полногрудой кухарки биндюжников, и стала ходить на подёнку: там постирает, там вымоет окна, там понянчит чужих малышей. Вырвавшись из тёмного подвала, она сразу сделалась прежней Маланкой: бойкой, неутомимой, задорной, насмешливой, или, как говорили у нас, — языкатой. Всякую работу она выполняла с таким удовольствием, что было весело смотреть на неё. Бездетная Мотя полюбила её близнецов и кормила их из общего котла до отвала.

А Фемистокл Дракондиди недолго просидел за решёткой. Вскоре он вернулся к своей прежней работе, и роскошная его борода стала вновь развеиваться над красными, синими, голубыми сиропами. Очевидно, он щедро поделился с полицией найденными в его лавке сокровищами.





того самого дня, когда Финти-Монти выдвинул из-под кровати свой сплюснутый, потёртый чемодан и, достав оттуда книгу «Сочинения Д. И. Писарева», не без торжественности вручил её мне, детство моё кончилось раз навсегда, не возвратно.

А это значит: конец моей повести. Ибо повесть моя — о детстве.

И всё же, перед тем как расстаться с читателями, мне хотелось бы сказать им ещё несколько слов.

И раньше всего — о том обещании, которое я дал своей маме. К великой её радости, я в конце концов сдержал своё слово, но сдержал не сразу, а с большим запозданием. И Тимоша, и Муня, и Лобода, и Бондарчук давно уже стали студентами, а я всё ещё

считался недоучкой, выгнанным из пятого класса. Дело в том, что та комиссия, перед которой я держал экзамены за весь гимназический курс, два раза проваливала меня самым бессовестным образом, и проваливала нарочно, по той же причине, по какой Шестиглазый и Прошка отняли у меня серебряный герб.

Лишь на третий год, когда я экзаменовался при Ришельевской гимназии, где с недавнего времени стали учительствовать Финти-Монти и Василий Никитич, я без малейших препон получил наконец аттестат с очень неплохими отметками, и было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко.

Студенческую фуражку я купил себе на толкучке — подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически: мама, которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры с кем придётся, лишь бы только сказать между прочим: «Вот это мой сын, студент...»

Словно выйдя на волю после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему.

Чернобровая, статная, с благородным профилем и важной осанкой, она как будто впервые заметила свою красоту, впервые за многие годы купила себе

новую шляпку, а на зиму сшила у портнихи «ротонду» — модное пальто без рукавов. И даже побывала со мною и Марусей в театре — на гастролях знаменитого Фигнера.

Но недолго привелось ей гордиться своим сыном-студентом.

Вскоре в её разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала повторяться ещё более гордая фраза: «Сын у меня, знаете, писатель...»

Так оно и было в действительности.

То, о чём я не смел и мечтать, что казалось мне высшим человеческим счастьем, выпало на мою долю неожиданно-негаданно.

Местная газета напечатала у себя на страницах мой довольно длинный — и довольно нескладный — «эксиз», и с этого времени началась моя литературная деятельность, которая длится без перерыва до настоящего времени уже шестьдесят с чем-то лет.

Теперь я по долгому опыту знаю, что быть писателем, пусть самым неприметным и скромным, — это и вправду великое (хотя порою очень нелёгкое) счастье. Даже ту краткую повесть, которую вы сейчас прочитали, мне было так весело и так интересно писать. Ведь стоило мне сесть за письменный стол, взять перо и придвинуть к себе чистую бумагу, и моё далёкое детство сразу вернулось ко мне, из старика я превратился в мальчишку, — и вот снова прыгаю, как дикий, на гремучем железном листе, прикрывающем нашу помойку, снова скребу длинным шпателем раскалённую ржавую крышу, снова

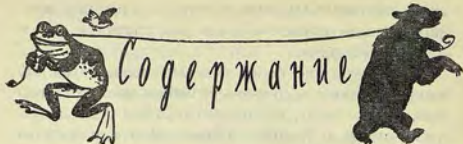
сижу верхом на высоком зубчатом заборе под сорокаградусным солнцем и ору во всю глотку:

«У-у-уточкин!»

И я буду ещё более счастлив, если, читая эту книжку, вы вместе со мною полюбите мою бесстрашную, гордую маму, настоящую героиню труда, и милую Марусю, и Тимошу, и Финти-Монти, и Василия Никитича, и Циндилиндера, и студента Иглишко-го, и дядю Фому. И — признаться ли? — для полного счастья мне хотелось бы, чтобы вы разделили со мною мою лютую ненависть к Прошке, к Шестиглазому, к Зюзе Козельскому, к Жоре Дракондиди, к Савелию, к Тюнтину и прочей отвратительной нечисти, которая хоть и вывелась из нашего быта, но ещё не до конца, не совсем, не везде.

Теперь она пытается портить нашу жизнь *под другими обличьями*, но мне очень хочется думать, что теперь легче расправиться с нею, чем в то далёкое время, которое я пытался изобразить в этой книжке.





«ЧУДО-ДЕРЕВО» И ДРУГИЕ СКАЗКИ

Тараканище. Рис. Ф. Лемкуля	5
Мойдодыр. Рис. Ф. Лемкуля	14
Муха-Цокотуха. Рис. Ф. Лемкуля	22
Чудо-дерево. Рис. Ф. Лемкуля	28
Телефон. Рис. Ф. Лемкуля	31
Топтыгин и лиса. Рис. Ф. Лемкуля	38
Так и не так. Рис. В. Конашевича	44
Бармалей. Рис. Ф. Лемкуля	52
Путаница. Рис. Ф. Лемкуля	62
Федорино горе. Рис. Ф. Лемкуля	67
Краденое солнце. Рис. Ф. Лемкуля	76
Айболит. Рис. Ф. Лемкуля	83
Цыплёнок. Рис. Е. Чарушина	94
Приключения Бибигона. Рис. Ф. Лемкуля	99
Крокодил. Рис. Ф. Лемкуля	130
Топтыгин и луна. Рис. Ф. Лемкуля	160

«ЗАКАЛЯКА» И ДРУГИЕ СТИХИ

Закаляка. Рис. Ф. Лемкуля	165
Бутерброд. Рис. В. Конашевича	166
Радость. Рис. Ф. Лемкуля	168
Бебека. Рис. Ф. Лемкуля	170
Черепашка. Рис. В. Конашевича	171
Федотка. Рис. Ф. Лемкуля	172
Свинки. Рис. В. Конашевича	173
Поросёнок. Рис. Ф. Лемкуля	174
Слониха читает. Рис. Ф. Лемкуля	175
Ежики смеются. Рис. Ф. Лемкуля	176
Обжора. Рис. Ф. Лемкуля	177

АНГЛИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ

Храбрецы. Рис. Ф. Лемкуля	181
Скрюченная песня. Рис. Ф. Лемкуля	182
Барабек. Рис. Ф. Лемкуля	184
Курица. Рис. Ф. Лемкуля	185
Дженни. Рис. Ф. Лемкуля	186
Котауси и Мауси. Рис. Ф. Лемкуля	187

ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ

Рис. Ф. Лемкуля	191
---------------------------	-----

«ДЖЕК, ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» И ДРУГИЕ СКАЗКИ

Джек, покоритель великанов. Рис. Ф. Лемкуля	217
Сказка о царевне Ясносвете (по Н. А. Некрасову). Рис. Ф. Лемкуля	228
Храбрый Персей. Рис. Ф. Лемкуля	234
Доктор Айболит (по Гью Лофтингу). Рис. В. Конашевича	250
Огонь и вода (по Гью Лофтингу). Рис. Ф. Лемкуля	340
Приключения белой мышки (по Гью Лофтингу). Рис. Ф. Лемкуля	372

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ.

Рис. Н. Цейтлина	385
----------------------------	-----



ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чуковский Корней Иванович

ЧУДО-ДЕРЕВО

Сказки, стихи, песенки, загадки

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕРБ

Повесть

Ответственный редактор *Л. Я. Либет.*

Консультант по художественному
оформлению *С. М. Алянский.*

Технический редактор *Т. В. Перцева.*

Корректоры

Г. В. Русакова и Т. Ф. Юдичева

Сдано в набор 14/VI 1967 г. Подписано к
печати 1/XII 1967 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Печ. л. 37,13. Усл. печ. л. 34,64. (Уч.-изд. л.
22,47+1 вкл.=22,53). Тираж 100 000 экз. ТП
1967 № 353. Цена 1 р. 20 коп. на бум. № 1.

Издательство «Детская литература».

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавно-
лиграфпрома Комитета по печати при Со-
вете Министров РСФСР. Москва, Суще-
ский вал, 49. Заказ № 885.